

Иосиф Бродский и Литва

воспоминания и размышления

Иосиф БРОДСКИЙ *и Литва*

СОСТАВИЛ РАМУНАС КАТИЛЮС

журнал **Звезда**


САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ББК 84.Р7

И 75

Выражаем искреннюю благодарность друзьям и знакомым, всем тем, кто в течение нескольких лет поддерживал создание этой книги, помогал в поисках информации, делился с нами фотографиями и другими материалами.

Большое спасибо коллективу редакции «Звезды», Андрею Юрьевичу Арёву и Якову Аркадьевичу Гордину за помощь, поддержку, терпение и настойчивость в достижении поставленной нами вместе цели.

Мы очень благодарны Людмиле Георгиевне Сергеевой за неоценимую помощь в переводе и упорядочении содержания ряда представленных в книге статей.

Особо хотим поблагодарить Михаила Исаевича Мильчика, без деятельной поддержки которого русское издание книги вряд ли состоялось бы.

Семья Катилюсов

Русский вариант книги подготовлен при участии Эльмиры Катилене, Андрияса и Рамунаса (мл.) Катилюсов. Семья Катилюсов и М. И. Мильчик осуществили также финансовую поддержку издания.

Для оформления обложки использован фрагмент фотографии Альгимантаса Кунчюса «Улица Гарялё с костелом Доминиканцев» (1966).

Иллюстрации — факсимиле, рисунки, фотографии — в основном взяты из семейного архива Катилюсов; часть предоставлена друзьями и знакомыми.

© R. Paknio leidykla, 2013

© Рамунас Катилюс (наследники), составление, 2015

© Отмеченные знаком * фамилии авторов в содержании и переводчиков в тексте, 2015

© Йокубас Яцовскис, худож. оформление, 2013

© ООО «Журнал «Звезда», 2015

ISBN 978-5-7439-0232-3

содержание

предисловие ... 9

ИОСИФ БРОДСКИЙ* · *Литовский дивертисмент* ... 11

РАМУНАС КАТИЛЮС* · *Иосиф Бродский* ... 17

Воспоминания, письма, выдержки из дневников

ПРАНАС МОРКУС* · *Слово «империя»* ... 173

ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВА* · *Иосиф Бродский и Андрей Сергеев* ... 184

ИНА ОНА ВАПШИНСКАЙТЕ*

Мои встречи с Иосифом Бродским ... 208

АУДРОНИС КАТИЛЮС* · *Чем для меня было общение
с Иосифом Бродским* ... 216

ВЛАДИМИР ТАРАСОВ* · *Несколько фрагментов* ... 222

ФЕЙТ ВИГЗЕЛЛ* · *Пенья с музыкой* ... 224

ЭЛИЗАБЕТ РОБСОН* · *Воспоминания о Бродском и Литве* ... 229

- СЭМЮЕЛ РЕЙМЕР* · *Вспоминая Иосифа Бродского* ... 241
- НАТАЛЬЯ ВОРОШИЛЬСКА* · *Иосиф Бродский и Виктор Ворошильский: три встречи* ... 285
- ВИКТОР ВОРОШИЛЬСКИЙ* · *Три фотографии* ... 296
- МИХАИЛ МИЛЬЧИК* · *Бродский в родном Ленинграде* ... 306
- ТОМАС ВЕНЦЛОВА* · *О последних трех месяцах Бродского в Советском Союзе* ... 324
- ДЕНИС АХАПКИН* · *Архитектор Кошкин и Вильнюс* ... 350
- ЯКОВ КЛОЦ* · *Письма Томаса Венцловы Иосифу Бродскому* ... 359
- ИАНА АБАЕВА-МАЙЕРС* · *Разговоры с небожителем* ... 373
- КАМА ГИНКАС* · ГЕНРИЕТТА ЯНОВСКАЯ*
Несколько рифм из поэзии и жизни ... 398
- МИХАИЛ ПЕТРОВ* · *О похоронах Иосифа Бродского в Нью-Йорке* ... 410
- ТОМАС ВЕНЦЛОВА* · *На окраине империи* ... 416
- ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВА* · *Иосиф Бродский и Рамунас Катилюс* ... 428
- ТОМАС ВЕНЦЛОВА* · *О составителе этой книги* ... 449
- об авторах* ... 465
- именной указатель* ... 471

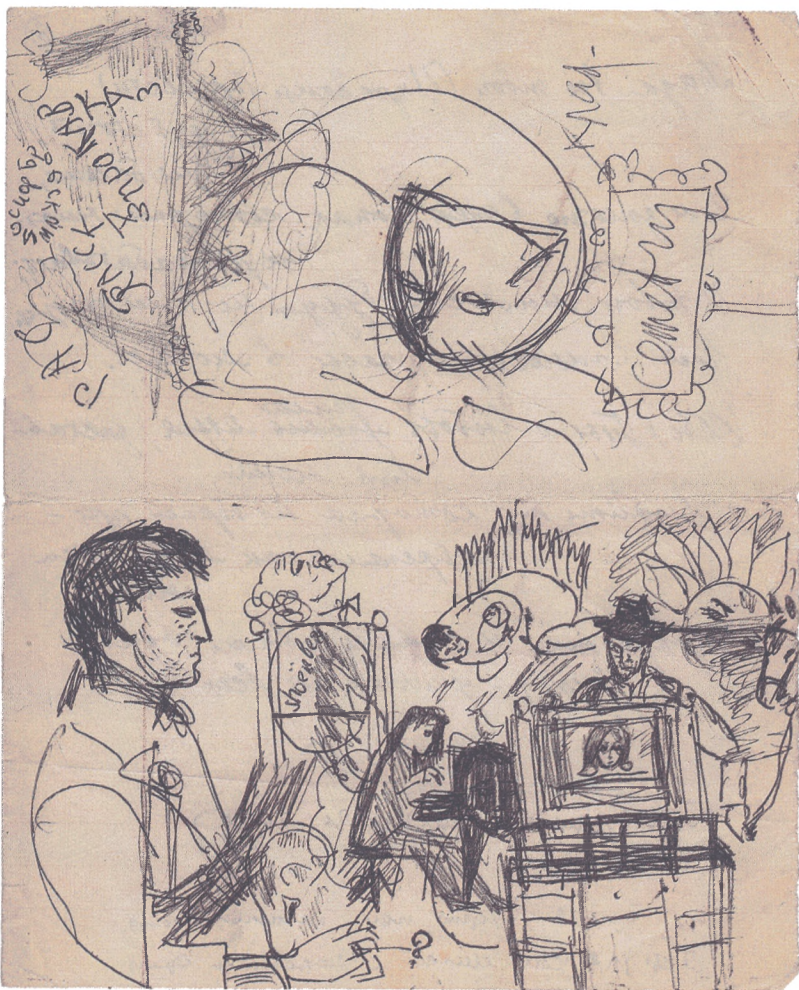


Рис. Иосифа Бродского

предисловие

Эта книга — о поэте Иосифе Бродском (1940–1996), лауреате Нобелевской премии, одном из великих поэтов XX века.

Скоро полвека минет с того памятного августовского дня 1966 года, когда по приглашению своих будущих друзей — тогда еще с ним незнакомых — в Вильнюс прибыл молодой, но уже побывавший в советских тюрьмах и в ссылке на Севере, ленинградский поэт Иосиф Бродский. Распространение его стихов, особенно среди молодежи, советская власть уже не в состоянии была остановить. Потому и преследовала.

По приезде Иосиф Бродский в тот же день запросто, без повторных просьб читал свои стихи, написанные и в ссылке, и совсем недавние, появившиеся после возвращения. Происходило это на улице Лейиклос в квартире Катилюсов, новых благоприобретенных друзей поэта. Чтения продолжались в последующие дни и вечера. Помимо хозяев Иосиф подружился и с другими вильнюсцами — Томасом Венцловой, Пранасом Моркусом, Юозасом Тумялисом, Иной Вапшинскайте.

В то же время замкнутыми на дружеских встречах, на частных связях его литовские впечатления не были. Литовская тема в оригинальном творческом развитии поэта приобрела мировоззренческую глубину.

Каунас, Паланга, Вильнюс, Доминиканский костел, университетская библиотека, улица Лейиклос, Юрате и Каститис, Витовт, Святой Казимир, Дарюс и Гиренас, Погоня (*лит.* Vytis, герб

Литвы) его стихов — это не экзотика, а символика, вызывающая далеко идущие ассоциации.

В свое время Георгий Федотов назвал Пушкина «певцом империи и свободы». Бродский во многом творил в вибрациях этого сюжета. Литовские мотивы от него неотделимы, как и историософия поэта в целом.

Виктор Куллэ в послесловии к собранию сочинений Бродского говорит, что именно пробужденная Литвой тема — тема Поэта и Империи — у поэта доминирует: зависимость от властей и независимость творца, метрополия и ее провинции, центр и окраина. По замечанию Куллэ, уже первое «литовское» стихотворение Бродского о Паланге («Коньяк в графине — цвета янтаря...», 1967) суть размышление пришельца, волей-неволей представляющего своей персоной могущественную империю в маленькой завоеванной стране...

Неудивительно, что в дни кровавых вильнюсских событий 15 января 1991 года Иосиф Бродский, Чеслав Милош и Томас Венцлова без каких-либо колебаний и промедления обратились через «Нью-Йорк Таймс» к мировому сообществу с призывом оградить Литву от произвола Советов. Нашедший в Литве дружескую поддержку и тепло, понимание и признание, поэт вместе с друзьями встает на защиту оказавшейся в смертельной опасности страны. Голос трех поэтов в мире был тогда отчетлив и различим.

Независимую Литву Иосифу Бродскому из-за перманентных проблем со здоровьем навестить не удалось. Изданием составленной в Литве книги мы хотим еще раз с сердечной благодарностью соединить и образ поэта, и его творчество с этой страной.

Первоначально, в 2013 году, книга вышла на литовском языке. Для русского издания она дополнена двумя текстами Людмилы Сергеевой и Томаса Венцловы.

Иосиф Бродский

Литовский дивертисмент

ТОМАСУ ВЕНЦЛОВА

Роман, или I-й часть его ДИВЕРТИСМЕНТА, где

милли

ТОМУС.

I

Вот скромная приморская страна.
Свой снег, аэропорт и телефоны,
свои евреи. Бурый особняк
диктатора. И памятник певцу,
Отечество сравнившего с подругой.

В чём проявился пусть не тонкий вкус,
но знание географии: эжане
здесь по субботам ездят к северянам
и, возвращаясь под хмельком, пешком,
порой на Запад забредают / тема
для скетча / Расстоянья таковы,
что ~~здесь~~ ^{там} могли бы жить гермафродиты.

Весенний полдень. Лужи, облака;
бесчисленные ангелы на кровлях
бесчисленных костелов; обыватель
становится здесь жертвой толчеи
или деталью местного барокко.

Л и т о в с к и й
Д и в е р т и с м е н т

Томасу Венцова

I *Асториликс*

Вот скромная приморская страна.
Свой снег, аэропорт и телефоны,
свои евреи. Бурный особняк
диктатора. И статуя пенца
Отечество сравнившего с подругой.

В чем проявился пусть не тонкий вкус,
но знание географии: вжәне
здесь по субботам ездят к севернякам
и, возвращаясь под хмельком пешком;
порой на Запад забредают - тема
для скетча. Расстоянья таковы,
что здесь могли бы жить гермафродиты.

Весенний полдень. Лужи, облака,
бесчисленные ангелы на кровлях
бесчисленных костелов; человек
становится здесь жертвой толчеи
или деталью местного барокко.

2 *Lejkos*

Родиться бы сто лет назад
и, сохнувшей поверх перины,
глядеть в окно и видеть сад,
кресты двуглавы Катарини;
стыдиться родичей, икать
от наведенного лорнета,
тележку с рухлядью толкать
по желтым переулкам гетто;
вздыхать, накрывшись с головой,
о польских барынях, к примеру;
дождаться Первой Мировой
и пасть в Галиция - за Веру,
Царя, Отечество, - а нет,
так пейзаж переделать в бачки
и перебраться в Новый Свет,
блуждая в Атлантику от качки.

3 *'Hes'inga'*

Время уходит в Вильнюс в дверь кафе,
провожаемо дребезгом блюдца, ножей и вилок,
и пространство, прищурившись, под кафе,
долго смотрит ему в затылок.

Потерявший изнанку пунцовый круг
замирает поверх череличных кровель,
и кадры заострятся, точно вдруг
от лица останется всего лишь профиль.

И, зеления пучьего слыня речь,
подавальщица в кофточке из батиста
перебирает ногами, снятыми с плеч
местного футболиста.

4 ГЕРБ

Драконоборческий Егорий,
копы в горниле аллегорий
утратив, сохранил досель
копы и меч, и повсеместно
в Литве преследует он честно
другим невидимую цель.

Кого он, стиснув меч в ладони,
решил настичь? Предмет погони
скрыт за пределами герба.
Кого? Изычника? Гягура?
Не весь ли мир? Тогда не дура
была у Витова губа.

5 АМБУС-ДИМБОРНИМ de melancholia маня ст миса роветя

Бессонница. Часть женщины. Стекло
полно рептилий, рвущихся наружу.
Безумье дня по мозечку стекло
в затлок, где образовало лужу.
Чуть повельнись - и опутит нутро,
как некто в ледяную эту жижу
обмакивает острое перо
и медленно выводит "ненавижу"
по происи, где каждая крива
извилина. Часть женщины в помаде
в слух запускает длинные слова,
как пятерню в завшивленные пряди.
И беспыльная выедающий луч
тавоки знавщи среди литовских туч.

И три лосемки огинок и наг
на протонь, как Зодиаки Зина.

6 PALANGEN

Только море способно взглянуть в лицо
небу; и лутник, сидящий в днах,
опускает глаза и сосёт вино,
как изгнанник-царь без орудий струнных.

Дом разграблен. Стада у него - свели.
Сына прячет пастух в глубине пещеры.
и теперь перед ним - только край земли,
и ступать по водам не хватит веры.

7 DOMINKALNĖ

Сверни с проезжей части в полу-
слепой проулк и, войдя
в костёл, пустой об эту пору,
сядь на скамью и, погодя,
в ушную раковину Бога,
закрытую для жума дня,
жешни всего четыре слога -
Прости меня.

РАМУНАС КАТИЛЮС

Иосиф Бродский



С Рамунасом Катилиусом. Начало 1972 года. Фото А. И. Бродского

*По необходимости говоря о нем в прошедшем времени,
кажется, что наносишь оскорбление самой грамматике.**

ШЕЙМАС ХИНИ

Вот уже второй десяток лет мы, следуя выражению Шеймаса Хини (тоже, увы, покойного), оскорбляем грамматику — говорим о поэте Иосифе Бродском в прошедшем времени. Нам не дано это изменить. Иосиф Бродский никогда больше, как это бывало полвека назад, не прочтет свои стихи вильнюсским друзьям. Цель, поставленная перед собой автором этого очерка, — просто рассказать известное ему об Иосифе Бродском, его жизни, среде, в которой он творил, его радостях и разочарованиях, дать по возможности представление о всеохватывающей силе его речи, навеки пребывающей в настоящем времени.

ЮНЫЕ ГОДЫ

Родители, детство, юность

Иосиф Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде.

Его отец Александр Иванович Бродский (1903–1984) изучал географию в университете и журналистику в Институте

* *Перевод Льва Лосева.*



Посещение корабля
Фото А. И. Бродского

красной журналистики во время войны, работал фотокорреспондентом ТАСС, преимущественно на флоте. Капитан третьего ранга, после войны он руководил фотолабораторией Военно-морского музея. В 1950 году в числе многих других офицеров-евреев был отправлен в отставку и вернулся к работе фотокорреспондента.

Я помню Александра Ивановича, величественного, высокого, осанистого, уже пенсионером. Он любил рассказывать истории из своей разнообразной и непростой жизни. Например, как



С матерью. Возле Спасо-Преображенского собора в Ленинграде

он, тогда работавший в газете «Известия», вместе с другими должен был фотографировать заключенных, приветствующих Сталина на строительстве Беломорканала: вожди задерживались, начинало смеркаться, поэтому велено было сфотографировать толпу заключенных, а Сталина и других руководителей — отдельно, когда они придут, уже в свете прожекторов. А затем скомпоновать все в одну фотографию. Рассказывал Александр Иванович и о том, как он был военным комендантом города Констанца в Румынии. Или о попойках, устраивавшихся

на побережье Азовского моря штабом, в котором служил Брежнев. О Китае, в котором Александр Иванович провел последние годы действительной военной службы.

Мать Мария Моисеевна Вольперт (1905–1983) работала счетоводом и бухгалтером, хотя знала немецкий и французский языки, но в первую очередь всегда чувствовала себя женой и матерью.

После отъезда сына на Запад родители более десяти лет терпеливо ждали встречи с ним. Посетить Иосифа им не позволили, а эмигрировать они не хотели, особенно тверд в этом решении был Александр Иванович. Может, боялись стать сыну обузой, может, чувствовали себя слишком старыми для такой перемены.

Отец и мать Иосифа похоронены в Санкт-Петербурге на Преображенском кладбище, рядом с родителями Александра Ивановича.

Иосиф рос в Ленинграде, не считая части военных лет, когда Александру Ивановичу удалось вывезти семью из начавшего голодать города и малыш Ося с мамой год или несколько более провели в Череповце.

Школу посещал не слишком долго — дольше восьми классов не выдержал. Несколько лет работал, иногда в труднообразаемых местах, например на маяке и в морге. Летом нанимался в геологические экспедиции, ездил в Казахстан, Якутию, на Тянь-Шань.

Начало творческого пути

Мария Моисеевна утверждала, когда Иосиф не мог услышать, что у нее сохранилась тетрадка его детских стихов, но никогда ее не показывала. Первые стихи Бродского, вошедшие позднее

в сборники, датированы 1957 годом. С тех пор он писал постоянно и много — стихотворения, написанные до ареста и суда в 1964 году, составили первый, без малого 300-страничный том позднее изданного собрания сочинений Иосифа Бродского.*

Сейчас эти стихотворения называют ранними, что отчасти верно. Но очень скоро они разлетелись по просторам тогдашнего Советского Союза, именно их многие переписывали. Проникали они и в Вильнюс. Не один седой теперь уже литовский интеллектуал, услышав фамилию Бродского, вспоминает, как еще году в 1962-м или 1963-м читал, а может, и переписывал его стихи с машинописных или рукописных листочков.

Популярность молодого поэта столь быстро росла в первую очередь благодаря яркому таланту, сквозившему в каждом стихотворении, если не в каждой строчке. Но были, видимо, и общественные причины. Стихотворения Бродского, не будучи антисоветскими и вообще политическими, все же каким-то образом отрицали официальную литературу и даже саму систему. Отрицали своей непохожестью, аполитичностью, спокойным неприятием само собой разумеющихся правил и насаждаемых властью канонов. А читатель, похоже, успел соскучиться по приличной, стоической позиции знающего себе цену творца. Полагаю, что именно сочетание этих двух качеств — большого таланта и человеческой позиции поэта — привлекало читателей.

Большое влияние на Бродского, несомненно, оказывало и поэтическое окружение. В Ленинграде в то время формировалась целая плеяда молодых поэтов. Именно через них — Евгения

* Сочинения Иосифа Бродского. В 7 т. СПб., 1997–2001.

Рейна, Анатолия Наймана — Бродский в 1961 году познакомился с Анной Ахматовой, сразу признавшей его талант. Они много общались, одной осенью он даже нашел, где приютиться в Комарово.* Днем написав стихотворение, вечером катил на велосипеде показать «стишок» великой поэтессе. Впоследствии Бродский писал, что он чувствует себя благодарным Ахматовой за свои положительные человеческие качества, которые без общения с ней формировались бы значительно медленнее, если вообще сформировались бы.

Власти наступают

С ростом известности молодого поэта нарастали и его проблемы. С советской школой Иосиф смог расстаться сравнительно мирно — бросил, да и все. Назревал, однако, более серьезный конфликт — с советской властью, даже шире — с советской действительностью. Бродский, сам вроде того не замечая, был сродни вызывающему аллергическую реакцию инородному телу. Советская власть не любила не помазанных ею на известность, не назначенных ею первых поэтов. Сама возможность что-то представлять собою самостоятельно, не испросив разрешения у властей, являлась вызовом, отрицала всемогущество власти. Система прекрасно чувствовала эту несовместимость. Но может показаться странным: система, обладающая могучим арсеналом для изоляции и уничтожения политических противников, перед лицом этого экзистенциального, почти метафизического (может, лингвистического?) конфликта демонстрировала своего рода бессилие. Без сомнения, имело значение и то, что

* В Комарово тогда жила Ахматова.



В ссылке. Деревня Норенская Архангельской обл. 1964
Фото Якова Гордина

времена уже были не сталинские. Все же инстинкт самосохранения, вся логика тоталитарной системы требовали нанести удар. Но «реакция отторжения», по словам самого Бродского, вышла «совершенно гротескной»: арест прямо на улице, знаменитая ленинградская тюрьма «Кресты», психбольница, идиотское судилище, признание тунеядцем, приговор — пять лет принудительного физического труда на Севере.

Об этапировании к месту ссылки Иосиф впоследствии иногда рассказывал. И о карцере в Вологде, и о построениях заключенных на перронах, и обо всем прочем, что в таких случаях «полагается». Но о самой ссылке худого слова не говорил, не употреблял даже такого слова — «ссылка», говорил: «У меня в деревне», «Когда я был в деревне». Природа Русского Севера, обитатели деревни Норенская в Архангельской области нашли свое место и в стихах Бродского.

Ссылка ничего не изменила. Появлялись все новые стихи — в 1965 году в Соединенных Штатах был издан сборник стихов.* О Бродском заговорили за пределами Советского Союза. Через полтора года его вернули в Ленинград, позволили переводить, в 1967 году зашла даже речь об издании книги стихов. Но стали ставить условия, которые поэт не принял. Не похоже было, что он будет пытаться писать и жить по навязываемым правилам.

Именно в этот период Бродский познакомился с несколькими вильнюсцами, мировоззрение которых было ему близким.

ПОСЕЩЕНИЯ ЛИТВЫ

Наша дружба с Сергеевыми

Когда и как мы — я и моя жена Эля — столкнулись со стихами Бродского? Любопытно, что не в Ленинграде. Наверное, было несколько источников, но один, московский, Эля помнит четко: московская знакомая в ответ на просьбу Эли достать для нее стихи из «Доктора Живаго» дала ей еще и стихи Бродского. Эля тут же стала переписывать их к себе в зеленый блокнотик, сохранившийся в нашей семье. А меня при первом знакомстве со стихами Бродского поразила строчка «задевая глазами лед» («Рыбы зимой»).

О самом Бродском позже нам рассказывал наш приятель, ныне покойный московский литератор Андрей Сергеев, знавший Иосифа еще до ареста. Тогда Сергеев был известен в основном как переводчик поэзии Роберта Фроста; как писатель Андрей прославился позже. О нашей дружбе с Сергеевыми, Андреем

* *Иосиф Бродский. Стихотворения и поэмы.* Washington; New York: Inter-Language Literary Associates, 1965.

и его женой Людой, дружбе, ставшей предтечей нашей будущей дружбы с Иосифом, следует немножко рассказать, ибо роль Андрея и Люды тут — решающая.

Как рассказывает Люда, они с Андреем уже некоторое время говорили о том, что нужно «свести этих двух талантливейших мужиков» — Томаса Венцлову и Иосифа, с которыми по отдельности Сергеевы давно дружили. С Томасом Сергеевы, уже слышанные о нем в Москве, познакомились летом 1963 года в Паланге и сразу стали друзьями. Через Томаса летом 1963 года в Паланге с Сергеевыми познакомились и мы с Элей. И тут же сдружились, причем так близко, что и тем летом, и в последующие годы Сергеевы по пути из Паланги в Москву всегда несколько дней жили у нас в Вильнюсе. Это бывали замечательные дни, наполненные прогулками по Старому городу, по мастерским неофициальных художников, с долгими вечерними беседами за круглым столом в нашей столовой под тиканье и бой старинных настенных часов.

Бродский прибывает в Вильнюс

Иосиф часто незримо участвовал в этих разговорах. В августе 1966 года эта тема стала преобладающей. Заботясь о друге, Андрей ежедневно звонил Иосифу от нас и из города, каждый раз убеждаясь, что настроение у него дурное («конец света», «полный завал»), чувствуя, что после Севера Иосиф с трудом приспособляется к условиям советского большого города. Кроме того, у него не складывалась личная жизнь. Сергеевы даже опасались нервного срыва.

Во время очередного телефонного разговора как бы сама собой возникла тема приезда Иосифа к нам в Вильнюс. В какой-то

момент Андрей, закрыв трубку ладонью, прошептал нам, стоявшим рядом: «Иосифу плохо». На что мы с моим братом Аудронисом (Адасом) не сговариваясь, в один голос ответили: «Нам тут хорошо, пусть едет к нам». Андрей без долгих рассуждений повторил эту фразу в трубку, настоятельно советуя Иосифу приехать.

Бродский прислушивался к советам Сергеева и назавтра перед полуднем позвонил нам уже из вильнюсского аэропорта. Еще через полчаса мы с Андреем встречали его, выходящего из такси, под окнами нашей квартиры на улице Лейккос, дом 1, у ворот нашего двора.

Мы с моим братом Адасом могли позвать Иосифа пожить с нами, так как наши родители в те времена лето проводили в садоводстве за городом и мы, молодежь, были хозяевами всей нашей квартиры и имели возможность предоставить гостю достаточно простора и свободы.

То, что Иосиф дал себя уговорить приехать, конечно, замечательно, но не чересчур удивительно. Главное, он доверял советам Андрея, в этом я не раз убеждался и в последующие годы. К тому же в Литве он до этого не был. Кроме того, для него, по существу, не обладающего собственным жилищем, было естественно, скажем, принять предложение пожить недельку на пустующей даче родителей его друзей в Комарово или съездить к друзьям в Крым. Исключительность нашей истории разве только в том, что он поехал к незнакомым людям. Но ведь, по существу-то, он летел к Сергеевым, у которых не раз жил в Москве! Преуменьшать во всем этом деле «сводническую» роль нашего покойного друга Андрея Сергеева ни в коем случае не следует. Хотя предложение Иосифу приехать в Литву исходило от меня и от моего брата Аудрониса, имя Андрея Сергеева и его жены Людэ — решающие.

Какое первое впечатление Бродский произвел на нас, оправдал ли он наши ожидания?

Знакомые с его ранними стихами, ошарашенные его историей суда и ссылки, подготовленные рассказами Сергеевых, мы осознавали, какого масштаба гостя ждем. И вышедший из такси молодой человек своим обыкновенным обликом меня, признаюсь, в первый момент слегка даже смутил. Внешне он не был особо похож на поэта. Рыжеватый, в кепке, одет просто, хотя и со вкусом, но не Шелли и не Байрон, и даже не Томас Венцлова, у которого на лице написано, что он поэт.

Но, может быть, именно поэтому нас сразу же связали дружественные чувства. Хватило первых рукопожатий и обмена несколькими фразами, чтобы я распознал родственную мне душу и понял, что он, как позже выразился Адам, «один из нас», только, разумеется, намного талантливее.

Мы подружились, можно сказать, моментально. Наша старушка няня Асите накормила нас обедом. Сергеевы в тот же день уезжали, времени побыть всем вместе оставалось немного. Люда намекнула, что было бы хорошо почитать стихи. Иосиф просто согласился. Иосиф, мы и еще несколько вильнюсских друзей проводили Андрея и Люду на поезд. На перроне Люда подбадривала Иосифа: «Оставляем вас в хороших руках».

И верно, у нас Иосиф, хотя бы на некоторое время, почувствовал себя намного лучше, чем чувствовал себя до приезда. По возвращении с вокзала вечерняя беседа втроем затянулась практически до утра. Особенно заинтересованно Иосиф уже тогда, в первые часы нашего знакомства, вел беседу с Элей в основном о психологических тонкостях отношений мужчин и женщин и вообще — отношений между людьми. Об этом они могли часами толковать и в течение всех дальнейших лет нашего

общения. А тогда это оказалось так сразу возможным еще и потому, что мы с Элей ждали ребенка: Эля была в свободном узбекском платье, и от «восточной» женщины (к которой Иосиф с самого начала обращался — Ханум) Иосиф мог ждать иного, чем в его обычном окружении, взгляда на жизнь и иного рода суждений. И выговориться ему, возможно, тут оказалось легче, чем в своем кругу.

Утром, после завтрака, мы с Иосифом вдвоем пошли в сторону костела Св. Терезы, Иосифу хотелось послушать воскресную католическую мессу. К сожалению, это не совсем получилось, костел во время мессы оказался переполненным, мы стояли в толпе у дверей и вернулись домой.

Смею выразиться именно так — «вернулись домой». Ибо было заметно, что Иосиф с первого же дня чувствовал себя у нас как дома. Я уверен, что в этом заслуга не только наша, но и нашей квартиры. Мы жили на краю Старого города, квартира занимала весь второй этаж небольшого двухэтажного дома. Улица Лейкелос живописно спускается в сторону миниатюрного костела Бонифратров и университета. Дом в начале улицы, на холме. Вход в нашу квартиру — со двора. У двери на конце тонкого металлического стержня висела ручка. Когда пришедший за нее дергал, наверху звонил колокольчик и кто-то из домочадцев спускался открыть. Поднявшись по внутренней лестнице, гость оказывался в просторной четырехкомнатной квартире, занимавшей весь второй этаж дома. На выходящем во двор, увитом диким виноградом балконе можно было курить. Высокие потолки, глубокие ниши окон, старинные рамы, делящие площадь окна на восемь частей. Крупная, добротная, старого времени мебель. Посреди столовой — круглый стол, в буфете — довоенный сервиз. На стене висят бьющие каждые полчаса старинные часы

с маятником. И многие другие детали обстановки нашей квартиры, ее дух были созвучны с жильем Бродских в Ленинграде. Неудивительно, что Иосиф чувствовал себя у нас хорошо.

Что мы делали дальше в тот же день, что — в третий день и так далее, по порядку сейчас уже не восстановить. Иосиф провёл с нами примерно неделю. Гуляли по Старому городу и днем, и поздно вечером. Не одни, к нам присоединялись кое-кто из наших с Элей друзей — Юозас Тумялис, Пранас Моркус, Виргилиус Чепайтис, Ина Вапшинскайте, мой брат Адас. Со всеми Иосиф очень быстро сдружился.

На второй или третий день, после семинара в Эстонии, в Вильнюс вернулся Томас Венцлова. Поэты познакомились, и, смею утверждать, уже в тот миг между ними завязалась та особая, замечательная дружба, которая соединяла их потом в течение тридцати лет.

Иосиф легко вошел в наше сообщество, возможно, и потому, что мы были достаточно своеобразной компанией: всегдашатаи «Неринги», но не только всегдашатаи. Мы пытались делать и что-то еще. Например, писали поздравление поэту Борису Пастернаку, когда ему в 1958 году была присуждена Нобелевская премия.* Примерно в то же время у Томаса по идейным причинам были неприятности в университете. А уже окончив онный (1960), Томас собрал кружок самообразования — «небольшой лекторий»**: на встречах мы по очереди читали нами же подготовленные рефераты из разных, мало тогда нам знакомых областей современной мировой культуры. Собирались у нас на Лей-

* Пранас Моркус отвез это поздравление в Москву; правда, непонятно, достигло ли оно в конечном счете адресата.

** *Tomas Venclova. Iš 1958–1960 metų dienoraščio // Kultūros barai. 1997. Nr. 12. P. 80.*

иклос, у Томаса или еще где-нибудь, например у тети Сони (тети Камы Гинкаса, одноклассника Аудрониса). Темы рефератов были разнообразными — Joyce, Kafka, Saint John Perse, Мейерхольд, Le Corbusier, Hindemith. (Разумеется, через некоторое время нашим кружком заинтересовались инстанции, Томас был вызван в КГБ, и нашу деятельность пришлось прекратить.)

Одним словом, мы годами ощущали необходимость каким-то образом не отождествлять себя с режимом. Возможно, Иосиф сразу это почувствовал.

Знакомство с архитектурой Вильнюса

Возвращаясь к теме нашего главного занятия той недели, к нашему блужданию по Старому городу, следует напомнить, что улица Лейиклос пролегает вдоль периметра когда-то существовавшей городской оборонительной стены. От нашего дома до любой точки Старого города не больше 15–20 минут прогулочным шагом. И мы, разумеется, этим пользовались. Ближайший маршрут начинался прямо за углом нашего квартала и пролегал по улице К. Гедрио (это тогдашнее, советское название; историческое и современное название — улица Св. Игнатия). Улочка вела к давным-давно, еще при царе, закрытому монастырю доминиканцев, с его внутренним двориком, доступным с улицы только через второй этаж здания монастыря (Ина Вапшинскайте живо описывает свое с Иосифом ночное посещение этого дворика). Мы излазили коридоры бывшего монастыря. В помещениях монастыря теперь жили люди, Иосиф загорелся идеей снять там комнату и в одну дверь даже позвонил. Открыли, но, слава богу, комнаты не сдавались, и Иосиф успокоился. Оно и ладно: у него, конечно, нужных для этого денег и в помине не было.

Помню и впечатляющую прогулку по этой же улице Св. Игнатия поздним вечером. В конце улочки, через внутренние дворы напротив монастыря, можно было выйти на крышу кордегардии — небольшого здания с колоннами, составной части обширного, в несвойственном Старому городу стиле ансамбля бывшей резиденции виленского генерал-губернатора, наместника российского императора.

Хорошо помню дневную прогулку к Св. Анне и Бернардинцам, по пути Иосиф подобрал в подворотне котенка и нес его, поглаживая, некоторое время. Как-то поздним вечером Иосиф с Аудронисом полезли еще и на самый верх строящейся невдалеке многоэтажки.

Кстати, я должен признать, что, показывая Иосифу старый Вильнюс, мы временами испытывали легкое разочарование. Наши обычные в той ситуации объяснения он выслушивал как бы рассеянно, мы не были уверены, что он видит все, что мы показываем, и вообще интересуется ли его старая архитектура. Мы не сразу поняли, что, сознательно оставив школу, он не мог подчиниться и нашим «урокам» истории архитектуры, как и любому другому формализованному действию. Впрочем, как выяснилось позже, наше разочарование было беспочвенным: архитектура Вильнюса вошла в стихи Иосифа Бродского, в его «Литовский дивертисмент».

Через 40 лет петербуржец Денис Ахапкин, исследователь творчества Бродского вообще и влияния архитектуры на его творчество в частности, будет утверждать:

[...] Может быть, потому что я очень люблю Вильнюс. И Бродский любил Вильнюс. И, видимо, Вильнюс повлиял на него в свое время очень сильно. Это было не только место,

где жили его друзья, но я считаю, и я в Вильнюсе это говорил, что это город, который, на мой взгляд, довольно сильно повлиял и на его мировосприятие, и на его отношение к барокко. [...] И я считаю, что сама вильнюсская архитектура довольно сильно влияла на отношение Бродского к барокко [...]. И те, кто внимательно читал Бродского, те, кто занимается Бродским, они знают, что тема «Бродский и барокко» очень интересна. Мне кажется, что это все идет оттуда. Я не хочу сказать, что в Петербурге у нас совсем нет барокко. Но Вильнюс — это совсем другая история, это уже чистое европейское барокко.*

Каунас

Разумеется, мы стремились показать Иосифу не только Вильнюс. В какой-то из дней мы с Иосифом съездили в Тракай. В другой день Пранас Моркус повез нас на машине в Каунас. Нас — это Иосифа, Виргилиуса Чепайтиса и меня. Собирались посмотреть Чюрлёниса, но в залах музея я нас почему-то не помню. Так же как не помню нас и на аллее Лайсвес, хотя наверняка мы там были. Зато прогулку по Старому городу помню хорошо: Кафедральный собор, надгробие поэту национального возрождения Майронису, Ратуша с площадью вокруг нее, готический фасад дома Перкунаса, костел Витовта

* Денис Ахапкин об исследованиях творчества Бродского, его юбилее и юбилейных публикациях. Беседу вела Татьяна Косинова [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cogita.ru/syuzhety/iosif-brodskii/denis-ahapkin-ob-issedovaniyah-tvorchestva-brodskogo-ego-yubilee-i-yubileinyh-publikacijah>. См. также статью Д. Ахапкина в настоящем издании (с. 350–358).

и впечатляющий, понравившийся Иосифу каменный участок набережной Немана. Иосиф спросил, когда сооружен, мы ответили — до войны, при Сметоне. «Хорошего президента имели», — заключил Иосиф.

И в завершение — богатая панорама Каунаса с противоположного высокого, обрывистого берега Немана. Стоя там, на краю, Иосиф обронил фразу, вознаградившую нас, его литовских друзей, за все старания: «Зачем нужна вся Европа, если здесь такое!»

Возвращались в Вильнюс другой дорогой. Обедали, когда уже стемнело, в Аукштадварисе.

Судерве, ксендз Трусевич

Накануне отъезда Иосифа Пранас Моркус свозил нас еще и в Судерве — село близ Вильнюса, знаменитое своим ротондообразным костелом. Кроме Иосифа поехали Томас Венцлова и мы с Элей. Обо всем, что там происходило, почти через тридцать лет живо и подробно рассказал многолетний настоятель костела ксендз Адольф Трусевич, беседу с которым записал и опубликовал польский литератор Яцек Подсядло. Выполненный мною перевод этого, на мой взгляд, великолепно документа, привожу ниже:

Был здесь пан Иосиф Бродский, известный вам Поэт. Был дважды. Первый раз с Томасом Венцловой, литовцем таким солидным, с каким-то еще паном и с девушкой, такой монголкой, с такими, как это сказать, раскосыми глазами. А я как раз был с детьми, готовил их к первому причастию. Я как увидел тех трех панов входящих — а тогда за такое обучение полагался год тюрьмы, — сразу подумал: поймали

меня! Поймали... И сколько блох было на мне, все сразу со страху подошли. Конечно, посидеть полагается, это ясно, но ведь не хочется, правда? Но, смотрю, они на детей внимания не обращают, просто оглядываются, осматривают костел, мне немножко полегчало, может, они и не ловят меня? Дети пошли домой, а они остались. И сидим на скамье, и та девушка глядит на святого Антония и спрашивает: кто тот мужчина с младенцем на руках? Я так себе думаю, может, ты комсомолка, может, ты тут какая-нибудь коммунистка, зачем я буду тебе о святом Антонии рассказывать? Говорю: извините, не хочется мне об этом говорить. Гляжу на нее, а глаза у нее увлажнились, покраснела и говорит, что, может быть, все иначе, чем я подумал. В свою очередь, покраснел я, от стыда. После этого, значит, пригласил я их в дом, там чай и какая-то беседа. Этот пан Бродский — эта фамилия ничего мне еще тогда не говорила, я запомнил только, что он из Ленинграда, — стал задавать вопросы. Да такие вопросы: способствует ли материальный уровень моральному росту человека? Чем человек богаче, делается ли он от этого лучше? Конечно, я помнил слова из требника, по которому мы молимся: «Храни меня, Господи, от богатства и от нужды. Дай мне хлеб насущный днесь». Дальше пытается меня так: хорошо, у вас здесь Евангелие, костел, люди приходят, вы их учите. А что будет с теми, у кого не было возможности узнать о Боге? Это Россия, Сибирь, там никогда о Боге не слышали, а если слышали, то отрицательно. Ну я говорю ему: человеку дан разум — это светоч, который говорит ему, что хорошо и что плохо... Но есть и другой важный фактор — это совесть. Можно не знать о Боге, но эти основы принять. И, думаю,

если кто-то согласно разуму и совести поступать будет, то наверняка Господь Бог пошлет ему милость и он уверует. А мой гость задает мне следующий вопрос: достаточно ли света разума, чтобы преодолеть зло, которое пробуждается в человеке? Разум, свет разума... Я отвечаю: и верующий и неверующий с трудом справляется сам с собой. Это борьба. Только верующий преклонит колени и взмолится — Господи, помоги мне. Ибо мне тяжело! И, встав с колен, я чувствую в себе силу. Господь Бог посылает мне милость, посылает мне помощь, уверенность, что я преодолею зло, которое во мне пробуждается. Он, Бродский, восхитился тому, что я сказал: Как красиво! Прекрасно! (Говорили мы по-русски.) Дальше он и знак подал, чтобы все вышли, чтобы оставили его наедине со мной. И говорит, что хотел бы со мной как со священником поговорить. Жду, о чем пойдет речь. А он вот что говорит. Представьте себе мужа, которого оставила жена. И пошла своей дорогой. А тут мужа забирают в тюрьму, и женщина тогда возвращается и передачи ему в тюрьму носит. Бродский меня и спрашивает: вот муж вышел из тюрьмы и что с такой женщиной делать?

Я отвечаю: проше пана, говорю как ксендз, если человек раскаивается в своем грехе, чистосердечно стремится исправиться и исповедуется, я не в праве отказать ему в отпущении грехов. Именем Господа Бога я должен сказать: твои грехи отпущены, Господь тебя прощает.

А Бродский говорит: ну хорошо, это Господь Бог, это ксендз. А муж с такой женой как может жить? Как жить? Я отвечаю: вы знаете, на треснувшем кувшине, склеенном, навсегда остается след. И трудно выбросить из памяти то,

что было. Но надо как-то жить, ведь не всегда и этот муж в порядке.

А пока он говорил, полностью изменился в лице. В глазах прямо слезы, и весь такой взволнованный. Тут я и понял, что ты, наверно, о своей жизни говоришь.

Прошло полгода, зимой слышу по радио, что Бродский — это один из пяти ленинградских поэтов, при Хрущеве сидевший в тюрьме как «тунеядец», взгляды которого не совпали с официальной советской идеологией, потом шум поднялся в мире, его выпустили. И тут глаза у меня открываются, кого я имел у себя дома! Вот так... Проходит весна, пришло лето, сижу себе на веранде, вижу, подъезжает такси. Из Вильнюса. Остановилось, и вышел пан, и вышла пани. И направляются к моему дому. Он ступеньками вверх, а я вниз. А когда он прощался со мной в тот, первый, раз, я обнял его... Поцеловал, а он заплакал, так мы тогда попрощались. А теперь он поднимается по ступенькам и меня обнимает! А я гляжу — кто-то незнакомый и так меня обнимает. Немножко неприятно, да? А он говорит: я — Бродский! А я: о-о-о-о!

И привез девушку, дочку профессора органной музыки в Ленинграде, концертирующую в мире. И вот приехала в наш костел поиграть на органе! А органы тогда в наших приходах были в неважном состоянии. Но та пани больше двух часов Баха играла. А этот пан Бродский еще и ногами надувал меха. Тогда, под руками той пани, мой орган заговорил так, как я никогда не слышал. Заговорил. Это была уже не просто игра — орган говорил.*

* Магнитофонная запись беседы с ксендзом Трусевичем, 1993 г. См.: *Jacek Podsiadło. Wilno: Przewodnik Pascala, Bielsko-Biała. Wydawnictwo Pascal. 2004. P. 90–91.*

Возможно, правда, что Бродский со своей приятельницей органисткой Анастасией Браудо посетил Судерве не летом 1967-го, как следует из воспоминаний ксендза Трусевича, а годом позже, летом 1968 года.

Недоразумение у Чепайтисов

Вернувшись из Судерве в город, мы отправились к Виргилию Чепайтису и его супруге, ныне покойной Наталье Трауберг, переводчице религиозной литературы. Мы, особенно Эля, дружили с Натали, о многом узнавали от нее, встречали у Чепайтисов интересных людей — у Натали был как бы интеллектуальный салон. Но у Иосифа с ней отношения не сложились. Войдя в квартиру и увидев на письменном столе Натали ее переводы религиозно-философских текстов обожаемого ею Честертона, Иосиф небрежно бросил фразу: «Почему вы переводите это? Лучше бы перевели проповеди Джона Донна». Разумеется, Натали обиделась. Иосиф немедленно ушел. Мы с Томасом — за ним, испугавшись, что на окраине незнакомого города потеряется. Догнали на попутной машине.

Этот редкий случай иллюстрирует то, что ровный, мягкий в отношениях с друзьями Иосиф мог оказаться угловатым и даже резко нетерпимым, уловив с кем-то внутреннюю несовместимость.

От разговоров — к творчеству

Чем еще мы в эти дни занимались? Раза два в послеобеденное время мы оставались дома одни. Тогда Иосиф старался нас с Элей развлечь. Обнаружил близко от нашего дома маленький

кинотеатр и повел нас смотреть старый фильм по мотивам Диккенса. В другой раз нашел довоенную шляпу моего отца, стал перед большим зеркалом примерять, вырезал из бумаги звезду шерифа, приколот к груди, почти по-детски радостно покрасовался перед нами.

Думаю, все эти сценки дают некоторое представление и о наших разговорах, их содержании и стиле. От будничного — куда пойдем, куда поедет? — через тут же сочиняемые шутки или шуточные эпиграммы (например, на моего брата Аудрониса, цитирую по памяти: «Если бы слить воедино / все, что влито в этого блондина, / была б бутылъ / величиной с костел») до весьма серьезного. Конечно, в разговорах касались общественных тем. Расхождений во взглядах с Иосифом у нас практически не было. Более того, возможно, в каком-то смысле и наши с Иосифом взгляды и представления о многих вещах в результате тогдашнего тесного общения развивались.

Возможно, частично отсюда и потянулась в поэзию Бродского «литовская» тема. Прочитирую Виктора Куллэ:

Дальнейшее развитие «неоклассического» периода связано с разработкой таких традиционных тем, как Поэт и Империя, античность и христианство, прошлое и современность. Отчасти обращение к имперской «римской» тематике обусловлено знакомством поэта в августе 1966 с Литвой. Еще в первых «литовских» стихах Бродского «Коньяк в графине — цвета янтаря» (1967) на меланхолическую пляжную зарисовку накладывается осознание себя гражданином Империи-завоевателя в маленькой покоренной стране. В «Anno Domini» (1968) перед нами уже не Литва, а захолустная провинция Рима. Герои

*стихотворения — Поэт и Наместник — не противопоставлены, а сопоставлены друг с другом. Обоих сделала несчастными Империя, выступающая здесь как «метафора насильственной гармонизации при глубоком внутреннем неблагополучии» (Я. Гордин).**

Понимание Иосифом положения Литвы при советской власти засвидетельствовал и польский литератор, переводчик поэзии Иосифа на польский язык Виктор Ворошильский в очерке о его встрече с Бродским в Вильнюсе в 1971 году. Вспоминая беседу во время прогулки по Старому городу, Ворошильский писал:

Из серьезных моментов нашей беседы, в которой первую скрипку играл Иосиф, мне запомнился такой: он широко взмахнул рукой и сказал: «Красиво, правда? — а затем со злостью и досадой в голосе добавил: — Но в чьих же руках все это?» Понятно без объяснений, что он имел в виду советскую власть.

Паланга

После примерно недельного пребывания в Вильнюсе наш приятель Юозас Тумялис устроил Иосифу поездку в Палангу. От Тумялиса я и узнал некоторые подробности. В Паланге в это время находился его тесть Пятрас Юодялис, литератор старшего, довоенного поколения, искусствовед, узник сталинских лагерей. Юодялис сотрудничал в то время с создаваемым в Паланге,

* Виктор Куллэ. Иосиф Бродский: Новая Одиссея. Послесловие // Сочинения Иосифа Бродского. В 7 т. Т. 1. СПб., 1997. С. 293.

в бывшем дворце графов Тышкевичей, Музеем янтаря и летом жил в полуподвальных помещениях дворца, превращенных в общежитие для сотрудников. Юодялис сумел устроить туда и Иосифа. Очевидно, они были весьма довольны друг другом, проводили в прогулках и беседах долгие часы. Согласно Юозасу, палангский эпизод длился неделю или даже дней десять. Из Паланги Иосиф улетел прямо в Ленинград.

Владимир Марамзин в комментариях к своему весьма полному собранию доэмигрантских стихотворений Бродского, составленному в 1972 году (неопубликованному), свидетельствует, что один из черновых вариантов стихотворения о Паланге имел название «Пану Пятрасу Юодялису с нежностью и любовью».

Следующие приезды в Литву

Описанный выше приезд Иосифа в Литву был первым, но далеко не последним. Мы с Иной Вапшинскайте и Элей попытались вспомнить все известные нам поездки Иосифа в Литву. Получилось вот что.

Первый состоялся в конце августа 1966 года, особенно запомнился чтением стихов у нас в квартире на Лейиклос, поездками в Каунас и в Палангу.

Вторым запомнился его приезд весной 1967-го, на Пасху. Жил Иосиф в той же квартире на Лейиклос, которую к тому времени делили Аудронис и Чепайтисы, так как наши родители переехали на Антоколь, а мы с Элей в конце 1966 года переселились в Ленинград. Иосиф навестил моих родителей и засвидетельствовал моей маме, что ее внук Андриус — здоровый и красивый.

В третий раз Иосиф встречал в Вильнюсе новый, 1968 год. Останавливался он на Лейиклос, в этот раз Бродский и Че-

пайтис создали рукописную сатирическую газету «Правда-матка». * 2 января 1968 года Иосиф, Томас, Аудронис у родителей Ины Вапшинскайте на Антоколе отмечали ее день рождения. Там Иосиф познакомился с нашей общей приятельницей Идой Крейнгольд. Из Вильнюса Иосиф уехал в Палангу (стихотворение «Anno Domini» помечено: «Январь 1968, Паланга»).

В четвертый раз Иосиф приезжал на один день в Вильнюс в начале лета 1968 года, чтобы сесть на поезд Берлин—Варшава—Вильнюс—Ленинград, на котором к нему ехала его подруга Фейт Вигзелл. ** Прилетел он с вечера, ночевал у моих родителей на Антоколе. Эля готовила его любимое суггу. Упорствуя, спал на нашем балконе на раскладушке, в легоньком спальном мешке иностранной выделки, который всюду возил с собой.

Пятый приезд — летом 1968 года вместе с органисткой Анастасией Браудо (второе посещение Судерве).

Шестая поездка — по приглашению Томаса Венцловы Иосиф 5 апреля 1971 прилетал в Вильнюс дня на два, чтобы встретиться с Виктором Ворошильским, которого пустили из Польши в Эстонию. *** Ночевали в квартире на улице Лейиклос и у Венцловы в мансарде на проспекте Гедиминаса (тогда — пр. Ленина).

В последний, седьмой, раз Иосиф приезжал в Вильнюс ранней весной 1972 года вместе со своей американской подругой Кэрол Аншютц, останавливался в гостинице. С приятелями общался в мансарде Томаса Венцловы.

* См. в настоящем издании статью Виктора Ворошильского (с. 296–305).

** См. в настоящем издании статью Фейт Вигзелл (с. 224–228).

*** См. в настоящем издании статью Виктора Ворошильского (с. 296–305).

Обобщение

Иосиф интересовался историей Литвы, ее судьбой. Поэту, известному своей импульсивной впечатлительностью сложно, будучи столь восприимчивым, неоднократно приезжать в Литву с ее ярко выраженным национальным колоритом, подолгу бродить по ее городам, где каждый закоулок дышит историей, и не впитать в себя хотя бы толику навсегда оседающих в памяти образов, со всей очевидностью невозможно.

Вот небольшой отрывок из письма Иосифа нам с Элей в Ленинград от 17 мая 1973 года, написанного уже в Соединенных Штатах, в мотеле столицы штата Огайо городе Колумбус:

[...] По ночам мне часто снится «Погоня» и второй седок перил тракайского замка (имеется в виду Томас Венцлова. — Р. К.) [...] Странное это дело, но тоскую по Литве так, как если бы прожил в ней годы, а не три месяца — в сумме. Она приходит мне на ум еще, наверно, и потому, что механика моего поведения в здешних краях сильно напоминает мне технологию моей жизни в Паюрисе, в Паланге [...].*

Три месяца — это, конечно, преувеличение. Если сложить все его приезды в Литву, получится скорее полтора месяца. Но это преувеличение только подчеркивает теплоту его чувств к Литве.

«В Литве Иосиф получил прекрасную, замечательную историческую страну, куда всегда можно съездить и где тебя встретят с распростертыми объятиями», — писал Андрей Сергеев.**

* *Vytis*, исторический герб Литвы.

** Андрей Сергеев. *Omnibus: Альбом для марок. Портреты. О Бродском. Рассказы*. М., 1997. С. 426–464.

Непосредственный художественный результат всех этих приездов — стихотворение «Коньяк в графине — цвета янтаря...» и циклы стихов «Литовский дивертисмент» и «Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова».*

Через много лет Бродский говорил Венцлове: «Мое отношение к Литве — прежде всего это отношение к моим литовским друзьям».

Весной 2000 года в Санкт-Петербурге, на конференции, посвященной 60-летию Иосифа Бродского, я рассказывал об интересе в Литве к его творчеству, о переводах его поэзии и прозы на литовский язык. В дискуссии после моего доклада живущая в Америке литературовед и исследователь русской литературы конца XX века Лиля Панн задала мне вопрос на засыпку: «За что Бродский так любил Литву?» Что я сказал в ответ, я не помню, но сам вопрос содержал категорическое утверждение: «любил»!

ЧТЕНИЕ СТИХОВ В ВИЛЬНЮСЕ

В первый раз стихи у нас на улице Лейиклос в 1966 году Иосиф читал уже в день приезда. Читал, сидя в нашей столовой за большим круглым столом, громким голосом, иногда почти срываясь в крик, со своей неопишуемой интонацией. Это были стихотворения, написанные в ссылке и после нее: «Одной поэтессе», «Новые стансы к Августе», «Два часа в резервуаре», «Остановка в пустыне», «На смерть Т. С. Элиота» и другие.

* В соответствии с правилами современного русского языка в настоящем издании фамилия Венцлова склоняется. Бродский придерживается возможной в первой половине XX века манеры подобные «европейские» фамилии не склонять.

Ранние стихи Бродского мы знали и любили: тогда все ловили то, что интересно и неофициально. Но то, что мы услышали в тот день, означало намного больше. Свои стихи нам читал — и не понять это было невозможно! — поэт огромной мощи. Впечатление было ошеломляющим.

Чтение каждого стихотворения — драма, требующая полной самоотдачи. А у нас, слушателей, чувство соучастия, ощущение грандиозности происходящего здесь и сейчас.

Это было совершенно неслыханно, ни с чем не сравнимо, почти невозможно. Разумеется, такого мы заранее не ожидали.

Впечатление, которое производило чтение Иосифа, описать словами трудно. На помощь призываю Чеслава Милоша (слушавшего, впрочем, Бродского намного позже и при совсем иных обстоятельствах):

*Знаете, когда Бродский читал свои стихи, слушатели становились как бы замороженными. Его чтение — это магическое действие. Однажды он и я вместе участвовали во встрече со студентами в Кракове, в Ягеллонском университете. И огромная толпа шумных, болтливых студентов слушала Бродского замерев. Их поглотил этот свет. Я не могу читать так, как он. Это определяется и различием темпераментов, и традицией чтения стихов, и спецификой языков.**

Милошу вторит и музыковед Елена Петрушанская в предисловии к своей книге «Музыкальный мир Иосифа Бродского»:

* Из интервью с Ч. Милошем в июле 1996 г. при посещении поэтом Вильнюса для участия в вечере памяти Иосифа Бродского. См.: Czesław Miłosz — Europos kūdikis // Linija. Family Club. 1996. Nr. 3. P. 19.

*Певучая природа его изначальной поэтической интонации, неповторимый напев речитации завораживали, гипнотизировали, оказывали большое воздействие на современников.**

Мы как раз и были теми завороженными современниками. Цельный раздел своей книги Петрушанская посвятила профессиональному, глазами музыковеда, описанию и разбору манеры чтения Бродским стихов, частично на основе аудиозаписи, сделанной в Москве в 1966 году, то есть как раз в то время, о котором я сейчас говорю.

Судя по всему, мы были хорошими слушателями, так как стихи в нашей столовой звучали и в другие дни.

Один из вечеров был почти что публичным. Мы, заранее договорившись с Иосифом, созвали более широкий круг друзей и приятелей, думаю, человек десять-двенадцать. Все слушавшие тогда Иосифа и сегодня вспоминают этот вечер как особо значительный.

ОБЩЕНИЕ ИОСИФА БРОДСКОГО С ТОМАСОМ ВЕНЦЛОВОЙ

Когда Иосиф к нам приехал, Томаса Венцловы в Вильнюсе не было. Он вернулся примерно на третий день из Тарту и тут же пришел к нам. Томас Венцлова и Иосиф Бродский пожали друг другу руки в дверях нашей столовой. Томас очень волновался. В те времена он вообще был нервным и возбудимым. Разумеется, Иосиф и Томас очень быстро подружились, как потом выяснилось, на всю жизнь.

* Елена Петрушанская. Музыкальный мир Иосифа Бродского. СПб., 2004. С. 3.

Все же во время первой встречи Томас не зря смутился. Он и позже всегда говорил и писал — и продолжает говорить и писать — о превосходстве таланта и масштаба творчества Иосифа. Скорее всего, такая для творческой среды не слишком характерная скромность и помогла Томасу преодолеть свои комплексы. Думаю, этому преодолению способствовала и исключительно благоприятная с самого начала расположенность к нему Иосифа. Дар свой Иосиф осознавал четко, как и вытекающие из его наличия обязанности. Но никогда из этого не делал вывода о своей исключительности. Со стороны Иосифа в отношениях с друзьями вопросы «равенства» или «превосходства», «на равных — не на равных» попросту не возникали, в этом смысле общение ничем не омрачалось.

Итак, отношения Иосифа и Томаса с самого начала сложились замечательным образом, почвы для конфликтов не было. Согласно Андрею Сергееву, «Иосиф Бродский и Томас Венцлова — собратья-поэты и равноценные собеседники».* Об этой неординарной дружбе двух поэтов мы с Элей знаем много. На наших глазах они встречались, общались и в Вильнюсе и в Ленинграде. Вот пример. Случилось так, что в мае 1972 года, перед самым отъездом Иосифа в эмиграцию, в Ленинград приехали Карл и Эллендея Профферы — его американские друзья и издатели — и привезли красивые, с великолепной фотографией Иосифа оттиски с подборкой его стихов из профферовского альманаха. Иосиф дарил эти оттиски друзьям и приятелям, надписывая размашистым почерком. Замечательный прощальный подарок. Мне он написал просто:

* *Андрей Сергеев. Omnibus: Альбом для марок. Портреты. О Бродском. Рассказы. М., 1997. С. 426–464.*



С Рамунасом Катилюсом и Томасом Венцловой. Пос. Ушково
Ленинградской обл. Конец мая 1972 года. Фото Марии Эткинд

«Ромасу от Иосифа. 12. V. 1972». А Томасу — примерно так:
«Оставляю тебя за главного». Такая шутка означает многое.

Но любовь, не побоюсь этого слова, Иосифа к Томасу настоящему проявилась, когда Иосиф уже был в эмиграции. «Объясни ему (Томасу. — Р. К.) при случае, что люблю его почти вне пределов шкалы нашего пола...» — писал мне Иосиф в Ленинград 17 мая 1973 из Колумбуса, Огайо. Одновременно росла и обеспокоенность: положение Томаса в Совдепии постепенно ухудшалось. В советской Литве у Томаса оставалось все меньше возможностей функционировать как литератору, и он открыто включился в движение за гражданские права, что грозило крупными неприятностями, вплоть до ареста или психушки. Иосиф стал активно создавать имя Томасу в американской печати, организовал перевод его стихов на английский, искал связей с литовской эмиграцией, выступал на съезде либе-

ральной литовской ассоциации «Сантара-Швиеса».* А когда Томас в начале 1977 года в конце концов и сам оказался в Америке, Иосиф стал дельно помогать ему войти в тамошнюю академическую среду.

Общение поэтов отражено в настоящем издании, в том числе и в двух текстах Венцловы**, и в его письмах Бродскому, подготовленных к печати Яковом Клоцом***.

Я имел возможность наблюдать отношения Иосифа не только с Томасом, но вообще с людьми искусства, в первую очередь с поэтами. Посторонним творческие люди часто представляются «воображалами», требующими к ним особого отношения, а для реализации их таланта — особых условий. У Иосифа, разумеется, таких претензий не было. Свое дарование он принимал как данное от Бога и, что крайне важно, как груз ответственности. Он писал стихи, писал в любых условиях. Писал, когда его не печатали, писал, находясь в ссылке, откуда его стихи могли не дойти даже до друзей. Однажды в Ленинграде Иосиф во время прогулки сказал мне что, мол, «они» — имелись в виду Цветаева, Мандельштам, Ахматова и Пастернак — «сделали не все, надо делать следующий шаг». Сказал он это очень просто, в будничной обстановке: мы подходили к киоску (или отходили от него) на углу Чайковского и Потемкинской, у Таврического сада. В голосе Иосифа я уловил оттенок озабоченности, мол, «надо», но отнюдь не гордыню или попытку приравнивания себя к великим...

* См. подглавку «Santara-Šviesa» в этой статье (с. 121–128).

** См. в настоящем издании статьи Томаса Венцловы (с. 324–349, 416–427).

*** См. в настоящем издании статью Якова Клоца (с. 359–372).

НАШЕ ОБЩЕНИЕ В ЛЕНИНГРАДЕ

Из Литвы Иосиф вернулся в Ленинград в первой половине сентября 1966 года. В то время я часто ездил в Ленинград по моим научным делам, так что довольно скоро навестил Иосифа в его «полутора комнатах» на улице Пестеля, где он жил со своими родителями. Встретились мы как старые друзья, Иосиф явно был рад мне, поставил Моцарта.

Той осенью в Ленинграде я еще сохранял за собой место в общежитии аспирантов на проспекте Энгельса. Эля оставалась в Вильнюсе. Скоро Иосиф побывал у меня в общежитии, где я познакомил его с нашей приятельницей Дианой Абаевой (по ее просьбе мы звали ее Лялей). С того момента они дружили все тридцать оставшихся Иосифу лет. Диана много лет жила в Лондоне, и на Западе она много общалась с Иосифом.*

Несколько позже мы с Элей познакомили Иосифа еще с одним нашим приятелем, с которым какое-то время я даже проживал в одной комнате в общежитии, с Сергеем Мартиросовым. Это был пишущий стихи биофизик из Еревана. Иосиф и Серж по-приятельски общались, вдвоем курили на нашей огромной коммунальной кухне на Чайковского, потом бродили по ночному Питеру. Позже Серж писал нам, что Иосиф во время беседы развивал свою любимую мысль о значимости допушкинской поэзии. О следующем этапе общения Сержа и Иосифа через пять лет в Ереване расскажу ниже.

Той же осенью 1966 года Институт полупроводников Академии наук, в котором я провел пять лет в качестве аспиранта и стажера, предложил мне постоянную работу. Перед Рождеством 1966 года

* См. в настоящем издании статью Дианы Абаевой-Майерс (с. 373–397).

мы с Элей стали хозяевами 30-метровой комнаты в огромной коммунальной квартире на углу улиц Чайковского и Чернышевского. На кухне — десять хозяек, на всех жильцов — одна ванная. Зато высота потолков под пять метров, лепнина, окна на бульвар. Центр города, все рядом — Нева, Литейный проспект, мой институт, Таврический сад. Метро тут же. До Невского пять остановок на троллейбусе. И главное — мы оказались в двух кварталах ходьбы по переулкам (или, если срочно или темно, в двух остановках езды на троллейбусе) от улицы Пестеля, от так называемого дома Мурузи, где жила семья Бродских.

С самого начала 1967 года и вплоть до эмиграции Иосифа летом 1972 мы постоянно общались. Проводили время в беседах, пили кофе, бродили по петербургским набережным и проспектам. Иосиф прекрасно знал старый Петербург, его дворы, по которым иногда можно было пройти насквозь целый квартал — с одной параллельной улицы на другую. Вместе посещали концерты классической музыки.

Счастливым обстоятельством, способствовавшим интенсивности общения, являлась топографическая близость. Бывали периоды, когда мы виделись ежедневно, а иногда и по два раза в день. Иосиф приносил и читал нам только что написанные стихи. Эля (Ханум) готовила что-то вкусное. Разговоры, бесконечные разговоры тех времен, как бы в продолжение начатых в Вильнюсе. И просто шутки, шуточные рассказы Иосифа, наполовину из жизни, наполовину мастерски им придуманные. Сыпал острыми, но не обидными замечаниями, например обо мне: «Ромас книг не читает, но любит о них поговорить». У всех у нас было замечательное ощущение: все мы рады друг другу и тому, что мы вместе.

Наш старший сын Андриус родился 3 февраля 1967 года и сразу стал объектом повышенного внимания Иосифа. Когда Андриусу



Рис. Иосифа Бродского. Собрание Дианы Абаевой-Майерс

исполнилось два месяца, Иосиф пришел днем с фотоаппаратом. Чтобы сфотографировать ребенка в нужном ракурсе, залез на подоконник. (Впрочем, позже Иосиф фотографировал и нашего младшего, Рамунаса, родившегося в ноябре 1971 года.) Через тридцать лет, в июне 1997-го Ляля привезла нам в Венецию, где мы тогда жили, ксерокопию хранящегося у нее рисунка Иосифа с изображением сцены фотографирования. На рисунке — наша семья, Иосиф-фотограф и — крупно — дата: «2 апрѣля 1967-аго года Санктъ-Петербургъ».

Примерно в это же время Иосиф съездил в Вильнюс. Там он по собственной инициативе навестил моих родителей, рассказал моей маме про наше житье-бытье и, главное, успокоил ее:

ребенок «вполне европейский». Мама Иосифу поверила, сомнения, если и были, исчезли. Так, с подачи Иосифа, моя мама «приняла» внука до того, как его увидела.

К Бродским мы стали ходить всей семьей. Всячески опекать маленького Андрюся стали и Иосиф и его родители. Эля вспоминает, что Иосиф мог запеленать младенца чуть ли не надежнее, чем она сама. Она могла доверить Иосифу надолго выйти с коляской на улицу.

Иногда Иосиф приходил к нам поздно вечером, когда Андрюс уже спал. Если при этом Иосифу хотелось читать стихи, мы, чтобы не разбудить ребенка, уходили на общую с соседями кухню. Конечно, если Иосиф даже начинал тихо, дальше его голос нарастал, и мы с Элей сжимались от ужаса, что кто-то из соседей сейчас выйдет и будет скандал. Удивительно, хотя соседи были весьма разные и по уровню образования, и в других отношениях, а ночные чтения имели место не один раз, никто из них ни разу не вышел. Возможно, люди чувствовали, что происходит что-то сакральное, сродни служению и мешать не полагается.

Недалеко — на Кутузовской набережной — находился и мой институт, на работу я ходил пешком. Мои коллеги, физики-теоретики, особенно те, с которыми я общался теснее, знали о моей дружбе с «легендарным» Бродским, который их интересовал тоже. Мне казалось, что я должен «показать» им Иосифа. Нашелся и подходящий случай. Весной 1969 года я готовился к защите кандидатской диссертации. Было принято, чтобы после удачной защиты участников заседания и сочувствующих диссертант приглашал на небольшое угощение. Мы с Элей решили привести коллег к себе домой, куда пригласить с чтением стихов Иосифа. Разумеется, он согласился. Таким образом, Бродского у нас слушал цвет ленинградской теоретической

физики — Владимир Перель, Григорий Пикус, Борис Лайхтман, Михаил Дьяконов, Юрий Гальперин, Вениамин Козуб, Олег Константинов, Андрей Дьяконов, Владимир Захаров (Новосибирск). И разумеется, мой научный руководитель Вадим Гуревич вместе с моим «пожизненным» соавтором и частично учителем Сергеем Ганцевичем. По другому случаю, позже, мы с Иосифом гостили дома у Вадима Гуревича и его супруги Гали.

Иосиф ждал появления на свет своего ребенка, готовился и внутренне и практически. Иосиф приводил к нам на Чайковского ожидающую ребенка Марину, именно тогда мы с ней и познакомились. Марине понравилась уютная белая немецкая кровать Андрюса. Иосиф попытался достать такую же. Но точно такой в нужный момент в продаже не оказалось. И Иосиф договорился с Элей о том, что он забирает нашу, а к возвращению Эли с Андрюсом после лета из Вильнюса у нас будет новая кровать (помню, как мы втроем — Иосиф, я и, скорее всего, Гарик Восков — кровать для Андрюса, но уже другого образца, покупали на Кировском проспекте).

Друзья Иосифа Эдуард Кочергин и его супруга, узнав, что Марина после родов не сможет с ребенком вернуться к своим родителям, временно уступили одну из двух своих комнаток в коммунальной квартире. (В условиях тогдашнего Ленинграда — поступок, по степени альтруизма выходящий за пределы разумного.)

Как только Иосиф забрал Марину с новорожденным Андреем и отвез их к Кочергиным на улицу Герцена (Большая Морская), 34, он повел туда и меня. Андрей оказался крошечным Иосифом, рыжим, конопатым, с проглядывающими Иосифовыми чертами лица. То ли в тот, то ли в другой раз при мне пришла Мария Моисеевна с Тамарой Израилевной Зингер, нас с Иосифом прогнали,

стали готовить ребенка к купанию. (Т. И. Зингер — супруга Бориса Моисеевича Вольперта, брата Марии Моисеевны, родного дяди Иосифа. Тамара Израилевна была замечательным детским врачом, много раз выручавшим нас из беды.)

К сожалению, идилия очень скоро кончилась. В какой-то день Иосиф пришел к нам в состоянии, близком к нервному срыву. Между ним и Мариной произошла не очередная ссора, какие бывали и до рождения ребенка, а что-то намного существеннее. Иосиф считал — мосты сожжены. И действительно, насколько мы знаем, Иосифу до эмиграции увидеть сына больше не удалось, они встретились лишь в 1990 году, когда Андрей навестил отца в Америке.

В 1970 году мы из центра города переселились на окраину: мы получили отдельную квартиру на проспекте Энгельса, рядом с тем самым общежитием Академии наук, в котором я жил, будучи аспирантом. Это далеко от центра, к нам приходилось ехать на трамвае больше сорока минут, но Иосиф все равно нас часто навещал. Кстати, когда нашему младшему, Рамунасу, исполнилось два месяца, Иосиф снова, как и примерно пять лет тому назад, появился у нас днем с фотоаппаратом. В свидетельницы мне приятно призвать нашу с Иосифом общую приятельницу Татьяну Никольскую. В своих воспоминаниях, правда, может быть, слегка преувеличивая, Таня пишет:

Как дома Бродский чувствовал себя у Леши Лифшица (Льва Лосева) и у своих друзей-физиков Эли и Ромаса Катилюсов. Они жили тогда у Поклонной горы. Метро в этот район еще не провели, добираться туда на трамвае приходилось в течение часа. Иосиф часто ездил на трамвае в этот гостеприимный дом, где ему были всегда рады, вкусно кормили

*и давали денег на такси. В семье Катилюсов был культ Бродского. Не только Эля с Ромасом, но также их маленькие дети знали наизусть его стихи. Володя Уфлянд рассказывал, что сын Иосифа Андрей впервые услышал стихи отца от младшего сына Катилюсов Рамунаса, который, кажется, еще не ходил в школу.**

Наши дети отвечали Иосифу взаимностью и признательностью. Вот нынешний комментарий Рамунаса-младшего:

Действительно, «В деревне бог живет не по углам...», а может, и еще пару стихотворений я, пожалуй, наизусть запомнил раньше, чем научился читать. Я ведь рос со стихами «дяди Иосифа» — будучи совсем ребенком, я их, разумеется, еще не понимал, но уже чувствовал по звучанию — в этих стихах было что-то очень настоящее, что-то очень большое; что-то, что важнее и значимее любой сказки. Прекрасно помню эпизод — мне лет шесть, и мама мне ставит банки (видимо, у меня было очередное воспаление легких), а папа, дабы отвлечь мое внимание от неприятной и даже страшноватой процедуры, из только что дошедшей до нас ардисовской книжки читает «Колыбельную Трескового мыса».

Эти пять с половиной лет в жизни нашей семьи были благодаря общению с Иосифом настолько содержательными и эмоционально насыщенными, что и нынче — по прошествии, страшно подумать, более четырех десятилетий! — те годы светятся неповторимо ярко.

* Т. Л. Никольская. Авангард и окрестности. СПб., 2002. С. 287.

ОКРУЖЕНИЕ БРОДСКОГО

Общаясь с Иосифом, мы естественным образом окунулись в его окружение. Иосифа окружали замечательные поэты его поколения — Евгений Рейн, Владимир Уфлянд, Анатолий Найман, писатель Яков Гордин. Дружил он и с литературоведом, профессором Педагогического института им. Герцена Ефимом Эткиндром. Очень многие люди уважали Бродского и гордились им, старались как могли помочь и это открыто показывали. Стремясь защитить Бродского, Самуил Маршак, Корней Чуковский и Дмитрий Шостакович писали тогдашнему первому секретарю ЦК КПСС Н. С. Хрущеву.

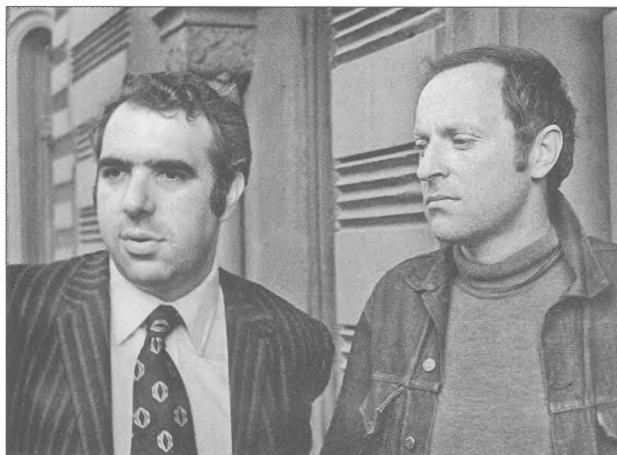
Иосиф с удовольствием знакомил между собой своих друзей. Две цитаты, из разного времени.

Андрей Сергеев: Иосиф «на каком-то просмотре свел меня с Гольшевскими, Микой и Наташей, и сказал: — Я вас хочу познакомить, это самое лучшее, что я могу сделать».*

Во второй цитате речь идет о другом времени — 1980–1990-х годах — и, казалось бы, о другом мире — об Америке. Цитирую адресованное нам письмо 1997 года нью-йоркской приятельницы Иосифа Маши Воробьевой: «...мы все познакомились через Иосифа и подружились. Кроме своих стихов он оставил множество своих друзей (и подруг), которые стали друзьями между собой».

С самого начала нашего с ним приятельства Иосиф стал знакомить со своими друзьями и нас. Уже в первые месяцы нашего проживания в Питере на Чайковского мы с Элей позна-

* *Андрей Сергеев. Omnibus: Альбом для марок. Портреты. О Бродском. Рассказы. М., 1997. С. 443.*



На балконе с поэтом Евгением Рейном. Ленинград, ул. Пестеля
Фото А. И. Бродского

комились с Уфляндами, Найманами, Гордыными, Лифшицами, Женей Рейном, Мишей Мейлахом, Гариком Восковым, Таней Никольской (ее мужа Леонида Черткова мы знали и раньше, через Сергеевых). Кого-то из них Иосиф привел к нам домой (например, в сочельник, 24 декабря 1967 года), у кого-то дома по настоянию Иосифа вместе с ним побывали мы. А чаще всего встречались у Иосифа, например 24 мая любого года. В 1968 году Иосиф познакомил нас с Мишей Мильчиком и Ниной Никольской — с ними мы дружим по сей день. Благодаря Иосифу нашими добрыми знакомыми стали Ефимовы, Беломлинские, Ефим Славинский, Люда Штерн, Костя Азадовский, Эдик Блюмштейн, Оля Бродович, Яша Виньковецкий, Володя Герасимов, Миша Еремин, Лариса Степанова, Гарик Левинтон, Михаил Петров, грузинская поэтесса Дали Цаава и другие замечательные люди.

Иосиф свел меня с упомянутым выше Микой Гольшевым, своим московским близким другом; мы с Элей так сдружились с Гольшевыми, что, приезжая в Москву, у них на Тишинской площади чувствовали себя как дома.

Стихотворения Бродского печатали за границей, переводили на другие языки. Приезжающие в Ленинград гости из-за рубежа, связанные с литературой, обязательно приходили к Бродскому. Иностранцев аспирантов-славистов, с которыми Иосиф общался, он нередко приводил и к нам. Так мы подружились с Фейт Вигзелл, Лиз Робсон, Лиз Винтер, Сэмом Реймером, Кейсом Верхейлом. С англичанками Фейт Вигзелл и Лиз Робсон, американцем Сэмом Реймером мы дружим и поныне. Летом 2010-го Фейт посетила Вильнюс и сделала доклад на международной конференции, посвященной 70-летию Бродского. Осенью 2011 года в Вильнюс приезжали также Лиз Робсон и Сэм. Все трое приняли участие и в составлении этого сборника.*

В те годы в Ленинграде часто бывали славист, профессор Мичиганского университета, знаток и издатель самиздата Карл Проффер и его жена Эллендея — друзья и издатели Иосифа. В их издательстве «Ардис» за несколько лет увидел свет не один сборник стихотворений Бродского. Особую, решающую роль Карл Проффер сыграл в первые дни эмиграции Иосифа, но об этом далее.

С Профферами Иосиф свел нас, как только они оказались в Ленинграде. Нас связала взаимная симпатия и забота об Иосифе. Во время довольно частых приездов в Ленинград Профферы не раз бывали у нас дома, иногда со своими детьми. Уже после

* См. в настоящем издании статьи Фейт Вигзелл (с. 224–228), Элизабет Робсон (с. 229–240) и Сэмюела Реймера (с. 241–284).

отъезда Иосифа, когда Профферы приехали на очередную Московскую книжную ярмарку, мы специально на один день ездили в Москву, чтобы с ними повидаться. Наши отношения были очень искренними. Увы, в 1984 году Карла, едва достигшего 46-летнего возраста, не стало. У нас хранится открытка из Энн-Арбора, написанная Карлом в преддверии неминуемо приближающегося конца, в которой он пишет, что осознание краткости отпущенного ему времени придает силы делать и сделать как можно больше... С Эллендеей мы поддерживаем связь и поныне.

Я благодарен Иосифу за пусть короткое, но навсегда запомнившееся знакомство с Надеждой Яковлевной Мандельштам. Как-то необычно рано утром позвонив, Иосиф спросил, обязательно ли я должен идти на работу. Если не обязательно, то было бы хорошо, если бы мы встретились. Оказалось, что на один день в Ленинград приехала Надежда Яковлевна и Иосиф решил меня с ней познакомить. При встрече она мне дружелюбно улыбнулась: «Да, в Москве мне говорили, что рядом с Иосифом теперь — положительный литовец».

Дело, по которому Надежда Яковлевна приехала, отняло у нее намного меньше времени, чем ожидалось, так что большую часть дня мы провели у Иосифа. Надежда Яковлевна около часа отдыхала, я на это время уходил. Остальное время мы втроем провели в беседах. В память мне врезалась доверительно сказанная фраза: «Ромас, вы знаете, Осипа Эмильевича нет, Анна Андреевна умерла — и Ленинград стал мне чужим. Меня сюда больше не тянет...» Возможно, свое настроение она доверила мне именно как не настоящему ленинградцу.

На вокзале, прощаясь, Надежда Яковлевна велела, как только буду в Москве, навестить ее. Через какое-то время я это сделал. Она уже неважно себя чувствовала, полеживала, но беседа у нас

шла бойко и весело, тем более что очень скоро к нам присоединились оказавшиеся в Москве Профферы.

НОВЫЕ СТИХИ

Стихотворение «В Паланге»

Иосиф любил показывать друзьям только что сочиненные стихи, требовал высказать свое мнение, ждал даже критики. Приходя к нам под вечер, часто приносил сочиненное за день. Именно так в нашем семейном архиве оказался черновик первых «литовских» стихов Бродского — «Коньяк в графине — цвета янтаря...» («В Паланге»).

С Палангой сам поэт связал еще два стихотворения 1968 года. Под окончательными вариантами стихотворений «Anno Domini» и «Элегия» («Подруга милая, кабак все тот же...») указаны именно этот год и место — Паланга.

Наш экземпляр «Anno Domini» — ранний, недатированный, незавершенный. В нем — десять строф (11-я зачеркнута). Обращенная к нам (Катилюсам) приписка гласит: «Может быть, еще припишу две строфы. Joseph».

На самом деле в конечном варианте 14 строф, да и первые десять в нашем варианте еще весьма отличаются от окончательных. Таким образом, наш черновой вариант интересен скорее тем, что позволяет заглянуть, так сказать, в творческую кухню поэта.

Второе стихотворение, тоже поэтом помеченное названием местности «Паланга», это «Элегия». Наш вариант, с учетом авторской правки, почти не отличается от окончательного текста, вошедшего в «Сочинения Иосифа Бродского».*

* Сочинения Иосифа Бродского. В 7 т. Т. 2. СПб., 1997. С. 249.

Коньяк в графине — цвета янтаря,
что, в общем, для Литвы симптоматично.
Коньяк вас превращает в бунтаря.
Что не практично. Да, но романтично.
Он сильно обрубаёт якоря
всему, что неподвижно и статично.

Конец сезона. Столики вверх дном.
Ликут белки, шипками насытятся.
Хранит в буфете дусский агроном,
как свихнувшийся с распутицей витязь.
Фонтан хурчит, и где-то за окном
мигнуты Крате и Каститис.

Пустые пляжи чайками живут.
На солнце сохнут пестрые кабинки.
За дном транзисторы режут,
и кашляют курляндские каминки.
Каштаны в лужах сморщенных плывут
почти как гальванические мины.

К чему вся метрополия глуха,
то в джине привычки пережали.
Поэт апостол рачьего стиха
в своем невразумительном журнале.
И слепок первородного греха
имеет отражение в канале.

Свет отраз турки муршует

Страна, эпоха — плетень и разотри!
На волнах плывет пограничный катер.
Когда часы показывают "три"
слышны, хоть удивай залпы за дебаркадер
волокола костела. А внутри
на муки Сына смотрит Богоматерь.

И если жить той жизнью, где пути
действительно расходятся, где фланги
бесстыдно обнажась до кости
заводят разговор о бумеранге,
то в мире места лучше не найти
осенней, всеми брошенной Паланги

Ни русских, ни евреев. Через весь
огромный пляж двухлетний археолог
ушедший в свою собственную спесь
бредет, захав фаянсовый осколок.
И если сердце разорвется здесь,
то по-литовски писанный некролог

~~И если сердце разорвется~~
не превзойдет наклейки с коробка,
где брякают оставшиеся спички.
И солнце, наподобье колобка,
~~блуждает~~ для утешения синички
на миг за кучевые облака
для траура а ~~пожел~~ по привычке.

Зайдет на

Лидь море будет покотать, эморба
по своему безлично, и неистов

Талант
Прелестнейшая к себе
и ласка
благословен

Лишь море будет рокотать, скорбя
бездельно — как бывает у артистов. *Кембридж,*
Восток дует, в намеренье сон
и ~~души~~ ветра. *Пик, неметов!* *Нико Кембридж*
Невозможно пропускать через себя
республиканских велосипедистов.

х. члене Храмова о Пушкинском в
науке и жизни (1966)

Колдунья — там продует сурово
и тонк род, восточная суровость —
Потрес в свое Холостую подвель
и — со все ~~ураган~~ ^{тешу} ~~одежда~~ ^{оде}
Самодельная революция в
Песню и жемчугу Песни

Факсимиле черновика стихотворения «Юнонь в графине — цвета янтара...»

Творческий вечер в 1968 году

Единственный за все шесть лет нашего общения с Иосифом большой публичный вечер встречи творческой молодежи, в котором Иосиф принял участие, состоялся 30 января 1968 года в Белом зале Ленинградского дома писателей. Литературную часть вечера вел Яков Гордин, свои произведения читали семь или восемь человек, включая знакомых мне Довлатова, Марамзина, Уфлянда. Иосиф (разумеется, это он позвал меня на этот вечер) прочитал хорошо мне известное стихотворение «Остановка в пустыне». Прочитал вдохновенно, из зала выглядел как бы оторванным от пола, приподнятым.

В позднее данном подробном описании вечера Яша Гордин, в частности, писал: «Это было небывалое событие, и так оно и воспринималось слушателями». Так оно было воспринято и мною. Очень хорошо помню двух солидных мужчин среднего возраста, в добротных костюмах на площадке внутренней лестницы великолепного Шереметевского дворца, делящихся между собой впечатлениями от поэтической части вечера. Один из мужчин весьма серьезным тоном говорил другому: «Да, Бродский, несомненно, проявляет признаки гениальности». По внешности я не различал ленинградских писателей и просто интеллигентов, так что так и не знаю, кто «из элиты» в неформальной беседе так высоко оценил моего приятеля.

Вечер был слишком ярким, чтобы остаться незамеченным властями: одоббившие его организацию функционеры потеряли свои посты. Кстати, догнав после вечера меня на Чайковского, Иосиф спросил: «Ну и как тебе нравится это дидактическое искусство?» Думаю, он как бы извинялся за прямую гражданственность прочитанного им стихотворения.

«За Саву, Драву и Мораву...»

В конце августа 1968 года, в дни советской оккупации Чехословакии, гражданственность хлынула наружу. Иосиф начал писать и принес нам черновик стихотворения, начинающегося строками:

За Саву, Драву и Мораву,
за Лабу, за Дунай, за Влтаву,
за реки — символы свободы,
за то, что пришлым эти воды
не вычерпать солдатской каской...

Три строфы с вариантами и четвертая, незаконченная.

Иосиф часто и применительно к разным ситуациям говорил: «Надо пытаться взять нотой выше», «Надо взять нотой выше», что означало — надо сделать больше, чем ты можешь. Иосиф попытался сделать то, чего до того никогда не делал: написать стихи на острейшую политическую тему.

Однако политическая ситуация быстро менялась. Слова «за вашу славу» как бы повисли в воздухе. При тогдашнем соотношении сил славы чехам надолго хватить не могло. Пражская весна кончилась поражением, еще и прикрытым неким якобы соглашением о мнимом умиротворении. Иосиф уже и не пытался стихотворение закончить. Позже он говорил мне, что не ясно стало, о чем писать. Порыв — взять нотой выше — в тот раз не увенчался успехом. Незаконченное стихотворение до сих пор не опубликовано.

«Памяти профессора Браудо»

В марте 1970 года Иосиф и мы с Элей грустили по поводу кончины отца нашей приятельницы Анастасии Браудо. Династия замечательных органистов — в наше время редкое явление. Исай (Исайя) Александрович Браудо — известный органист, профессор Ленинградской консерватории. Дочь его, Анастасия Браудо, — замечательная концертующая органистка. Иосиф бывал у них дома, хорошо знал всю семью. Через Иосифа с Настей («Настюхой») познакомились и сдружились и мы. Ходили на концерты Насти и ее отца в Большом зале Ленинградской филармонии. Мы продолжали встречаться с Настей и после отъезда Иосифа.

Сразу после кончины Исая Александровича Иосиф написал великолепное стихотворение «Памяти профессора Браудо».

Люди редких профессий редко, но умирают,
уравнивая свой труд с прочими. Землю роют
люди прочих профессий, и родственники назавтра
выглядят, как природа, лишившаяся ихтиозавра.

Март — черно-белый месяц, и зренья в марте
приспособляется легче к изображенью смерти;
снег, толчая колес, и поднимает ворот
бредущий за фотоснимком, едущим через город.

Голос из телефона, за полночь вместо фразы
по проволоке передает как ожерелье слезы;
это — немой клавир, и на рычаг надавишь,
ибо для этих нот не существует клавиш.

Мозги редшею профессий редше но умирают
приравняв свои труд к кровям, и землю роют
мозги земли профессий. и расст^{ваешии}равнеи
востледет как природа, пишвиелен ит^{неавра}вова

Март-чертобелый месяц, и Брекне в марте
пригос^{ваешии}оделет летче к изображению смерти-
стей, толчев копес; и подишевет ворот
бредущий за фотостанком, едушим через горю.

Голос из телеэоки заполюць вместо оразке
по проволоке передает как ошерелье слезы
Синевь-доголове ПАЗ, редше когда разлике
способна приодрети фореу и скарить звука

Время пенит прижавише к скритуми доскеи,
за тикелюции всю едь недмоделе дичком;
В опустевшей квартире, ее тишине на завить
Крутитса в темноте с вечным молчаньем запись.

ИЛИЗО

Old Jagon

Переводя иглу с гаснущего рыдания,
тикает на стене верхнего «до» свиданья,
в опустевшей квартире, ее тишине на зависть,
крутится в темноте с вечным молчаньем запись.*

Это полный и окончательный вариант мемориального стихотворения. Привожу его, чтобы сравнить с рукописным из нашего семейного архива. Под рукописным текстом та же дата, «17. III. 1970», и подпись — «Old Joseph». Но варианты различаются двумя последними строками третьей строфы, а также двумя первыми строками четвертой строфы.

Как ни странно, Марамзин вообще не приводит вариантов этого стихотворения. Видимо, вариант не был ему известен.

«Литовский дивертисмент»

У нас на глазах создавался «Литовский дивертисмент» (1971). В нашем семейном архиве хранились даже три отчасти машинописных (машинка Иосифа), отчасти рукописных текста, отражающих этапы создания этого великолепного цикла. Первую, черновую, версию составляют шесть пронумерованных частей. Стихи напечатаны на половинках листа, разрезанного вдоль, потом низ одной части и верх другой склеены липкой лентой: получилась длинная бумажная полоса, сверху вниз на которой поместился весь цикл. Наверху посвящение: «Homage to Thomas Venclowa», дальше следует стих «Neringa» и так далее. Две части (из шести) снабжены посвящениями: «Liejuklos» — «R. K.» (Ramūnas Katilius), «Dominikonaj» — «V. Č.» (Virgilijus Čepaitis). Значительная правка рукой. Две из шести частей

* Сочинения Иосифа Бродского. В 7 т. Т. 2. СПб., 1997. С. 360.

Homage to Thomas Venekova

I Kersavage

Время уходит в Вильносе в дверь кафе,
проежжимо дребезгом блюдец, ножей и вилок,
и пространство, покачиваясь, подкафе,
могуча смотрит ему в затылок.

над сухими ^{или} медузами ^{или} плавают дым и речь;
подавальщица в кофточке из батиста,
перебирает ногами, снятыми с плеч
местного футболиста.

и никто не скажет, в котором часу зайдёт
солнце ~~дождь~~, и почему кривая
штука вина разбавляет в стакане лёд,
холод ~~холод~~ не согревая.

~~Холоднокровие.~~

2 Ljermlov

R.K.

Годиться бы сто лет назад
и, сохнувшей поверх перины,
глядеть в окно и видеть сад,
кресты двуглавой Катарини;
стыдиться родичей, ипать
от наведенного лорнета,
тележку с рухлядьё толкать
по жёлтым переулкам гетто;
мечтать, укрывшись с головой,
о польской барышне, к примеру;
дождаться Первой Мировой
и пасть в Галиции - за Веру,
Царя, Отечество; а нет -
так пейсы переделать в бабки
и перебраться в Новый Свет,
блвыя в Атлантику от качки.

3 Kersavage

Драконоборческий Егорий,
копы в горниле аллегорий
утратив, сохранил досель
копья и меч, и повсеместно
в Литве преследует он честно
другим невидимую цель.

Кого он, стиснув меч в ладони,
решил настичь? Объект погони -
он за пределами герба.

Кого я? Янчичика? Гнура?

Не весь ли мир? Тогда - не дура
была у Витовта губа.

4 AMICUM PHILOSOPHUM de MELANCHOLIA MANIA
ET PLICA POLONICA.

Бессонница. Часть женщины. Стекло
полно рентгений, рвущихся наружу.
Безумье дня по мозаичному стеклу
к затылку, где облепывало яму

~~Бессонница
 Так холодно. Рот женщины молчит.
 Весь мир со всеми потрохами - в святой
 Буре того, кого не различит
 без куша даже зоркий ослядакай.~~

~~Ночная тьма со слухом сплетена
 для явщего со смертью Улиссона.
 А западны и выпуклости тьмы
 жестоко мучат недра кольтуна,
 забыв о достижениях Улиссона,
 о дожищах, а зочках сулемы.~~

5 Palawgen

Только море способно взглянуть в лицо
 небу; и путник, сидящий в донях,
 опускает глаза и соебт вино,
 как изгнанный-царь без орудий струнных

Дом разграблен. ~~Ассирия~~ ^{Стога у него -}
 Сны прячет в ~~пещерах~~ ^{пещере} пастуха, пещеры.
~~И теснота~~ ^{И теснота} ~~и край земли~~ ^{край земли},
~~са ст...~~ ^{по водам} ~~на~~ ^{на} ~~воды~~ ^{воды}.

Ступато) достает

6 Doin Wilkraj V.C.

Сверни с проезжей части в полу-
 следной проулок и, войдя
 в кестёл, пустой об эту пору,
 сядь на скамью и, погоди,
 в ушную раковину Бога,
 закрытую для шума дня,
 шепни всего четыре слога:
 "Прости меня!"

Handwritten signature

Зеленая / мы там долго сидели в
Чисто кофюк пересел жеторле пилует ^{гравит}
и курение Тежмоловчет. Желет
Впрочем все устывали как ося
и ширет
А ширет, ~~кто~~ кофу сидеть мерсе
Ше подивиле не атакер

В половинном воздухе желтый круг
Затирает коверх зернистой кровель
Чьи ~~там~~ заострелось, таме вдруг
От лица осталось всего лишь профиль

И желение шурьего етима речь
подат ~~посидица~~ в кофюжке и да жет
передирает кофами, шлетам с плеч
местного фуголиста

Чуть шевельнешься - и ощущаешь кутерьму
как вконец в ледяную стужу
обламывает острое перо
и мерещно вводят "кельвинскую"
~~на~~^{как} в прописи, где каждая кривая
извилища. Частое шептание в кошмар
в слух выпускает длинные слова
как пестерки в зашифрованные предья
и беспретворно рассматривает муз
твоей зрелище среди любимых туг?

частично перечеркнуты, сочиненные вместо них записаны на обратной стороне.

Второй документ рукою Иосифа помечен обращением ко мне: «Милый Ромас, это — 1-я часть того Дивертисмента, для Томика». В первом варианте эта часть («Вступление») вообще отсутствовала. Третий документ — «Литовский Дивертисмент. Томасу Венцлова» — включает в себя все семь частей, напечатан аккуратно. Тем не менее две строки зачеркнуты и дописаны от руки.

Кстати, в первой части «Дивертисмента» имеются строки «Бурый особняк диктатора». Любопытно, что они стали предметом небольшой дискуссии между Томасом Венцловой, считающим эти строки намеком на дом секретаря компартии Литвы в Вильнюсе, и мною, считающим, что эти строки относятся к довоенной резиденции президента Литовской Республики в Каунасе. Президентом Литвы в тридцатые годы прошлого века был Антанас Сметона, правивший достаточно авторитарными методами. Моя убежденность в правильности моей интерпретации зиждется не только на наличии каунасских реалий в соседних строках стихотворения. На мой взгляд, важнее другое. Слово «диктатор» подразумевает, хотя и в отрицательном смысле, самостоятельность, которую Иосиф вряд ли пожелал бы отнести к секретарям обкомов или республиканских ЦК советского времени: для этого он слишком низко их ставил.

Еще несколько стихотворений, написанных в 1970 году и ранее

В нашем семейном архиве есть рукописи еще трех стихотворений 1970 года: «Ты», «Морозный вечер...» и «Дебют».

Текст стихотворения «Ты» совпадает с опубликованным в собрании сочинений*, разница лишь в названии — там оно называется «Страх». Рукопись подписана инициалами «ИБ».

«Морозный вечер...» — это 10-я часть цикла «С февраля по апрель», подписана рукопись именем («Иосиф»). Текст рукописи совпадает с опубликованным в собрании сочинений.**

«Дебют» — стихотворение из двух частей по четыре строфы каждая.*** Хранящийся у нас вариант имеет только три строфы, причем их можно трактовать как самостоятельные стихотворения. Насколько я помню, исходный вариант именно таким и был, что и подтверждает рукопись.

В нашем архиве есть также две рукописи стихотворения 1968 года, в собрании сочинений названного «Открытка из города К.»**** Первая — аккуратный машинописный экземпляр (машинка Иосифа), но с названием «Открытка из города Кёнигсберга» и без присутствующего в собрании сочинений посвящения Томасу Венцлове. Вторая представляет собой более ранний рукописный черновик, без названия и без посвящения. В двух строках имеются отличия от опубликованного в собрании сочинений варианта.

Написанное в 1967 году стихотворение «Фонтан»***** в нашем архиве с правками рукой поэта. Оно приближено к окончательному варианту.

Варианты двух написанных в том же году стихотворений — «Postscriptum» и «1 сентября 1939 года» — в нашем архиве

* Сочинения Иосифа Бродского. В 7 т. Т. 2. СПб., 1997. С. 393.

** Там же. С. 406.

*** Там же. С. 375–376.

**** Там же. С. 250.

***** Там же. С. 206.

названы почти одинаково: «Сонет» и «Сонет/1 сентября 1939 года». На самом деле это не варианты, а несколько ранее уже написанные стихотворения, которые Иосиф по памяти записал карандашом на нашей кухне в Ленинграде. Очаровательно, что оба стихотворения подписаны на литовский манер — «J. Brodskis».



Иосиф проявлял интерес к литовскому языку. Заметив, что Эля обращается ко мне не Рóмас, а Рóмай, то есть употребляет не именительный, а звательный падеж, он тоже стал обращаться ко мне Ромай (даже в письмах!), этим, разумеется, доставляя мне большое удовольствие. Более того, выяснив, как по-литовски правильно пишется его фамилия, он стал иногда так подписывать приносимые нам стихи.

В семейном архиве Катилюсов представлено помимо упомянутых выше еще 15 стихотворений Бродского 1962–1970 годов, в основном напечатанных на его машинке с мелким шрифтом и с исправлениями (либо дополнениями), сделанными его рукой. Достаточно длинное стихотворение «Он знал, что эта боль в плече...» целиком записано поэтом в 1968 году. Это стихотворение создано в 1964–1965 годах, то есть до нашего знакомства. Ранние стихи Иосифа мы, безусловно, знали хуже, чем те, которые рождались, можно сказать, на наших глазах. Правда, Иосиф давал нам ненадолго почитать выпущенный в 1965 году в США

сборник его ранних стихотворений. Скорее всего, в нем я и прочел это стихотворение, которое произвело на меня огромное впечатление. Но наизусть я его не помнил и как-то спросил Иосифа, нет ли у него лишнего экземпляра. Недолго думая, Иосиф присел за стол на нашей кухне и одним махом записал все десять строк. Подписал инициалами «ИБ».

ОТНОШЕНИЕ К СОВЕТСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

С течением времени несоответствие поэта советской системе становилось все более явным. Иосиф все время чувствовал напряжение, ему казалось, что госбезопасность и обком против него что-то замышляют. Печататься на родине возможности не было. Зарабатывать на хлеб каким-либо литературным трудом, скажем переводами, которые кормили Ахматову и Пастернака в куда более трудные времена, по существу, возможности тоже не было.

Первый эпизод. Стихотворение «Народ»

После ссылки власти пытались «приручить» Бродского, обещая издать его сборник стихов. Было ли это серьезным намерением или это была просто такая игра, неизвестно. Но книга издана не была, а мы с Элей сыграли в этом определенную роль, о чем не жалею.

В ссылке Иосиф написал стихотворение «Народ», в котором при желании можно было усмотреть проявление смирения. С другой стороны, Иосиф знал, что Анна Ахматова относилась к этому стихотворению хорошо, и не считал его публикацию

в принципе невозможной. В 1966 году власти не стали препятствовать подготовке к печати сборника стихов Бродского, который при достаточной уступчивости Иосифа, может быть, и мог бы в 1967 году увидеть свет. Тем более что на Западе книга стихов и поэм Иосифа вышла еще в 1965 году, что ставило власти, скажем так, в неловкое положение.

В те времена существовало такое понятие — «паровозик». Это нечто такое, не всегда осязаемое, в начале книги или в спектакле либо на выставке, что свидетельствовало об относительном согласии автора/режиссера/художника с существующим порядком вещей, а потому могло вытащить произведение искусства на публичную арену. Такую уступку еще называли «брошенной костью». В данном случае ею должно было стать стихотворение «Народ». Иосиф знал, в какой стране живем, книгу издать ему хотелось, опять же отношение к этим стихам Ахматовой... Короче, «Народ» во главе книги Иосиф не считал сдачей позиций. Так же к этому относились и друзья Иосифа, включая нас. Нам казалось, что если какой-то читатель, открыв книгу, возможно, и поморщится, то дальнейшее ее содержание станет для него таким подарком, что «паровозик» будет забыт или прощен.

Однако было предложено до выхода книги опубликовать три стихотворения в ленинградском альманахе «День поэзии. 1967». И здесь тоже первым должен был идти «Народ».

Был январь 1967 года. Зайдя днем к Иосифу и услышав об этом, мы с Элей как-то оба одновременно сообразили, что стихотворение «Народ» в сопровождении всего двух, хотя и замечательных стихотворений в качестве первой публикации после ссылки будет рядовым читателем воспринято как знак подчинения или даже покаяния. На первых страницах книги оно скорее просто

напоминало бы, в какой стране живем, а книга говорила бы сама за себя. Мы поделились этими соображениями с Иосифом. Он не раздумывая поднял трубку и сообщил кому-то, что «Народ» он из подборки в альманахе снимает. Положив трубку, сел на пол и сказал нам: «Книжки не будет». Правила игры Иосиф знал хорошо: раз уже на раннем этапе он демонстрирует несговорчивость, пусть о книге не думает. Книга действительно не вышла. Об этом эпизоде пишет и Андрей Сергеев.*

Важное замечание. Разумеется, я не подозреваю, что это стихотворение в ссылке писалось с целью быть использованным как «паровозик». И обращаю внимание на то, что здесь я вообще не касаюсь совершенства или несовершенства «Народа» как художественного произведения. И тогда с Иосифом, и сейчас речь только о социально-общественном аспекте происшедшего.

Второй эпизод. Письма из Ялты

Взаимоотношения Бродского с советской средой наглядно иллюстрирует и два его письма из Крыма, присланные нам в январе 1971 года. Неизвестные мне доброжелатели добыли ему место (возможно, зимой не очень дефицитное) в Доме творчества Литфонда, и он поехал в Ялту. Первое письмо длинное, второе — открытка. Вот несколько отрывков из первого:

[...] Друзья мои, здесь прекрасно и, в то же время, можно удаться от тоски, чего я не делаю только потому, что самый

* Андрей Сергеев. Omnibus: Альбом для марок. Портреты. О Бродском. Рассказики. М., 1997. С. 444.

выбор — удавиться не удавиться — очень скромный. Это у меня гостиничный синдром! [...] Публика: жлобы-шахтеры, говорящие на чем-то, возникшем от столкновения украинского и русского. Два-три писателя [...], с женами, похожими на ящериц, не желающих сбрасывать кожу. Лица, Ромас! — конец света. На promenad'e — весь диапазон отечественного второго сорта, которым не дают отпуск летом. Отчаяние беспредельное — в одежде, в прическах, в грубости, в любопытстве — во всем. Жирные чучмеки в финских пальто и ондатровых — новых — шапках — скотоводческие partaigenosen — клеют вечером совершенно немислимых местных чувих на алюминиевых стульях, с коньяком на алюминиевых столах, под пальмами, чьи кадки упряты под асфальт, на фоне вечернего порта и моря, которого, по-моему, они просто не видят — другая сетчатка — для степи, для поголовья, для красной скатерти, потому она и красная, чтоб бросалась в глаза, гипнотизировала, была центром. Море — но это уже, боюсь, поэзия — в свою очередь не видит их. Не-поэзия только в том смысле, что то и то — стихия. Волны в шторм с такой силой разбиваются о берег, что а) захлестывают к е. м. promenade, б) брызги взлетают на большую высоту и попадают на брюхо чайкам, и те в ужасе взвиваются. Вообще надо было бы поставить на берегу бульдозер, как once upon a time сам знаешь где. У меня комната без view, темная — что и приятно и неприятно: потому что могла бы быть с view, будь я member of union. Конечно, идут какие-то интриги насчет view и, конечно, я молчу и улыбаюсь и меня третируют и уважают: и то и то за non-member'ство. [...] Стихи то пишутся, то не пишутся, будь они трижды не важно, что. Писем нет,

денег — тоже [...]. Боюсь, что, в конце концов, я очень скоро пошлю всю эту малину на Х. и отправлюсь на КАФКАЗ. Комфорт и впрямь не для меня [...]. В общем, я здесь как посол второсортной, но элегантной державы. [...] Я расхаживаю по Ялте: город изумительный — как все прибрежные. Все прибрежные города принадлежат к одной цивилизации: средиземноморской, что ли. [...]

Третий эпизод. Снова госбезопасность

В этой книге публикуется в переводе на русский язык очерк Виктора Ворошильского, польского литератора, о его встрече с Иосифом Бродским в Вильнюсе.* Эту встречу 5–6 апреля 1971 года устроил Томас Венцлова, также ее описавший.** В Институте литовской литературы в Вильнюсе, в доэмигрантском архиве Томаса Венцловы, хранится рисунок, набросанный Иосифом во время этой встречи на задней обложке некой брошюрки (ценою 15 копеек): ангел с трубой, автопортрет, железнодорожный состав и т. д. и несколько надписей («Homage to Lietuva», «Where is Mr. Thomas Venclova?» «Pociąg pana Witka»).

Знаем ли мы с Элей об этой поездке хотя бы что-нибудь, чего нельзя прочесть в упомянутых публикациях? Немного. Как это нередко случалось, сидим мы вечерком у Иосифа, в его «половине комнаты» (теперь ясно, что это было 4 апреля 1971 года),

* См. в настоящем издании статью Виктора Ворошильского (с. 296–305). Оригинал на польском языке: *Wiktor Woroszyński. Trzy fotografie // O Brodskim. Studia. Szkice. Refleksje / Pod redakcją Piotra Fasta. Katowice: Znak, 1993. P. 15–21.*

** *Томас Венцлова. Статьи о Бродском. М., 2005. С. 8–10.*

и вдруг — междугородний звонок. Звонит Томас из Вильнюса. Ничего не объясняя, велит Иосифу ехать в Вильнюс. Иосиф, ни о чем не спрашивая, повинуетя и назавтра улетает. Интересно, да? Вернувшись в Питер дня через два, рассказывает, что Томас познакомил его с Виктором Ворошильским, переводчиком поэзии Иосифа на польский язык. Ворошильского в СССР вообще-то не пускали, но в Эстонию каким-то образом пустили, а он заодно заехал и в Литву.

Ворошильский в упомянутом очерке среди прочего рассказывает услышанную от Иосифа историю, легшую в основу позже Ворошильским написанного рассказа. Поскольку мы с Элей были свидетелями происходящего, мне хочется рассказать, что и как помним мы.

Происходило это, насколько нам удалось вычислить, в начале лета 1970 года. Иосиф вызвал Элю с работы звонком из проходной, что само по себе свидетельствовало о неординарности ситуации. Они вышли на Кутузовскую набережную и пошли в сторону Летнего сада. Иосиф был крайне взволнован и взбешен так, как всего раз или два за все годы нашего общения. Оказывается, с ним только что беседовал сотрудник госбезопасности, показавший Иосифу недавно вышедшую в Америке вторую книгу его стихов, очевидно, одолженную с выставки новых поступлений в Большом доме на Литейном (здание ленинградского КГБ). Предлагается сделка. Вам (Бродскому) давно пора начать издаваться на родине, и мы (КГБ) готовы помочь вам в этом деле. Но в благодарность за это вы должны стать тайным сотрудником госбезопасности. Ну, разумеется, сказано было мягче — у вас часто бывают иностранцы, вы после их посещения будете нам рассказывать, о чем шел разговор...

Предлагать такое Иосифу — казалось бы, абсурд, глупость. Но, может быть, госбезопасность руководствовалась статистикой — кто знает, сколько замечательных книг при их строе было опубликовано именно таким способом?

Если я правильно помню, одной беседой дело не ограничилось. Зато четко помню рассказ Иосифа о том, как он все это прекратил: «Я сказал им, что дальше вести разговор согласен только с ведением протокола». То есть в кабинете следователя, на формальной основе. Отстали...

Четвертый эпизод. Одесская киностудия

А этот рассказ о том, как в 1971 году Бродский снимался на Одесской киностудии, как и почему кинокадры с его участием были вырезаны.

Существует обращенное к нам с Элей дружеское стихотворное послание Иосифа, частично связанное с этими событиями. Это стихотворное послание датировано 28 апреля 1971 года. Мы нашли его на кухонном столе в нашей ленинградской квартире на проспекте Энгельса, вернувшись из очередной поездки в Вильнюс. Уезжая, мы обычно оставляли квартиру в распоряжении Иосифа. Устающий от тесноты своей «половины комнаты», Иосиф часто жил и писал в квартирах ненадолго уехавших друзей, а в зимнее время — на дачах в окрестностях Ленинграда. Уезжая в Вильнюс, мы всегда оставляли Иосифу ключи сперва от нашей комнаты на Чайковского, потом от квартиры на Энгельса. А по возвращении иногда находили на столе какие-то тексты или рисуночки.

Внизу на листе рукою Иосифа зеленой шариковой ручкой написана фраза: «Лечу в Одессу, потом в Москву. Вернусь, ду-маю, 5–10 мая».

Эта фраза крест-накрест зачеркнута ручкой другого цвета (синего), ею же выше, между стихотворным посланием и зачеркнутой фразой, вписано следующее двустишие:

Судьба явила милость:
Одесса отменилась.

Смысл этих записей таков. Как хорошо известно, Ленинградский обком и московские литературные власти состояли в заговоре — не позволять Бродскому зарабатывать на жизнь даже переводами. Друзья Иосифа и друзья его друзей, наоборот, все время стремились найти в этой стене брешь. Записи на этом листе как раз связаны с одной из таких попыток.

Друзья друзей создали Иосифу возможность попробовать себя в кино — на Одесской киностудии ему дали маленькую роль. Иосиф, несомненно, обладал определенным актерским дарованием и с ролью секретаря подпольного райкома Гуревича справился отлично (существует фотография Иосифа в этой роли, бритого наголо). Студия уже готовила ему роль в следующем фильме. Но, видимо, про все это узнали в Ленинградском обкоме и отправили в Одесский обком депешу такого примерно содержания: мы Бродского не поддерживаем, а у вас, выходит, поддерживают. Одесский обком «нажал» на киностудию, и одесситам пришлось кадры с участием Бродского вырезать. Тем более не могло быть речи о роли в следующем фильме, и ехать в Одессу Иосифу уже было незачем.

Сегодня трудно поверить, что режим мог опускаться до столь жалкого уровня, до такой духовной убогости, но в те времена такие историйки-анекдоты являли собой печальную реальность.

Черты характера

Можно задаться вопросом: в какой мере конфликты Иосифа с властями, с окружающей действительностью определялись чертами его собственного характера? Разумеется, в некоторой степени определялись. Бродский мог быть довольно резким, колким, провоцирующим. Мне неизвестно, при каких обстоятельствах он попал в карцер в Вологодской пересыльной тюрьме, но могу рассказать о случае, свидетелем которого я был.

Как-то очень поздно вечером или даже ночью мы с Иосифом вдвоем вышли от кого-то из его приятелей, живших около Марсова поля, и, что вообще-то для нас не было характерно, отправились наискосок, через газон. И тут перед нами возник милиционер. Что он делал в дальнем углу поля, когда прямой его обязанностью было в центре Марсова поля стеречь Вечный огонь? Цвела сирень, ее ломали и носили продавать, и постовому, возможно, вменялось в обязанность по совместительству приглядывать и за зелеными насаждениями. Как бы то ни было, милиционер стоял перед нами и спрашивал, что мы делаем на газоне. И тут Иосиф — негодник! — выдал экспромт. Он заявил: «Академик Тимирязев велит траву топтать. Она от этого лучше растет». Я увидел, как до того в общем-то мирно настроенный милиционер меняется в лице. Он услышал что-то для него непонятное, а значит, обидное, а может быть, даже оскорбительное. Запахло участком, куда Иосифу в его положении ни в коем случае нельзя было попадать: это могло быть использовано против него, причем с далеко идущими последствиями. Я жутко перепугался. И тут Иосиф бросил взгляд в мою сторону и ради меня, знающего его характер, неожиданно разрядил обстановку, извинившись перед милиционером. Тот немедленно

нас отпустил. Иосиф объяснил мне, что, увидев, как я за него испугался, пожалел меня.

Чаще всего причиной колкого поведения Иосифа бывало его чутье. Он на расстоянии чуял неискренность, лживость, видел человека, как говорится, насквозь. Нам с Элей не раз случалось убеждаться в том, что оценка Иосифом того или другого человека, с ходу показавшаяся необоснованной, оправдывалась.

Раз уж мы заговорили об особых чертах характера Иосифа, расскажу, с его слов, и о таком случае. В Вологодской пересыльной тюрьме Иосиф попал в карцер. Рассказ Иосифа звучал так: получив свой суточный паек, Иосиф поглядел на него и задумался — мол, я нахожусь в полной зависимости от этого куска хлеба и тем самым от тех, кто мне его выдал. Такая зависимость мне невыносима. Подумав, Иосиф ломает кусок пополам. Одну половинку выкидывает за решетку, достаточно далеко, чтобы не было возможности ее достать, даже безумно проголодавшись. Вторую половинку немедленно и всю — до крошек — съедает. Смысл рассказа ясен: освободишься, побеждая себя для самого себя, ни у кого не на виду.

Иосиф не был злым. В том, что происходило, слишком винить отдельных представителей системы он, пожалуй, не был склонен. Так, ответственным секретарем Ленинградского отделения Союза писателей РСФСР в первой половине 1960-х, в годы глумления над Бродским, был Александр Прокофьев. Ленинградская интеллигенция считала, я слышал об этом от многих, что, когда готовилось дело Бродского, обвиненного в тунеядстве, служебным долгом Прокофьева было бы защитить Бродского, подтвердив, что Бродский — литератор (это был бы честный поступок: у Иосифа были договоры с несколькими издательствами о поэтических переводах). Не сделав этого, Прокофьев

стал как бы символом темных сил в этой драме. Я все это вспоминаю вот к чему. Прокофьев умер в 1971 году, и при мне весть об этом Иосифу принес неизвестный мне его приятель. Принес, так сказать, «в клюве», надеясь вместе с Иосифом порадоваться, что порок наконец-то наказан. А что Иосиф? Он промолвил: «Ну, мир его праху». Приятель стал напоминать все зло, проистекшее от покойника, на что Иосиф философски заметил: «Еще неизвестно, какими мы будем, когда нам будет шестьдесят». Удивленный и обескураженный приятель ушел.

Обобщая подобные эпизоды, Лев Лосев писал: «Бродский [...] мог грубо пошутить [...] иногда раздражался, бывал резок, но он ни к кому не испытывал ненависти».*

Обобщение

Как человек, в течение 1966–1972 годов близко общавшийся с Иосифом и посвященный во многие его дела и настроения, могу попытаться высказать несколько замечаний о его положении в родной стране в эти послесельные — предэмигрантские — годы.

С самого начала творческого пути яркость таланта молодого поэта делала каждое его стихотворение, каждую строчку непохожими на общеизвестное, на штампы советской поэзии. Не являясь антисоветскими и вообще политическими, стихи Бродского самим своим существованием как бы отрицали официальную литературу и даже саму систему. Бродский вызывал аллергическую реакцию советской системы, которая великолепно ощущала эту несовместимость. Популярность, несогласованная

* Лев Лосев. Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии. М., 2006. С. 177.

с властями, ими не одобренная, ставила под сомнение всеислие властей. Требовалось полное подчинение творца. Отсутствие же оного и привело к тому, что позднее сам Иосиф назвал «абсолютно гротескной» реакцией.

В 1968 году Иосиф попытался предложить некоторые свои серьезные вещи («Остановка в пустыне», «Прощайте, мадемуазель Вероника») слышшему тогда прогрессивным журналу «Новый мир». Рукопись вернулась автору со следующей, теперь курьезно выглядящей резолюцией главного редактора Александра Твардовского: «Для „Н. М.“ решительно не подходит — А. Т.». (Через некоторое время Иосиф рукопись с резолюцией отдал нам, она хранилась в нашем семейном архиве.)

Впрочем, бдительное око властей не всегда достигало окраин империи. Приятно отметить, что «Русская страница» тартуской университетской газеты «Tartu Riiklik Ülikool» 26. XII. 1969 напечатала стихотворение Бродского «Подсвечник» с припиской от редакции, подписанной Габриелем Суперфином: «Его стихи пользуются большой популярностью среди знающих поэзию».

Давление властей, той же госбезопасности, ожидание повторного ареста висели в воздухе до самого отъезда, хотя Иосиф жил, как бы не обращая на это внимания.

Разумеется, и ссылка и принуждение к эмиграции являли собой великую несправедливость, это очевидный факт. Иосиф выходил из этих ситуаций, не теряясь и сохраняя человеческое лицо.

Мне всегда импонировала передаваемая из уст в уста крылатая фраза Анны Ахматовой, сказанная в дни суда: «Какую биографию делают нашему рыжему!» Для себя эту фразу я всегда понимал так: если Иосиф выдержит, то выиграет он, а не «они». Вопрос в выносливости, в упорстве, обобщенно — в характере, в личности. И Иосиф выиграл. Вышел, конечно, с какими-то

потерями, может быть, в смысле здоровья. Но вышел не надломленным, не озлобленным. О ссылке всегда говорил: «У меня в деревне», «Яша мне в деревню привез...» Человеческое лицо он определенно сохранил.

ПИЛИГРИМ В ЕРЕВАНЕ — ПОЕЗДКА В АРМЕНИЮ

В середине апреля 1972 года Лев Лосев, работавший тогда в редакции детского журнала «Костёр», отправил Бродского в командировку в Армению, в Ереван. Там Иосиф неделю гостил в семье Мартиросовых. События тех дней живущий ныне в США Сергей Мартиросов (Серж) — профессор, доктор биологических наук, писатель, подробно описал в очерке «Иосиф Бродский в Армении», опубликованном в ереванской газете «Новое время» от 26. X. 2010.

Как пишет Серж, в какой-то из дней, после шести вечера, у Мартиросовых в их ереванской квартире зазвонил телефон: «Привет, Серж, говорит Иосиф, — и добавил: — Бродский». — «Где ты?» — «В туристической гостинице. Я приехал в командировку; Ромас сказал, чтобы я позвонил тебе. Если будет желание, можем свидеться». Серж велел Иосифу не платить за гостиницу, сказал, что сейчас приедет и заберет его к себе, где он и будет жить. Иосиф попытался возразить: «Пожалуйста, не беспокойся. И потом, Ромас сказал, что ты работаешь в закрытом институте». (Эта деликатность, нежелание нечаянно навредить кому-либо были свойственны Иосифу.) Поздно вечером они приехали домой к Мартиросовым, Сергей познакомил Иосифа со своей семьей — женой Нелли и детьми, Сережей и Зарой. Ему выделили кабинет Сергея, из которого видны были

цветущие деревья в саду, был выход на большой дворовый балкон, где Иосиф мог курить. Мартиросовы жили в городке физиков. Условия жизни там были много лучше, чем у жителей города, и в этом целиком была заслуга директора института академика Артемия Исааковича Алиханяна.

За ужином Иосиф много рассказывал о своей жизни, о родителях, о своем общении с нами — Катилюсами, упоминал своих друзей-поэтов и Ахматову. Хозяева больше молчали, слушали. После ужина Нелли занялась детьми, а мужчины вышли покурить. Позже приглушили свет в кабинете, расселись втроем на диване и в креслах. Сергей попросил Иосифа почитать свои стихи. «Я начну с недавних стихов, а потом посмотрим». Иосиф начал со «Сретенья» и подряд, почти не останавливаясь, прочитал еще несколько стихотворений последнего времени. Далее Серж пишет:

Я слушал чтение многих поэтов в записи и с эстрады, но все это не шло ни в какое сравнение с тем, как Бродский читал свои стихи в ту ночь. Это было волшебство. Когда Иосиф сделал передышку, мы с Нелли одновременно воскликнули:

— Иосиф, ты гений!

Он тут же отреагировал:

— Да за кого же вы меня держали?

— За «Пилигримов».

Он вскочил со стула, на который пересел перед чтением стихов, и с криком «Идиоты!» забегал по комнате, а мы стали хохотать. Через секунду и он присоединился к ним.

Покурили, допивая остатки кофе. Потом он продолжил чтение стихов. Дело шло к утру, но его уже было не остановить; иногда мы просили его что-то повторить, замороженные этой волшебной музыкой, и он разгорячился и стал часто

спрашивать: «Ну как?» — и в ответ слышал только одно слово — «волшебство».

Сергей вспоминает, что совсем под утро Иосиф стал читать стихотворение, в которое были понатыканы слова и выражения то ли из идиша, то ли из немецкого («Два часа в резервуаре»?). Серж хорошо знал немецкий язык, и, несмотря на логичность вставок, стихи ему показались скорее серыми и надуманными. Серж и Нелли перестали восхищаться и комментировать услышанное. Иосиф заметил: «Я вижу, что вам не нравятся эти стихи». — «Понимаешь, Иосиф, экспериментальные стихи и поиски нужны, это путь к новому, но в этих нет эстетического совершенства, которое ты демонстрировал всю ночь», — пробурчал Серж. «Вы не понимаете этих стихов». Иосиф нахмурился. Серж возразил: «Стихи, которые не воспринимаются на слух, вряд ли выживут, но они являются экспериментальной базой для поэта». И тут же сообразил, что говорит, как на лекции, и с кем — с уникальной личностью, только что сотворившей эту волшебную ночь поэзии. Но вовремя вмешалась Нелли: «Иосиф, вы волшебник. Ничего подобного я себе не могла представить». Нелли была права. Иосиф счастливо улыбнулся и сел, видимо, впервые за этот день, почувствовав усталость.

Они разошлись, чтобы поспать пару часов, ведь утром надо было идти на работу, а Нелли еще должна была собрать детей в детсад и в школу. Сергей проинструктировал Иосифа, как добраться до его лаборатории, сам он утром должен был к девяти быть там. Потом Нелли удивленно рассказывала, как Бродский, которого судили за тунеядство, встал утром рано, чтобы не отставать от хозяев дома, хотя мог поспать и поваляться в постели, ведь он только прилетел и провел бессонную трудовую ночь, читая свои замечательные стихи.

Серж был очень удивлен, увидев Иосифа у себя в лаборатории утром, через пару часов после своего прихода. Он присел на стул, пока Серж стоял рядом с лаборанткой, которая добавляла бактерии в экспериментальную колбу, и следил за цветными диаграммами, записывающими показания. То и дело приходили люди под разными предложениями, так как все уже знали, что у Сержа в комнате сидит сам Иосиф Бродский. Публика была читающая и поэтому сгорала от любопытства.

Как только лаборантка освободилась от экспериментальных процедур, она приготовила классный армянский кофе, и мужчины закурили. «Не хотелось спать, все так интересно и ново в Ереване», — сказал Иосиф, опережая вопрос Сержа. Вскоре появилась Марина Алиханян, жена А. И. Алиханяна, она работала в группе Сержа. Он их познакомил. Они тут же стали вспоминать своих московских и питерских общих знакомых, которых было довольно много, так как Алиханяны часть года жили в Москве. Они беседовали, а Серж попытался сосредоточиться на работе, так как от успеха этих экспериментов зависело, насколько быстро он закончит свою докторскую диссертацию. Неожиданно, а может быть, специально приехал сам Алиханян. Уходя, Алиханян пригласил Иосифа накануне отъезда на обед в свой директорский коттедж.

Позже в тот день Серж и Иосиф вышли погулять по городу и поесть где-нибудь. По дороге Иосиф сказал, что приехал в командировку от журнала «Костёр» и намерен завтра сходить по делам. Они сели в трамвай и поехали в кебабную на Киевской улице. Иосифа интересовало все. Вокруг была армянская речь, и он все время повторял: «Как здорово. Как будто попал за границу». В этом была неистребимая тоска советского человека по заграничье, интерес к мировой культуре. Домой пошли пешком

через Киевский мост, а потом вдоль ущелья реки Раздан. По дороге Иосиф был так же возбужден, как и во время обеда. Он странно рассказывал о том, какие есть замечательные сюжеты для прозы, которую он собирается написать, когда подвернется подходящее время. Потом был домашний ужин и разговоры допоздна. Серж вспоминает:

Вдруг Иосиф говорит: «Чего-то не хочется спать». А Нелли в ответ: «Здесь недалеко живет выдающийся армянский скульптор Арто Чакмакчян. Давайте сходим в его мастерскую». Иосиф как-то засмутился, а мы ждали, что он скажет, не понимая этой паузы.

— Понимаете, ребята, лицемерить я не умею. Поэтому почти все мои визиты к художникам заканчиваются дракой.

— Не бойся, в драке мы будем на твоей стороне, хотя Арто наш друг, — засмеялась Нелли. Она была уверена, что Арто не может не понравиться Иосифу.

Был час ночи. Зная гостеприимство Арто Чакмакчяна и его ночные бдения, Серж позвонил ему. Он еще работал, но был бы рад показать свои работы Бродскому, он слышал о нем. Но тут сообразили, что кто-то должен остаться со спящими детьми. Выбор пал на Сержа, так как ему еще кое-что надо было подготовить к завтрашней лекции в университете. Когда они вернулись, Иосиф еще с порога выкрикнул: «Замечательный парень. Мне все понравилось у него». Он и художнику Арто сказал, что ему очень нравятся его работы. Драки не получилось.

На следующий день Серж был очень занят, и Нелли поехала с Иосифом, чтобы показать здание, куда ему надо было пойти по командировочным делам. Он целый день бродил один по городу

и вернулся полный впечатлений. Ему нравилось решительно все. Это была удивительная экзальтация, ведь, по сути, Иосиф был довольно критичным человеком, но, видимо, такая реакция у него была только на определенные события и на некоторых людей. В целом же он был рад новым местам и новым людям, гостеприимству и доброжелательному отношению, а в многострадальной Армении доброжелательность была обычным явлением. Вечером пришел Рома, брат Сержа. Серж пишет:

Мы поели, поохотали над разными историями, а потом Ромка взял гитару и запел Галича. Нужно отдать должное ему: у него абсолютный слух и особая манера пения, которая никогда и никого не оставляла равнодушным. И в тот вечер он пел Галича и Окуджаву, цыганские песни и русские романсы. Он был в ударе и делал это блестяще. Мы подпевали ему. Во время десерта Иосиф вдруг спросил, знаем ли мы популярную песню немецких солдат времен Второй мировой войны «Лили Марлен». И тут он стал учить нас мотиву и словам песни, которую перевел на русский язык с присущим ему блеском виртуозного переводчика. Словом, остаток вечера провели, разучивая «Лили Марлен», а потом с удовольствием пели под аккомпанемент Ромкиной гитары:

*Возле казармы, в свете фонаря,
кружат попарно листья сентября.
Ах, как давно у этих стен
я сам стоял,
стоял и ждал тебя, Лили Марлен...*

и т. д.

Утром четвертого дня Мартиросовым позвонила Марина Алиханян и сказала, что в их распоряжении будет «Волга» с водителем. Появилась возможность показать Иосифу достопримечательности в окрестностях Еревана: Гарни, где находился древнеримский храм, и Гегард — храм, высеченный в скале.

Апрель вел себя чрезвычайно гостеприимно, наверное из уважения к выдающемуся поэту. Было тепло. Фруктовые деревья и сирень были в цвету. Красота была истинно весенняя, нежная и южная. Для человека из пасмурного и вечно серого Ленинграда она казалась роскошной. Иосиф притих: «Как не хочется уезжать отсюда».

Иосиф фотографировал и перед эмиграцией успел переслать снимки Мартиросовым (и передать Катилюсам).

Остались и фотографии, сделанные за день до отъезда Иосифа из Еревана, он и Мартиросовы были приглашены на обед к Алиханянам.

День был очень теплый, и Марина распорядилась, чтобы подавали обед в саду, в беседке. Она пригласила и Ромку — собралась обычная наша компания этих дней. Алиханян за столом привык говорить один и чтобы все с умилением его слушали. Пока он вспоминал о своей дружбе с Зоценко и Шостаковичем, Иосиф с интересом слушал, так как рассказывались довольно интересные истории. Алиханян расспрашивал Иосифа об Анне Андреевне, с которой был знаком, и Иосиф с готовностью рассказывал ленинградские истории. Он прочитал несколько стихотворений, но явно был не настроен на чтение. У него уже было предотъездное настроение, и он впал в меланхолию. Ему было хорошо в Армении, где с таким почтением все относились к нему, и ой как не хотелось возвращаться в Питер.

На следующий день у Алиханянов в саду был собран огромный букет сирени, и когда внизу прогудела машина, в ней Иосифа ждал этот букет. Уже в машине он сказал: «Меня впервые принимали как поэта».

Позже ленинградские друзья спрашивали: «Это что же вы с ним сотворили? Это был не Иосиф: умиротворенный, убажженный, словом, совсем другой человек». Все чувствовали, что Иосиф получил в Ереване заряд бодрости и веры в будущее.

И в письме Мартиросовым уже из Энн-Арбора от 28 ноября 1972 года Иосиф писал: «[...] Благодарю судьбу и вас за то, что все это со мной было [...]. Купил я эту открытку в Нью-Йорке, в музее, осенним ясным днем, когда должен был быть в Армении».

Поездка в Армению запомнилась Иосифу как счастливое время. Сергей пишет:

Судя по ностальгическому тону письма, он еще не понимал, что скоро его захлестнет разносторонняя красота западного мира, сотворенного умом и талантом людей. Армения отступит на задний план и будет забыта. Такковы реалии эмиграции. Окружающая среда диктует форму поведения человека. И Венеция закономерно занимает место Ленинграда. «Лагуна» уже другого мира станет частью его жизни и творчества. Не стоит об этом сожалеть. Законам природы подвластны даже выдающиеся люди.

Через два десятка лет Мартиросовы переехали в Нью-Йорк и Чикаго, но в Америке с Иосифом им так и не довелось увидеться. В заключение очерка Сергей написал:

Нелли и Зара были на панихиде, а я не нашел в себе сил присоединиться к ним. Мне не хотелось расставаться с прежним Иосифом Бродским. Он для меня навсегда остался в сиреневом Ереване, вдохновенно читающим свои прекрасные стихи.

Добавим, что поездка в Армению была для Бродского, возможно, последним счастливым событием по эту сторону океана. Яков Гордин в одном из интервью утверждает, что по «степени счастья» время, проведенное в Армении, сопоставимо «даже» (!) с посещениями Литвы.

ВЫТАЛКИВАНИЕ В ЭМИГРАЦИЮ ОВИР

Время шло, но примирения поэта с системой не наступало. В начале мая 1972 года Иосифа вызвали в ОВИР и спросили, почему тот не эмигрирует. Иосиф отлично знал словарь системы и сразу понял, что это означает, — решение принято и так или иначе будет выполнено. За несколько дней до своего отъезда в эмиграцию Иосиф принес мне и попросил сохранить напечатанный им на его же машинке текст с подробным описанием событий того дня.*

Как однозначно следует из текста, Иосиф *сразу же* дал согласие уехать. Это было разумным и, по существу, единственно возможным ответом. Иосиф согласился, ибо, прекрасно зная повадки властей, молниеносно понял, что решение принято на уровне самых «больших начальников» и уповать на возможность каких-то изменений было бы крайне неразумно. Ситуацию он оценил именно так. Правда, как видно из текста (и как он говорил

* См. с. 98 настоящего издания.

10 мая с.г. в 11 часов утра раздался телефонный звонок. Мужской голос спрашивал И.А.Бродского. "Кто говорит?" - сказал я. "Это из Овира" "Я вас слушаю." "Ну вот, теперь вы знаете, откуда говорит. Не могли бы вы зайти к нам сегодня в удобное для вас время?" "К кому?" "Моя фамилия Пужарев." "Мог бы - часов в 6 вечера." "Хорошо. Когда придёте, обратитесь к референту, вас проведут ко мне." "А где это находится?" "Делябова 234"

В шесть часов я был в кабинете Пужарева. В нем находились еще двое мужчины и женщина. "Погоди" сказал Пужарев мужчине. "Сейчас разберусь вот с этим. Потом поговорим." Мужчина вышел, женщина осталась.

- Садитесь.-

Я сел.

-Так вы собираетесь ехать в Израиль?

-Нет. С чего вы это взяли?

-Но вы же получали вызов?

-Да. Полгода назад, даже целых два.

-Почему вы их не реализовали?

-К тому слишком много причин.

-Какие же?

-Перечислять все будет слишком долго.

-Но например.

-Например: я - русский литератор.

-А еще,

-Слишком много.

-Может, вы сомневались, что вам разрешат вызов.

-И это тоже. Хотя это далеко не первая и далеко не последняя из причин.

-А мы вот тут получаем письма от лиц, приславших вам вызов, которые прислали вам вызов. Они считают, что мы вам чиним препятствия и вызывают к нашей гуманности. Что мы должны ответить.

-То, что я сказал. Или всё, что хотите.

-Ну, вот что, Бродский. Мы предлагаем вам expedite по подать все бумаги в трехдневный срок. Мы выделяем вам человека, который будет заниматься вашим делом. Если вы подадите бумаги к пятнице /разговор происходит в среду вечером/, мы быстро дадим вам ответ. Впоследствии у нас наступит горячий период. То есть, отпуска и проч. -

после этих слов я ~~молчал~~ ~~не то, чтобы~~ ~~лишился~~ ~~дара~~ ~~речи~~, но некоторое время молчал. Потом сказал: "Да. Согласен." "Отлично" - сказал Пужарев /по возрасту, поведению и качеству ткани - полковник, не ниже / Мы выделяем вам специального человека, к-рый будет заниматься вашими делами - жест в сторону женщины. Сейчас она даст вам все необходимые анкеты и проч. Если у вас возникнут затруднения, дайте нам телефон

Затруднений не возникло. СП в течение 15 минут выдал мне характеристику /которой я добивался ранее 6 месяцев, чтоб поехать в ЧССР и Польшу / Характеристика оказалась замечательной. С такой характеристикой надо идти в навзлой ложиться, а не в Израиль ехать. Так же было и со всеми остальными бумагами. 12 я их сдал, 18 в два часа дня раздался звонок, дама из ОВИРа сообщила, что разрешение на мой выезд получено. На сборы давалось 14 дней. Я добился 18.

23 или 25 апреля поэт Мефтуше ко рассказывал поэту Еврейну, что во время беседы с большими начальниками по своему возвращении из Америки, когда он будто бы поминал меня среди прочих поэтов, к которым плохо относятся, ему было сказано: "А с ним вопрос решен, разве вы не знаете. Он же подаст ходатайство ~~или~~ о выезде в Идостан, и выезд ему разрешен. Так что сейчас он либо уже уехал, либо уезжает. Он уже вне нашей юрисдикции."

Вот в общих чертах вся эта история. Почти всем, кто в ней упомянут - чиновникам, "первому поэту", большим начальникам - она выгодна. Интересно только, кто сказал "а!"

нам), ему было обидно, что те его московские друзья или знакомые, которые якобы узнали о принятом решении раньше него самого, не догадались сразу поставить его в известность.

Небольшое замечание. Иосиф во фразе «Может, вы сомневались, что вам разрешат выезд» по ошибке вместо «выезд» напечатал «вызов», а потом, напечатав весь текст, исправил сверху от руки — размашисто, красным фломастером вписал слог «-езд». Я 37 лет удивлялся, что за пометка красным на документе. И только переписывая текст, фраза за фразой, вдруг понял, что это еще один автограф Иосифа.

Последние дни

Вечером 10 мая я зачем-то зашел к Бродским и узнал новость: Иосиф уезжает. Все сидели, низко опустив головы, как будто понеся роковую утрату. Такие эмоции мне показались необоснованными, и я стал успокаивать родителей, объясняя им, что в конце концов это не так плохо, как в первый момент кажется, что это некий выход. Подбадривал и самого Иосифа, конечно же, растерянного. И делал я все это искренне, ибо действительно понимал, что это скорее выход, чем беда, как казалось родителям.

Ближайшие дни прошли в беготне за справками и документами для визы. За это время Иосиф успел в каком-то смысле успокоиться. В любом случае в оставшееся до отъезда время он уже вел себя как раньше, шутил как всегда, можно даже сказать, был в меру весел, но иногда возбужден.

За две недели до эмиграции съездили на дачу к Ефиму Григорьевичу Эткинду в Ушково на Карельском перешейке. 21 мая Иосиф повез нас туда на электричке. Нас — это Томаса Венцлову, Эру Коробову и меня. Иосиф ехал попрощаться с Эткиндами,

но он также хотел до своего отъезда успеть представить Томаса Ефиму Григорьевичу, всеми уважаемому профессору литературоведения. Во время поездки Иосиф определенно не был в подавленном состоянии, скорее наоборот. Это заметно и на широко известных фотографиях, снятых Ефимом Григорьевичем и его восхитительной дочерью Машей на прогулке по окрестностям Ушково.

С Машей Эткинд мы у Иосифа встречались и раньше. Профессор Эткинд тоже относился ко мне хорошо, я и после отъезда Иосифа несколько раз навещал Эткиндов в их ленинградской квартире, мы встречались также и в Вильнюсе. О его неприятностях в отношениях с властью я узнал сразу же. Я съездил к ним попрощаться и в утро их отъезда в эмиграцию. Маша с новорожденным на какое-то время оставалась в Ленинграде, она жила недалеко от нас, и мы довольно часто виделись.

На совсем уж предотъездные дни пришелся день рождения Иосифа. Мария Моисеевна к этому дню всегда готовила знаменитую маринованную корюшку, собирались два, а то и три десятка друзей Иосифа. А 24 мая 1972 года — 32-й день рождения Иосифа — одновременно стал так называемой отвалной. Отвальная — последняя, прощальная вечеринка дома у уезжающих, без надежды когда-нибудь встретиться. И Иосиф и мы к тому времени побывали не на одной и не на двух отвалных — волна эмиграции уже коснулась нашего окружения. Разумеется, настроение на отвалных бывало еще то...

Так совпало, что именно днем 24 мая Бродский получил визу на выезд. Друзей и приятелей у Бродских собралось много. В отнюдь не маленькой родительской комнате все мужчины стояли, усадили только дам. Состояние, настроение Иосифа и всех присутствующих соответствовали ситуации — судя по всему,

видимся в последний раз. Но, в конце концов, день рождения есть день рождения. И родителям, и самому Иосифу было приятно видеть столько любящих его людей. Иосиф держался, надо отметить, прекрасно.

Проводы

4 июня мы провожали Бродского, улетающего в Вену. Запомнилось все. Я приехал на Пестеля рано утром. Миша Мильчик велел родителям «в половине комнаты» ничего не трогать — проводив, мы вернемся, и он все по периметру сфотографирует.

(Так и произошло. В наши дни эти снимки являются основным источником информации в ходе создания в квартире мемориального музея Бродского.)

Остановка такси — под балконом Бродских. У такси Миша сделал широко теперь известные, динамичные снимки. Приехали в Пулково. Собрались провожающие. Мне кажется, человек двадцать или больше, я был знаком не со всеми. Все мы сгрудились на площади у скамеек, напротив старого («интуристовского») здания «Аэропорта». Иосиф отправился внутрь — представиться. И тут же вернулся — рано. Сел на скамью, мы обступили его — идут последние минуты. Не помню, кто спросил Иосифа о каком-то его стихотворении, мол, забыл строчку. Иосиф охотно откликнулся, стал вспоминать и записывать стихотворение в записную книжку спросившего. На сделанном Мишей в тот момент снимке на заднем плане, в дверях здания, озабоченно глядящая в нашу сторону женщина в форме таможенницы. Она тут же скрылась и, очевидно, доложила обстановку. По-видимому, возникло подозрение, что на площади зреет бунт, и через минуту к нашей (возможно,



В эмиграцию. Стоянка такси на улице Пестеля
Раннее утро 4 июня 1972 года. Фото Михаила Мильчина

довольно живописной) группе подошел детина-таможенник, позвал: «Бродский!» — и трудноописуемым движением ладони за своим бедром (или за поясницей) показал (или приказал) — «За мной». Они ушли. Мы стояли молча.

Через какое-то время Иосиф вышел, чтобы позвать меня присутствовать при таможенном досмотре его чемодана (по правилам полагалось, чтобы кто-то из провожающих присутствовал). По-видимому, все еще было слишком рано, так как мы довольно долго торчали вдвоем в пустом зале, обмениваясь незначительными фразами: интеллектуальное общение уже было невозможным.

Досмотр чемодана прошел на славу: кроме старенькой пишущей машинки с мелким шрифтом, с которой Иосиф никогда не расставался, там практически ничего не было. Иосифа увели во внутренние помещения для личного досмотра. Я вернулся



На площади перед аэропортом Пулково
4 июня 1972 года. Фото Михаила Мильчина

к нашим. Стали появляться и садиться в аэропортовский автобус пассажиры на Вену. Иосифа довольно долго не было видно. Наконец он возник в дверях вместе с тем же детиной, которому — хотите верить, хотите нет — стал показывать... на меня! (Можно было заподозрить, что они между собой уже обо всем договорились: вместо Иосифа отправляют меня, а Иосиф — на радость всем — остается.) Дитина жестом показывает мне, что я должен подойти к ним. Подхожу — и тут все выясняется. Иосиф передает мне большой нательный

инкрустированный грузинский крест, который я в тот же день передал Марии Моисеевне.

Вот и всё. Иосиф помахал нам, остающимся, из окна автобуса. Как и обещали родителям Иосифа, многие из нас вернулись к ним на Пестеля.

СТИХИ ОСТАЮТСЯ

Иосиф уехал, но стихи остались.

Уезжая, Иосиф предупреждал, что с его отъездом стихи его становятся крамолой и надо соблюдать осторожность. Друзей его, скорее всего, ждут неприятности. Когда Эля накануне его отъезда, прощаясь, заплакала, он сказал: «Не плачь, Ханум, ты еще наплачешься». В свою очередь, отец Иосифа после отъезда сына настойчиво просил друзей Иосифа опустошить — и поскорее — небольшой сундук, стоявший на полу в «половине комнаты». Туда Иосиф складывал, точнее бросал, свои бумаги: незаконченные стихотворения, черновики стихов и переводов, заметки и т. п. Это была такая кладовочка, она же — лаборатория поэта. За свою долгую жизнь вдоволь насмотревшийся на гримасы советской власти, Александр Иванович ожидал обыска, без сомнения, с изъятием бумаг сына.

Тем не менее обыска у Бродских не было. Известно даже изречение некоего функционера из органов, внимание которого было привлечено к стихам Иосифа во время обыска у кого-то: «Стихи американского поэта Бродского нас не интересуют». И все же и Владимир Марамзин, составивший (так и неопубликованное) полное собрание доэмигрантских произведений Бродского, и Михаил Хейфец, написавший вступительную статью к этому собранию, а также Костя Азадовский и Миша

Мейлах побывали в советских лагерях. Прямые удары госбезопасности испытал на себе и профессор Ефим Эткинд, рецензировавший статью Хейфеца.

В те дни, еще до отъезда Иосифа, когда Володя Марамзин и Миша Мильчик начали собирать разошедшиеся по друзьям-приятелям тексты Иосифа, Володя ознакомился и с нашим семейным архивом. Позже я побывал у него дома, меня он включил в первую обойму получающих свой экземпляр, в потрепанных папках для бумаг, машинописного трехтомника (первая редакция) произведений Иосифа Бродского.

Я об этом упоминаю из-за желания подчеркнуть, что составление перед отъездом авторизованного Иосифом первого, отнесенного к полному собранию, по существу, явилось подвигом, возможно, до сих пор недооцененным. Чего только стоит всеохватывающий, до сего дня непревзойденный комментарий, которым Марамзин снабдил каждый из томов (всего около 120 страниц примечаний, содержащих среди прочего варианты того или другого стихотворения, фиксирующих результаты дискуссий с Бродским о приоритете той или другой версии). Конечно, все мы, друзья Иосифа, шли Володе навстречу, в меру сил помогали, но идея принадлежит ему, и без него вся эта огромная работа в тех условиях выполнена не была бы.

Еще одна маленькая история. Году в 1983-м или 1984-м наш сын Андрус сказал мне, что его одноклассница Соня Ривкинд очень просит позволить ей перепечатать все три тома. Замысел похвальный, но труд-то какой! Ну что ж, берите по частям, печатайте. По правилам размножения самиздата — вернете оригинал плюс один экземпляр напечатанного. Справилась. Неисправленных опечаток, столь опасных при таком способе размножения, мне обнаружить не удалось. Хвала тогда только-только

выходившей из подросткового возраста почитательнице поэзии Иосифа Бродского! И одновременно свидетельство того, сколь мощной может быть тяга к его поэзии.

ЖИЗНЬ В АМЕРИКЕ

Приняли радушно

В Вену Иосиф летел в качестве эмигранта из Советского Союза — как и тысячи других в ту пору. Мария Моисеевна даже запретила ему в самолете «Аэрофлота» есть и пить — боялась подвоха со стороны КГБ. Но ничего плохого не случилось.

По счастливому совпадению в мае, а может быть, даже и в самый момент вызова Иосифа в ОВИР в Ленинграде находился приятель и издатель Иосифа Карл Проффер. Узнав о происходящем, Карл немедленно вернулся к себе в Энн-Арбор, отправился на прием к ректору и (именно такими словами Карл позже мне об этом рассказывал) сказал ему, что Мичиганский университет имеет шанс, какого не имел до сих пор и может никогда больше не дожидаться — заполучить величину мирового масштаба. И рассказал ректору об Иосифе Бродском и его судьбе.

4 июня Карл встречал в венском аэропорту самолет из Ленинграда, уже имея на руках приглашение Иосифу стать *Poet-in-Residence* в Мичиганском университете. Это весьма своеобразная должность. Поэт, занимающий этот пост, — обязательно знаменитый поэт — обязуется квартировать в университетском городке и общаться со студентами.

Итак, Запад встретил поэта радушно. В Австрии он познакомился со знаменитым английским поэтом Уистеном Оденем. Через несколько дней, в самолете по пути в Лондон на фестиваль поэзии, они с Оденем шутили: мол, пассажиры данного рейса

находятся в полной безопасности — в самолете два самых выдающихся поэта своих стран, вероятность им вместе погибнуть должна быть исчезающе малой...

Бродский начал преподавать в Мичиганском университете на русском и английском языках и проявил себя как хороший преподаватель. Не оставил это ремесло и через несколько лет, переселившись в Нью-Йорк. Преподавал древнеримских поэтов, русскую поэзию XIX и XX веков, сравнительную поэзию (студенты окрестили этот курс примерно так: «101 любимое Бродским стихотворение»). В колледже Маунт-Холиоук в штате Массачусетс по одному семестру в год преподавал пятнадцать лет. И даже последнюю, так и не выполненную операцию на сердце, с неизбежностью которой Иосиф уже смирился, откладывая, не желая пропустить весенний семестр 1996 года.

Конечно, в эмиграции Бродский не только преподавал. Он продолжал писать и писал много. Каждые несколько лет появлялись новые сборники стихов, но писал он не только стихи. Уезжая, английский язык он знал не намного лучше, чем мы, его окружавшие, но в Америке очень скоро понял, что может на английском писать эссе. Эссе Бродского охотно печатали самые крупные американские журналы. Вышли из печати два больших тома его эссе («Less than One», 1986; «On Grief and Reason», 1995). Впрочем, вскоре в периодике стали появляться и отдельные стихотворения Бродского, написанные на английском, а также авторские переводы русских оригиналов. Эти стихи в конце концов образовали объемистую книжку, увидевшую свет, к сожалению, уже после смерти автора («So Forth», 1996). Писал Бродский и литературные критические статьи.

Бродский часто ездил в Европу — в Лондон, Париж, Венецию, Стокгольм, а также в Латинскую Америку, участвовал

в различных литературных и культурных мероприятиях. Крупнейшие поэты — Чеслав Милош, Шеймас Хини, Марк Стрэнд, Энтони Хект, Джонатан Аарон, Розанна Уоррен — стали его близкими друзьями. Дружил он и с выдающимися русскими эмигрантами — Михаилом Барышниковым, Мстиславом Ростроповичем.

Известность

Можно ли утверждать, что в эмиграции противостояние (или даже противоречие) поэта и действительности смягчилось?

Эллендея Проффер, приехав в Ленинград через несколько лет после отъезда Иосифа, нам на него пожаловалась. Мол, у нас в Америке люди имеют самые разные взгляды, различия огромны, но Иосиф, публично выступая, потрясающим образом способен одной фразой обидеть одновременно всех. Я ее успокоил: люди расходятся во мнениях относительно того, что уже сказано. Если обижаются все, значит, высказанная мысль нова. А за новые мысли дают Нобелевские премии (прямо как в воду глядел!).

Но если говорить серьезно, оригинальность мышления Бродского западные интеллектуалы оценили немедленно. Беседы, интервью с ним стали даже модными. В библиографии, составленной знатоком его творчества и биографии Валентиной Полухиной, значится больше сотни бесед с Бродским и интервью, взятых у него порой даже и знаменитостями. Среди них — Дерек Уолкотт, Чеслав Милош, Лес Мюррей, Стефан Спендер. Блейк Моррисон, Дэвид Бетеа, Джордж Клайн, Бент Янгфельдт, Вероника Шильц, Томас Венцлова, Адам Михник, Ежи Иллг, Цветан Тодоров, Игорь Померанцев, Наталья Горба-

невская, Лев Лосев, Пётр Вайль, Юз Алешковский, Александр Генис, Михаил Хейфец и множество других. Среди самых ранних — беседа с Бродским сотрудниками литовского эмигрантского ежемесячника «Акирачяй» в 1976 году, опубликованная под названием «Писатель — орудие языка». Нелегко даже перечислить наиболее влиятельные газеты и журналы, печатавшие эти беседы с Бродским и его интервью. Это «The New York Times» и «New York Times Magazine», «The New Yorker» и «New York Post», «Washington Post» и «Washington Post Book Review», «New Republic», «The Economist», «The Guardian», «Observer», «Vogue», «Stern», «Die Welt», «Le Monde», «La Repubblica», «L'Espresso», «Corriere della Sera», «Svenska Dagbladet», «Континент», «Новое русское слово» и многие другие.

Творчество Бродского переводится на английский, французский, немецкий, итальянский, шведский, голландский и другие языки. Были опубликованы книги о нем и крупные литературоведческие исследования его творчества. Он получил не только Нобелевскую премию. В Италии он был награжден престижной премией Castiglione di Sicilia (1990), в США в 1981 году — премией MacArthur foundation. В 1992 году ему присвоено звание поэта-лауреата Соединенных Штатов Америки, то есть он на год был назначен на почетную должность консультанта по поэзии в Библиотеке Конгресса.

Я уже упоминал, что мне всегда импонировала передаваемая из уст в уста крылатая фраза Анны Ахматовой, сказанная в дни суда, — «Какую биографию делают нашему рыжему!». Вынужденный отъезд Бродского из страны в 1972 году мне тоже видится в некотором смысле частью «ими сделанной» биографии. Конечно, это было громадным испытанием как способностей, так и характера. И Иосиф снова вышел победителем. Он стал

желанным профессором американских университетов, вошел в элиту американских литературных кругов, сборники его английских эссе раскупались.

«Триумвират»: Бродский, Милош, Венцлова

В эмиграции особое значение приобрело общение Бродского и Венцловы. В большом стихотворении «Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова» Бродский говорит об определенной тождественности судеб двух поэтов. К этой паре присоединился еще и Чеслав Милош. Взаимная близость трех поэтов не только побуждала их переводить стихи друг друга — их дружба многое значила не только для культуры. Благодаря их взаимосвязи возникли важные гражданские акции. Достаточно вспомнить письма Милоша и Венцловы на тему Вильнюса в парижском польском эмигрантском журнале «Kultura» (можно сказать, мирный договор, заключенный интеллектуалами в условиях, когда межгосударственный договор, безусловно, еще никак не мог появиться). Историческое значение имеет опубликованный газетой «New York Times» 15 января 1991 года, через день после кровавых событий в Вильнюсе, протест трех поэтов — Томаса Венцловы, Иосифа Бродского и Чеслава Милоша — против приговора Советов.

Привожу текст этого обращения в переводе с английского:

Поэты за Литву

Мы — три поэта, друзья, представляющие три языка: литовский, русский и польский. Мы призываем мировое сообщество — наших коллег писателей и всех людей совести — поднять свой голос, протестуя против бесчеловечного

насилия Советов против народа Литвы. События последних дней горько напоминают нам о худших эксцессах Советского государства.

Томас Венцлова

Иосиф Бродский

Чеслав Милош

Протест поэтов с мировым именем, опубликованный самой известной американской газетой, явил собой событие мирового значения.

ПИСЬМА ИЗ ЭМИГРАЦИИ

После отъезда Иосифа мы с ним больше не виделись, однако, особенно в течение первых нескольких лет, довольно активно переписывались. Письма Иосифа у нас сохранились — шестнадцать писем и открыток, датированных 1972–1977 годами, все адресованы нам в тогдашний Ленинград.

Письма Бродского говорят о его образе жизни на Западе, свидетельствуют о его настроениях, рассказывают о его путешествиях по Америке, Европе. По ним понятны и наши взаимоотношения. Письма интересны, содержательны, выдержаны в хорошем стиле, порой просто красивы. Они наполнены юмором, jokes (шуточками, по правде говоря, частенько понятными лишь нам и ему самому, а порою и не вполне литературными).

В настоящее время целиком и полностью опубликовать адресованные нам письма Бродского возможности нет. Выборочно публикуем только самые интересные выдержки из них — иногда более, иногда менее пространные. Купюры порою неизбежны и по личным соображениям.

Первые открытки «из-за бугра»

Первая открытка датирована 19 июня 1972 года, на ней — вид венского собора Св. Стефания. Текст Иосифа начинается словами:

Мои дорогие, вторую неделю околачиваюсь в Вене, в ожидании англосаксонских виз.

Дальше он критически отзывается о party, куда попал по приглашению. Но еду хвалит. Радует, что его английский на поверку оказался лучше, чем у окружающих. Открытку Иосиф пишет утром, в воскресенье, дожидаясь общего с нами (с Ромасом и Элей) давнего знакомого, чтобы пойти с ним любоваться картинами Брейгеля.

Ничего еще не сочинял. Трижды обедал с Aiden'ом, и во вторник летим с ним в London — Poetry Festival. Ни к чему не привык.

Вторая открытка датирована 9 июля. Из Лондона. Репродукция картины всеми нами любимого художника Тернера:

[...] шастаю по лондонским галереям [...]. Я здесь уже 2 недели. Но ни Тауэра, ни Сент-Пола еще не видел. Живописью зато и архитектурой — fed up. 1-е время, особ[енно] в Вене, в Австрии, не видел; т. е. глаза работали, мозги — нет. Тогда я начал подставлять на свое место тебя, и пошло лучше: потому что я-то могу не смотреть, а ты... etc. Лондон — город маленьких собак, бесконечных улиц и левостороннего движения, отчего жизнь кажется идущей вспять.

Третья и четвертая открытки — уже из Америки, из Энн-Арбора, обе датированы 13 сентября:

Езжу на велосипеде, пугая население и пугаясь сам: это большой сюрприз, что до сих пор не задавили, тьфу-тьфу. Плюс — преподаю. Что есть тоже большой сюрприз для обеих сторон.

Здесь Бродский упоминает свой статус:

J. B. Poet-in-Residence, The University of Michigan, Ann Arbor, Mich., USA.

И из четвертой открытки:

В Лондоне было объективно fine, субъективно nasty. [...] Читал стихи вместе с Auden'ом и R. Lowell'ом. «Обычный успех». Как на Воинова — только зал — Queen Elizabeth Hall — больше. Вид на Темзу и парламент.*

Литовские ассоциации

Упомянутые выше открытки интересны и содержательны, но все же это — открытки. Первое длинное письмо, датированное 17 мая 1973 года, пришло к нам из города Колумбус. Это письмо — рукописное, больше чем на трех страницах. В это время Бродский преподавал в университете штата Огайо:

* Большой зал Союза писателей на улице Воинова в Ленинграде.

отвечая на просьбу Карла Проффера, Бродского пригласил профессор славистики данного университета Римвидас Шилбайорис. Литовскость своего «шефа» Иосиф подчеркивает уже в первых строчках своего письма:

[...] так что пересытаю свою англо-русскую речь вашими «лабасами» и «ачу».

Мотивы, так или иначе связанные с Литвой, в письмах Иосифа встречаются часто, включая и данное письмо:

*«Как вольно дышит Вильно по холмам». Никогда бы не подумал, что буду цитировать эту поэтессу.**

А вот открытка из Ирландии, 6 августа 1973 года:

*2 недели на ирландском острове. Все вокруг напоминает Клайпеду; и вообще, паняле***, весь мир — Литва.*

Трудно сдерживать волнение, читая и следующие (выше уже цитированные мною) строчки из первого письма:

По ночам мне часто снится «Погоня». [...] Странное это дело, но тоскую по Литве так, как если бы прожил в ней годы, а не три месяца — в сумме...

* Строка из стихотворения Натальи Горбаневской.

** Panele (лит.) — здесь «леди».

Тоска по близким друзьям

Воспоминания о нашем годами длившемся общении в Ленинграде, о частых визитах в наш дом на проспекте Энгельса отражены в первом длинном письме:

Как Ханум? [...] Кто теперь ест вместо меня сиггу, и готовит ли она его вообще?

И во втором длинном письме, написанном Иосифом в Энн-Арборе, у себя дома, 7 марта 1974 года — примерно через год после первого тоже:

[...] все-таки скверно, что у вас нет телефона, потому что, например, сейчас я как раз в том состоянии, когда охота позвонить. Что приходится заменять сигаретой и кофею. Какой тоже напоминает об Энгельса [...]. Сегодня день как день. Вернулся из ВУЗа, где четыре часа надрывался насчет «чувства вины» у метафизиков [...]. Значит, вошел я в свое жилье и вдруг понял, что оно ужасно похоже на ваше, хотя на комнату больше. Те же белые стены, те же — во всю стену — окна на Юго-Запад, и также шибает шпукатуркой и носками, но на этот раз — моими. Хотя от всех моих странствований проблема ностальгии несколько усложнилась (так, например, вижу во сне Биржу, но колоннада у нее от Венского Оперного), тут у меня сомнений не возникло: вспомнил ваше помещение. В связи с чем очень захотелось позвонить. Но не тут-то было.

Дальше — снова воспоминания: Ленинград, проспект Энгельса, наша квартира:

И вот сижу в как бы кабинете, за широким (что здесь — редкость, как-то нет этой культуры стола) письм. столом, за спиной раздаётся произведение Баха, голова совершенно пуста, но освещена заходящим солнцем спереди так, что кажется и сзади тоже, и плоть моя, успешно умерщвляемая уже два месяца после ньюйоркских эскапад, как-то скромно даёт себя знать [...] при воспоминании о 20-м номере трамвая, везущим меня на Энгельса «до Скобелевского». В конце концов, дело [...] в том, что — совершаемые столь часто — поездки эти превратились в функцию организма, от к[ото]рой трудно отвыкать — и к[ото]рую трудно заменить даже еженедельными полётам в Виргинию, Пенсильванию, Массачузетс и т. п. В данном случае мой тезис, что Америка — всего лишь продолжение пространства, почему-то не срабатывает.

Ностальгические мотивы присутствовали и в первом длинном письме:

Ностальгической ноты на таком расстоянии в письме не избежать, но это — не ностальгия, друг мой, а просто любовь к дому — бездомного. А если и ностальгия, то не по абстрактным или конкретным категориям, но по людям, лицам — точнее, по самому себе. Нечто опять-таки весьма эгоистическое. Слишком большая реальность досталась мне в оцущении. С меня хватило бы Пестеля и Лейкелос.

А во втором письме — мысли о роли обмена письмами через огромное расстояние:

Вот уж не думал, что буду писать [вам] из таких палестин. Но с точки зрения жанра, функциональность письма возраст-

тает именно пропорционально расстоянию между корреспондентом и адресатом. Что придает моему существованию некоторую подлинность.

Мысли о себе самом

Во втором длинном письме Бродский касается и своего образа жизни в Америке:

Режим [мой], в принципе, не изменился. Те же две пачки в день, то же бдение до 2–3-х ночи, то же пробуждение [не ясно] когда и зачем. Пью, впрочем, меньше, чем дома, хотя шансов больше. Может, потому, что больше не за что себя извинять. Волос все меньше, но вы, литовцы и узбеки, этих вещей не понимаете.

Там же Иосиф слегка раскрывает и свою творческую кухню:

Сочиняю нормально, хотя ритма нет, но его и не было никогда. То короткое, то длинное. В рифму, конечно; хотя иногда кажется, что рифмы нет, но я тогда думаю, что я ее забыл. Нервы, конечно, треплются, но что такое прогресс, как не усложнение задачи?

Впрочем, в стихотворном послании от 2 февраля 1977 года из Энн-Арбора есть упоминание и о первом, обширном инфаркте, случившемся 13 декабря 1976 года в Нью-Йорке:

*Ханум, мерси за «с Новым годом».
В него я въехал черным ходом*

*через больничные врата
но — обошлось; и изо рта,
который желтым зубом страшен,
опять валяются English, Russian;
в него же — льются кофе, суп
и, онный омывая зуб,
шотландский виски, слобоня
от множества забот меня. [...]*

Америка — Европа

Повторяющийся в письмах мотив — тоска по Европе, противопоставление Европы Соединенным Штатам. Так, в первом письме:

Через две-три недели я совершу отвал из этой великой державы на континент, на месяц — так я полагаю. Потому что тут всем хорошо, но большая тоска по грязным европейским улицам, по фасадам с дурацкой лепниной, которая радует глаз и порождает ассоциации — если не воспоминания. Жить можно только там, где есть воспоминания, Ромас. А эта страна построена на другой манер и — в общем — чрезвычайно однообразна. В таком городе, как Solitbus, несмотря на уровень ам[ериканской] фотографии, при всем желании альбома не выпустишь. И другу не подаришь.

Тот же мотив — и во втором письме, через год:

Летом, наверно, буду в Европе, [...] в Штатах летом можно сдохнуть от жары. В Европе тоже, но лучшедохнуть на фоне барочных ансамблей, чем у подножия билдинга.

В открытке от 29 декабря 1974 года, из Венеции, Иосиф радуется тому, что в городе он — уже во второй раз:

[...] второй жизни не будет, а эта — тоже скоро кончается. Я проехал через Швейцарию. [...] Многого меняется на этом континенте, но европейские жел[езные] дороги все еще очаровательны. [...] В отсутствие больших радостей, не остается ничего другого как предаться набору мелких и, хотя кончается это эмоциональным тупиком, жить еще можно. [...] Пишу все это сидя на палубе парходика, плывущего по лагуне из Венеции на какие-то местные о[стро]ва.

Обобщения

В конце первого письма Бродский предается обобщениям:

*Скоро год всем этим приключениям вне России. Будь я другим человеком, подвел бы итоги. В связи с особенностями моего характера, сделать этого не могу. Волос стало меньше; не намного, но меньше. Мысли — те же самые; хотя тоже в меньшем количестве. То же самое и с чувствами. То же самое и со стишками. Не то, чтобы я там окаменел или одеревенел, но затвердел. Точнее: заматерел. В чем — непонятно, да и неважно. Т. е. все дело во мне, для которого, видимо, что тюрьма, что свобода — *wszystko jedno*.* Пялюсь в потолок и думаю, что мне делать со своей бессмертной душой.*

Во втором письме — тоже:

Диковато складывается моя жизнь [...].

* Все равно (пол.).

Эпилог: жизненная философия

И наконец — эпилог. Стоицизм, удивлявший и восхищавший друзей и знакомых Иосифа еще в те, доэмигрантские, времена. Из письма от 17 мая 1973 года:

Сейчас заклею письмо, встану, спущусь на улицу и пойду пешком через этот [...] мир, запруженный автомобилями и людьми — которых уже видел, — бросить конверт в ящик. Но — конца нет, улицы переходят в улицы, а потом в шоссе, в пустыри. Нигде нет такой стенки, на которой написано «конец»; и, так как его нет, надо двигаться, часто против своего желания, зная или не зная, что впереди. Через неделю мне будет 33 года, и у меня нет другой философии, кроме изложенной выше. Так что я двигаюсь и буду двигаться, пока кто-нибудь не скажет «стой» и дай мне Бог успеть понять, на каком языке это будет сказано.

БРОДСКИЙ И ЛИТОВСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ

Отдельная, особенно волнующая меня тема — это связи Иосифа Бродского с литовской интеллигенцией в Америке. Тут хочется выделить два ярких сюжета. Первый — общение Бродского с либерально настроенными американскими литовцами, участие и выступление на съезде литовской эмигрантской культурно-общественной ассоциации Santara-Šviesa в 1976 году. Второй — дружба Иосифа с Машей Воробьевой, дочерью искусствоведа Николая Воробьева (автора в том числе известной книги о Вильнюсе «Vilniaus menas», 1940), эмигрировавшего в 1944 году с семьей из Литвы на Запад.

Santara-Šviesa

Сначала немного истории. На литовском языке публично о Бродском первой и, кстати, рано заговорила литовская эмигрантская пресса. Издававшийся в Чикаго журнал «Margutis» еще в 1964 году в двух номерах (октябрьском и ноябрьском) напечатал перевод на литовский язык стенограммы суда над Иосифом Бродским с пространным комментарием Альгимантаса Мацкуса, известного деятеля литовской культуры в эмиграции. А через 12 лет, в сентябре 1976 года, и сам Иосиф Бродский выступил на ежегодном съезде литовской эмигрантской либеральной культурно-общественной ассоциации Santara-Šviesa («Сантара-Швиеса»), читал стихи, дал обширное интервью, в том же году опубликованное (на литовском языке) близким к движению Santara-Šviesa ежемесячником «Akiračiai».

Прочсть это интервью мне довелось лишь в 1991 году. Известие о том, что Иосиф в Америке нашел общий язык с литовской эмигрантской либеральной интеллигенцией, меня, конечно, порадовало, но не чересчур удивило. С одной стороны, как я упоминал выше, у нас с Иосифом мировоззренческих расхождений не было, наши представления о многих вещах совпадали. С другой стороны, начиная с шестидесятых годов, мне в руки иногда попадали тайком привезенные в Литву номера ежемесячника «Akiračiai», радовавшие и удивлявшие как пониманием — оттуда! — положения здесь, за железным занавесом, так и близостью моему, следовательно, и Иосифа общему мироощущению. Таким образом, не следует слишком удивляться тому, что в Америке, хоть и огромной, Бродский и немногочисленная группа литовских интеллигентов нашли друг друга.

Но меня заинтриговал вопрос: кто конкретно и при каких обстоятельствах «свел» Иосифа с ассоциацией Santara-Šviesa (следует иметь в виду, что Томас Венцлова в 1976 году еще находился «в отказе» в Литве), кто инициировал приглашение Бродского в качестве «особого гостя» на съезд ассоциации, кто брал у него интервью и т. д.? Я стал наводить справки, писать письма. Постепенно, шаг за шагом, информация у меня копилась, многое прояснялось, и в конце концов я уже смог написать статью, содержащую ответы на главные из возникших вопросов.*

В январе 1991 года на посвященной творчеству Бродского конференции в Ленинграде я познакомился с профессором Кильского университета Валентиной Полухиной. Она тогда составляла большую книгу бесед с Бродским и данных им интервью для российского издательства. Не знаю, где и как она нашла опубликованное только на литовском интервью Иосифа для «Akiračiai»**, возможно, помог Томас Венцлова. Валентина попросила меня организовать перевод этого интервью на русский язык и снабдила меня ксерокопией нужного номера ежемесячника. Когда ситуация в Литве через некоторое время несколько успокоилась, мой сын Рамунас Катилюс-младший перевел и это интервью, и сопутствующие материалы из данного номера «Akiračiai». Перевод позже вошел в составленный В. Полухиной сборник***, изданный в 2000 году, и занял в нем весьма почетное место: оказывается, это вообще одно из первых данных Иосифом интервью.

* Kultūros barai. 2001. Nr. 1. P. 66–69.

** Pokalbis su Josifu Brodskiu «Rašytojas yra kalbos įrankis» // Akiračiai. 1976. Nr. 10 (84). P. 15–16.

*** Валентина Полухина. Иосиф Бродский. Большая книга интервью. М., 2000. С. 47–50 (Изд. 2-е. С. 40–43).

Вот что пишет в том самом номере «Akiračiai» Эгле Викториа Жигаите, рассказывая о съезде ассоциации Santara-Šviesa, прошедшем в 1976 году в Табор Фарм (штат Мичиган):

*Каждый год [...] устроители съезда приглашают какого-нибудь особенного гостя. В этом году им был русский поэт Иосиф Бродский. Бродский говорил о Томасе Венцлове, с которым встретился и подружился, когда сам бывал в Литве. [...] Позднее — литературный вечер. Бродский читал свои стихи, написанные на родном языке [...]. Его слова прозвучали своеобразной мистической мелодией, словно литургические интонации православного священника. Может быть, непонятность этих слов придавала им эту магию, но слова не важны, когда поэт в силах создать такую атмосферу, какую Бродский на несколько минут создал. Его стихи Юргис Блекайтис перевел на литовский язык.**

Выход в свет сборника В. Полухиной в 2000 году напомнил мне вопросы, возникшие в 1991 при чтении интервью, и я задал их Лютасу Моцкунасу во время проходившей в 2000 году в Литве, в городе Аникшчяй, конференции ассоциации Santara-Šviesa. Моцкунас, много лет бывший редактором альманаха «Akiračiai», рассказал, что с Бродским беседовали он и Альгирдас Титус Антанайтис. Разговаривали по-английски, без магнитофона, Антанайтис вел записи. Набравшись смелости, я написал Антанайтису, и 11 сентября 2000 года получил ответ, отрывки из которого привожу ниже:

* Eglė Viktorija Žygaitė. Sambos, Santara, Sinbadai ir Nancy // Akiračiai. 1976. Nr. 10 (84). P. 15–16. Перевод Рамунаса Катилюса-младшего.

*Беседа с Бродским имела место в Табор Фарме, в один из дней съезда Santara, во время обеденного перерыва, судя по всему, затянувшегося в ущерб послеобеденной программе. Табор Фарма — это курортная «деревушка», гости живут в кабинках, по несколько в одной комнате. Беседовали мы, развалившись на моей кровати — другой мебели там и не было. Беседовали по-английски, ибо как Лютас, так и я по-русски говорим очень слабо. Записывал я тоже по-английски. Переписывая эти записки для Akiraiaі, я их свободно перевел на литовский. Следовательно, в публикации каких бы то ни было стилистических или иных тонкостей не ищите.**

Эгле Жигайте в своем описании упоминает, что стихотворения, которые читал Бродский, на литовский язык перевел Юргис Блекайтис.

С Юргисом Блекайтисом — поэтом, переводчиком Ахматовой, Милоша, Иваска, режиссером, мемуаристом и многолетним редактором литовского «Голоса Америки» — и его супругой Гражиной мне и Эле посчастливилось познакомиться в начале двухтысячных и общаться несколько лет в Паланге. Блекайтис прекрасно помнил события, происходившие почти четверть века назад. Бродский выбрал для чтения на поэтическом вечере в Табор Фарм «Литовский дивертисмент». Прекрасно знавшего русский язык Блекайтиса попросили перевести этот цикл на литовский язык, что он и сделал. Во время выступления Бродского они вдвоем стояли на импровизированной сцене — рассказывая нам об этом, г-н Юргис подчеркнул: «Мы стояли

* Перевод автора.

рядом». Иосиф Бродский читал стихи в оригинале, а Юргис Блекайтис — свои переводы на литовский.

Вильнюсское радио в 2013 году систематически транслировало литовские передачи «Голоса Америки» 1970-х годов, и как-то мне посчастливилось услышать запись голоса Блекайтиса, рассказывающего о том, как они с Бродским «стояли рядом». Оказывается, Бродский попросил Блекайтиса литовский перевод стихов прочесть сначала, перед Иосифом (мысль оригинальная и, на мой взгляд, весьма плодотворная).

Так же происходившее описал и Альгирдас Антанайтис:

«И. Бродский свои стихи на литературном вечере читал по-русски. Выбранные для прочтения стихотворения режиссер Юргис Блекайтис заранее перевел на литовский и, кажется, сам с ним вместе и прочел, помогая Бродскому и когда тот экспромтом давал публике пояснения, если они требовались».

«Литовский дивертисмент», специально переведенный для того вечера Юргисом Блекайтисом, открывает 32-й выпуск издававшегося в США альманаха «Metmenys» (р. 3–9). «Metmenys» тех лет в наши дни в Литве является библиографической редкостью, однако я вскоре обнаружил почти полный многолетний комплект у нашего — и Бродского в том числе — друга молодости Юозаса Тумялиса, известного библиофила и библиографа.

Перевод, на мой взгляд, весьма высокого качества, Блекайтису удалось передать многое из того, что в переводах на другие языки часто теряется. С любезного разрешения госпожи Гражины Блекайтене перевод размещен на первых страницах литовского варианта этой книги. (В свое время по приглашению г-жи Гражины мы с Элей приняли участие в вечере памяти Юргиса Блекайтиса в Музее литовской литературы им. Майро-

ниса в Каунасе. Я там сделал небольшое сообщение о роли Блекайтиса как первого и вполне успешного переводчика поэзии Бродского для литовского читателя.)

Оставался открытым лишь один вопрос: кто свел Иосифа Бродского с Santara-Šviesa, кто пригласил его на съезд 1976 года? Ни Моцкунас, ни Блекайтис ответа не знали, а Антанайтис в своем письме отмечал, что гостей, как правило, приглашал сам Витаутас Каволис, основатель и духовный лидер ассоциации.

Позднее выяснилось, что ключевую роль в установлении связей между Бродским и литовской эмигрантской либеральной интеллигенцией сыграли Ромас Мисюнас и Аудроне Мисюнене, теперь уже давно живущие в Литве. О своем знакомстве и дружбе с Бродским Аудроне Мисюнене рассказала следующее.

В семидесятые годы Ромас Мисюнас преподавал историю России в Уильямс-колледже, там же английскую литературу преподавал поэт Джонатан Аарон. В ноябре 1973 года в Амхерст-колледже готовился поэтический вечер Бродского, одним из организаторов которого как раз и был Аарон. Он и пригласил Мисюнасов на тот вечер. Иосиф Бродский, услышав от Аарона о том, что его слушали литовцы, пожелал с ними встретиться, и назавтра, 16 ноября 1973, приехал к ним в Вильямстоун (час езды от Амхерста). Именно эту дату поставил Иосиф на подаренном Мисюнасам сборнике своих стихов «Остановка в пустыне».

И тут мы снова возвращаемся к теме «Бродский — Венцлова». Согласно Аудроне Мисюнене, одной из тем беседы Иосифа с Мисюнасами было его желание способствовать переводу и публикации на английском языке поэзии Томаса Венцловы. Он уже до этого попросил своего переводчика Джорджа Клайна взяться за это дело, но качество имевшихся у них подстрочников не устраивало ни того ни другого.

Я склонен именно здесь искать объяснение неожиданному приезду Иосифа к незнакомым литовцам. Я уже говорил о страстном желании Иосифа помочь оставшемуся за железным занавесом Томасу Венцлове. В тот момент «помочь» означало создать ему publicity на Западе. И Иосиф активно оглядывался, кто бы мог стать помощниками и союзниками в этом. Аудроне подчеркивает, что, после того как Иосиф познакомился с Мисюнасами, профессор Клайн пару раз приезжал к ним в Вильямстоун вместе готовить подстрочники. Мне неизвестно, состоялись ли и были ли опубликованы эти переводы. В любом случае порыв Иосифа вызывает восхищение.

Тем более что продолжение следовало. Если в 1973 году главной целью было создание имени, publicity, то в 1976-м пугала возможность прямой физической угрозы. Томас уже стал диссидентом, одним из создателей Литовской Хельсинкской группы, автором письма Центральному Комитету литовской Компартии, открыто стремился эмигрировать, и судьба его была более чем неопределенной. Всюду — в Вильнюсе, в Питере, в Москве — друзья Томаса (мы в их числе) не на шутку беспокоились за него.

Беспокоился и Иосиф. В «New York Review of Books» появилась его большая статья о Томасе Венцлове (в переводе на литовский ее 13 марта 1976 года напечатала газета «Draugas»). Неудивительно, что, когда Ромас Мисюнас позвонил Иосифу в Энн-Арбор и пригласил его в качестве «особого гостя» на съезд Santara-Šviesa, Иосиф сразу согласился. И даже, выслушав инструкции по телефону, самостоятельно приехал (обычно гостей приходилось привозить, встретив в каком-нибудь условленном месте). Ромас Мисюнас вспоминал, что, выступая на съезде, Бродский рассказал о Томасе Венцлове, о его положении в Литве.

И что во время беседы для «Akiračiai» Иосиф также стремился говорить в первую очередь о Томасе.

В 1977 году Томасу Венцлове позволили покинуть Союз, и он прибыл в Америку. Это стало началом нового этапа общения Бродского с литовскими эмигрантами. Но оставим рассказы об этом перу самого Томаса.

Отмечу, что в домашнем архиве Мисюнасов хранятся замечательные фотографии Иосифа, сделанные, в частности, и в 1976 году в Табор Фарм, и в нью-йоркской квартире Мисюнасов после возвращения из Стокгольма в 1987 году уже в качестве лауреата Нобелевской премии.

Маша Воробьева

Начнем опять-таки с фотографии. Существует снимок, сделанный в Стокгольме в 1987 году перед церемонией вручения Иосифу Бродскому Нобелевской премии. На фотографии — Иосиф и сопровождавшие его в Стокгольм Томас Венцлова и Мария (Маша) Воробьева. Именно о Маше я и хочу рассказать.

Многолетняя соседка Бродского в Нью-Йорке Маша Воробьева родилась перед Второй мировой войной в Каунасе. Изпод пера ее отца Николая Воробьева (из русских, поколениями живших в Литве), ученого-искусствоведа немецкой школы, вышла одна из самых замечательных книг, когда-либо написанных на литовском о Вильнюсе, — «Vilniaus menas» («Искусство Вильнюса», 1940). По этой книге мы с Томасом и моим братом Аудронисом (позже ставшим архитектором-реставратором) в отрочестве и ранней юности учились любить архитектуру старого Вильнюса и тем самым архитектуру вообще.

В 1944 году Воробьевы эмигрировали на Запад. А когда Томас, только что выпущенный из-за железного занавеса и в феврале 1977 года оказавшийся в Нью-Йорке, выступал там с речью на собрании литовских эмигрантов, к нему подошла женщина, представившаяся дочерью Николая Воробьева Машей.

Зная, как мощно книга «Vilniaus menas» воздействовала на художественное развитие нашего (да и не только нашего) поколения, формировала восприятие старинной архитектуры Вильнюса, легко себе представить, как удивился и обрадовался Томас. Но он, пожалуй, должен был еще больше удивиться, когда Маша сказала, что дружна с Иосифом Бродским и что по его просьбе она после собрания повезет Томаса к нему. Она добавила, что это будет почти то же самое, что к ней, ибо они оба живут в одном и том же доме!

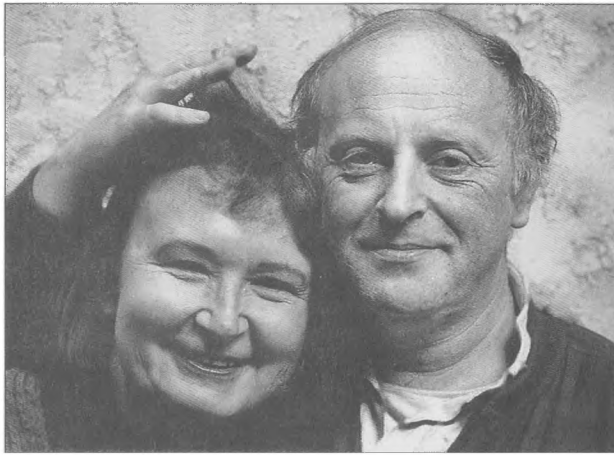
Когда Томас обо всем этом написал мне в Ленинград, меня тоже охватило радостное возбуждение. Обнадеживающая мысль: иногда культура неожиданнейшим образом сводит людей самых разных судеб, объединяет события, казалось бы, безнадежно разнесенные в пространстве и во времени.

После собрания, посвященного дню 16 февраля (день объявления независимости Литвы в 1918 году), Маша и Томас поехали к Иосифу на Мортон-стрит, 44, в Гринвич-Виллидж, Нью-Йорк. В этом доме, только на разных этажах, Иосиф и Маша прожили многие годы. О быте в этом доме, отношениях между его жильцами писал ныне покойный Лев Лосев, ближайший друг Иосифа с ранней юности:

В 1974 году Бродский снял квартиру в доме 44 на Мортон-стрит, там, где эта тихая боковая улица в западной части Гринвич-Виллидж, начинающаяся от Восьмой авеню,

делает изгиб. Дальше, через два квартала, Мортон упирается в Гудзон. Этот типичный для жилых кварталов Нью-Йорка неширокий по фасаду, трехэтажный краснокирпичный «таунхауз» принадлежал профессору Нью-Йоркского университета Эндрю Блейну. Сам Блейн, специалист по истории православия, неплохо говоривший по-русски, занимал нечто вроде флигеля во дворе, а квартиры предпочитал сдавать знакомым. У Бродского завязались дружеские отношения со всеми обитателями дома. Соседи стали для него чем-то вроде семьи с неопределенными контурами. Ближайшим человеком, по существу, верной заботливой сестрой, стала соседка этажом выше, Маша Воробьева. Маша родилась в Вильнюсе (в Каунасе. — Р. К.) в семье русского профессора, историка архитектуры, близким другом семьи был философ Карсавин. Среди друзей, приходивших к Маше на Мортон, был крупнейший церковный писатель отец Георгий Флоровский. В Америку она попала в юности с волной послевоенной эмиграции, став преподавателем русского языка и литературы в женском колледже Вассар к северу от Нью-Йорка. Маленькую квартиру через площадку от Бродского временами занимала англичанка Марго Пикен, его друг еще с ленинградских времен, посвятившая свою жизнь работе в международных гуманитарных организациях. Другие сменявшиеся жильцы были, как правило, тоже знакомыми — редакторы издательств, университетские преподаватели. Заботы друзей-соседей не давали Бродскому скатиться к быту неприкаянного холостяка.*

* Лев Лосев. Иосиф Бродский. Опыт литературной биографии. М., 2006. С. 204.



С Машей Воробьевой

Сам я с Машей встретился намного позже, при грустных обстоятельствах. О тех наших встречах, уже после смерти Иосифа, расскажу дальше. Здесь только некоторые моменты биографии Маши на основе нашей с ней более поздней переписки. В своих письмах она делилась воспоминаниями о детстве, проведенном в Литве; об отрочестве в лагерях для перемещенных лиц на территории Австрии.

Вот цитата из письма Маши нам от 11 августа 1997 года:

[...] В 49-м году нам удалось перебраться в Америку, благодаря усилиям друзей из Литвы. Они же помогли отцу получить работу в американском колледже (Smith — высшая школа для девушек в штате Массачусетс; там потом полгода преподавал Иосиф, там же я училась). Папа вел курсы русского языка. Через 5 лет ему сообщили, что отдел сокращают, что

*для него работы больше нет. Непонятно было, что делать дальше [...]. Среди его бумаг я нашла кипу писем из разных колледжей и университетов, куда он писал в поисках работы — отовсюду получал отказ. Как Вы знаете, он умер в июне 54-го года — покончил с собой. Ему был 51 год.**

В своем письме Маша болезнь нервов или депрессию у отца не упоминает — может быть, по соображениям такта, а может быть, таким был молчаливый семейный уговор. На эту тему своеобразно высказался Бродский. «Он знал, что творилось и творится в Европе, а с таким знанием существовать в ничего не понимающих уютных американских кампусах трудно, вот и не выдержал». Как сказано в одном из некрологов о Воробьеве, не каждое дерево, пересаженное на американскую почву, приживается.

Стоит отметить, что Маша хотя по-литовски уже не говорила, но, по свидетельству Томаса Венцловы, интересовалась жизнью литовской общины в Америке и в ней участвовала; у нее дома был практически полный комплект англоязычного журнала «Lituanius», который изредка листал и Иосиф.

Еще одна цитата из письма Маши нам от 27 июня 1997 года из Нью-Йорка:

Мне так приятно, что Вы живете именно в моем литовском городе, — когда я уехала, мне было 10 лет, и хотя мы жили там всего 4 года и время было очень тяжелое, у меня осталось много ярких и часто хороших детских воспоминаний, связанных с этими местами.

* Письма Марии Воробьевой хранятся в архиве Литовского художественного музея.

В том же письме от 11 августа Маша искренне радуется восстановлению независимости Литвы:

Совсем не верится, что можно послать письмо в Вильню обычной почтой и сразу получить на него ответ — с маркой LIETUVA — как ни в чем ни бывало. Лет 10–15 назад это бы показалось настоящей сказкой, а сегодня уже почти нормально. Я рада, что дожидаясь до этого времени и что у меня даже есть кому писать в Вильнюсе! Но и лезут в голову печальные мысли — ради чего была разбита жизнь родителей, ради чего погибло столько миллионов и т. д.

[...]

Я бы конечно с большим удовольствием приехала еще раз в Литву, тем более что у меня там — я чувствую — теперь есть друзья, т. е. Ханум и Вы! И Литва для меня не только детство, но и места и люди связанные с жизнью Иосифа. Хотелось бы поглядеть и Каипас — где я родилась и провела первые 6 лет жизни, и Палангу, куда мы ездили летом, и Šiauliai, где выросла моя мама

[...] Я очень рада, что вам удалось приехать в Италию. Иосиф был бы так рад! [...] мы все познакомились через Иосифа и подружались. Кроме своих стихов он оставил множество своих друзей (и подруг), которые стали друзьями между собой.

3 сентября 2001 года Маши Воробьевой не стало.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НЕ ВОЗВРАЩАЯСЬ

После присуждения в 1987 году Иосифу Нобелевской премии по литературе — в пятый раз в истории русской литературы — запрет на упоминание имени Иосифа Бродского как бы сам

собой отпал. В Москве и в Ленинграде, сначала полуофициально, устраивались вечера, посвященные творчеству Бродского. Еще через пару лет один за другим — в Ленинграде, Москве, Минске, Таллине — всё возрастающими тиражами были выпущены сборники его стихов. Однако сам Иосиф Бродский и после распада Советского Союза на своей родине не побывал. На вопросы отвечал, что на место любви не возвращаются.

Нам с Элей довелось побывать на первых вечерах, посвященных Бродскому в Ленинграде. Самый первый (из тех, которые мы посетили) состоялся в маленьком зале, типа красного уголка домоуправления, во дворе жилого дома на улице Петра Лаврова, недалеко от Литейного проспекта. По-видимому, вечер был «разрешен», но под присмотром, ибо у входа торчали какие-то типы: то ли кого-то не пускали, то ли всех путали своим видом, то ли следили за тем, чтобы в зальчик не набилось слишком много народу. В конце концов те, кто находились внутри, сумели открыть окна, расположенные со стороны двора достаточно низко. Так что не попавшие вовнутрь все видели и слышали со двора. Кто выступал, кого из знакомых встретили, мы, к сожалению, уже не помним.

В исполнении чтцов звучали стихи Иосифа и на великолепном вечере в Большом зале Ленинградской филармонии, посвященном памяти Анны Ахматовой 2 февраля 1988 года. А вот на вечере 25 апреля 1988 года в Ленинградском институте ядерной физики (ЛИЯФ) в Гатчине, посвященном Бродскому, я не только присутствовал, но по просьбе моих коллег из ЛИЯФа частично его и организовал, собрал желающих выступить. Участие приняли Яков Гордин, Константин Азадовский, Анатолий Найман, кто-то еще. Свои стихи, посвященные Иосифу, читал Михаил Мейлах.

Мы с Элей очень хорошо помним большой юбилейный вечер «Иосиф Александрович Бродский. Пятидесятая годовщина...», состоявшийся в мае 1990 года в Ленинграде в Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина. Я выступил с сообщением «Иосиф Бродский и Литва» — это было мое первое публичное выступление, не относящееся к физике. Я уже снова жил в Вильнюсе, и залу был представлен как «представитель свободной Литвы». Зал бурно заплодировал. Однако же, были времена...

Участвовал я и в Международной научной конференции «Поэзия Иосифа Бродского — культура России и Запада» 7–9 января 1991 года в Ленинградском доме писателей. Участвовавшая в конференции американская журналистка передала мне привет от Томаса Венцловы, а на следующий день предупредила меня: «Все кончено». По данным американцев, в Литву введена Псковская десантная дивизия. После окончания конференции 11 января сын по телефону из Вильнюса попросил меня как можно скорее вернуться. Пришлось срочно уехать в Вильнюс — там назревали события, которые могли представлять прямую угрозу членам моей семьи. Разразившаяся через пару дней в Вильнюсе трагедия меня и моей семьи непосредственно не коснулась, но среди погибших в ночь на 13 января у телебашни был старшеклассник — сын нашего с Томасом школьного товарища.

ЗДОРОВЬЕ УХУДШАЕТСЯ

Сердце Бродского начало беспокоить рано, когда окружающим он казался крепким парнем, да и вел себя соответственно. Однако 9 января 1971 года он писал нам из Ялты:



С женой Марией. 1992 год
Фото Дианы Абаевой-Майерс

Плохо только, что сердце устает от подъемов; и от спусков — тоже. То ли бросать курить, то ли умирать — раз невозможны 100 %.

Судя по всему, склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям была унаследованной: отец Бродского перенес несколько инфарктов (правда, не помешавших ему дожить до 80 лет). Различные обстоятельства жизни Иосифа также могли отразиться на здоровье. Алкоголем Иосиф не злоупотреблял, но всегда много курил.

В декабре 1976 года в Нью-Йорке у него случился первый, обширный инфаркт.

После первого инфаркта Иосиф прожил еще девятнадцать лет, но состояние его здоровья постоянно ухудшалось. Через два года понадобилась операция на сердце, в 1985 году, после еще двух инфарктов, вторая. В последнее десятилетие своей жизни Иосиф периодически оказывался в больнице — однако именно тогда он женился и дождался рождения дочурки.

В последние годы его жизни шла речь еще об одной операции на сердце. Как принято в Америке, врачи ознакомили Бродского с прогнозом: вероятность положительного исхода — более 80 процентов. Как бы и не плохо, пока не начинаешь задумываться о тех процентах, которые остаются лежать на операционном столе.

Хорошо помню, как и когда я об этих процентах узнал. В то время, пользуясь благами нового времени и независимости, я в первый раз выехал на научную конференцию на Запад. В Париже я навестил Веронику Шильц, многолетнюю близкую приятельницу Иосифа, адресата нескольких его стихотворений, историка искусств, в то время — профессора Сорбонны. Мы с Элей близко общались с Вероникой в Ленинграде еще до отъезда Иосифа, после его отъезда тоже. Во время нашей встречи в Париже она выражала сильное беспокойство по поводу состояния здоровья Иосифа. Рассказала о тех процентах и о том, что на операцию он все еще не решается. Я понял, что Иосиф боится, и примерно так и сказал. Вероника резко повернулась ко мне и сердито спросила: «А вы не боялись бы?» Тут-то я и осознал цену тех самых остальных скольких-то процентов.

Невзирая ни на что, Иосиф жил как всегда. Скажем, в 1995 году — запись чтения стихов на студии «Радио Свобода», лекции в Женевском университете, поэтические чтения и встречи в Бостоне, Нью-Йорке, в Хельсинки, поездка в Лондон на похороны Стивена Спендера, поездка в Италию... И писал, писал, писал

стихи. Но дела со здоровьем становились все хуже, и в декабре 1995-го в письме Андрею Сергееву Иосиф признается: «Трудно стало одолеть расстояние этак с длину фасада...»*

СМЕРТЬ

Врачи операцию делать советовали единогласно, и Иосиф с мыслью о ее необходимости смирился. Но хотел весенний семестр в колледже Маунт-Холиок отработать как обычно и договорился об отсрочке операции. А дальше...

*Вечером в субботу 27 января 1996 года он набил свой выдавший виды портфель рукописями и книгами, чтобы завтра взять с собой в Саут-Хедли. В понедельник начинался весенний семестр. Пожелав жене спокойной ночи, он сказал, что ему нужно еще поработать, и поднялся к себе в кабинет. Там она и обнаружила его утром — на полу. Он был полностью одет. На письменном столе рядом с очками лежала раскрытая книга — двуязычное издание греческих эпиграмм. [...] Сердце, по мнению медиков, остановилось внезапно.***

Иосиф Бродский умер в своем кабинете в Бруклине в ночь на 28 января, оставив молодую жену Марию и трехлетнюю дочку.

На следующий день президент Российской Федерации Борис Ельцин направил Марии Бродской свои соболезнования. Из России успели прилететь проститься, возможно, только Евгений Рейн и Александр Кушнер. Прощание происходило

* Андрей Сергеев. Omnibus: Альбом для марок. Портреты. О Бродском. Рассказы. М., 1997. С. 464.

** Лев Лосев. Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии. М., 2006. С. 283.

30 и 31 января в Greenwich Funeral Home, недалеко от предпоследнего жилья Бродского на Мортон-стрит. Неудивительно, что вечером 31 января несколько близких друзей собрались его помянуть у Маши Воробьевой: Гарик Восков, Вероника Шилиц, Марго Пикен, Ада Струве, Михаил Барышников, Лев Лосев, Юз Алешковский.

Утром 2 февраля тело в цинковом гробу было временно помещено в склеп на кладбище при храме Св. Троицы, на берегу Гудзона. А в июне 1997 года по решению и стараниями вдовы гроб с телом перезахоронен в любимой Иосифом Венеции, на кладбище Сан-Микеле.

POST MORTEM

Молебен в соборе Св. Иоанна в Нью-Йорке

8 марта 1996 года

8 марта 1996 года в соборе Св. Иоанна Богослова в Нью-Йорке состоялась торжественная поминальная служба. Поминавание 8 марта, помимо прочего, имело большое значение и потому, что дало возможность многим старым друзьям воздать Иосифу Бродскому последние почести.

От имени вдовы Марии меня пригласила Энн Шеллберг — литературный секретарь Иосифа: приехать и прочесть на поминании любое, мной выбранное стихотворение. Я сразу решил ехать. Перелет мне оплатил Фонд открытой Литвы (Фонд Сороса).

Встречала и опекала меня в Нью-Йорке Маша Воробьева. По пути из аэропорта Кеннеди к месту моего ночлега на Манхэттене мы, конечно, успели разговориться, тем более что друг о друге много знали от общих друзей: я о Маше — от Томаса,

Маша обо мне — от Иосифа и Томаса. Неудивительно, что, встретившись, мы тоже сразу почувствовали себя друзьями. У нас была еще и особая тема — судьба ее отца и его архива, но эта тема выходит за рамки моего нынешнего рассказа.

Когда приехали, Маша меня и мою хозяйку Ядзе повела в соседнее кафе поужинать. Пора было решать, какое стихотворение Иосифа я прочту с кафедры во время торжественной поминальной службы. Я назвал заключительную часть «Литовского дивертисмента», подумав, что именно стих «Dominikonai», если удастся прочесть его не торопясь, четко, соответствовал бы общему настроению. Спросил у Маши, не кажется ли ей стих слишком коротким. Она расширила глаза: «Да, стих короткий, но зато — какой!» Вдова Иосифа Мария выбор одобрила.

Кафедральный собор, в котором проходило торжественное поминовение, расположен на Манхэттене между Центральным парком и Колумбийским университетом. Задуман он был более ста лет назад как шедевр неоготики, долженствующий затмить европейскую готику, во всяком случае масштабами. Работы по декорированию не завершены и по сей день, там и сейчас понемногу работают бездомные, бывшие наркоманы и т. п. Несмотря на это, собор производит впечатление не только размерами — высотой главного нефа (порядка 40 метров) и глубиной (около 180 метров), но и изысканностью пропорций, гармоничностью сводов, витражами. Трудно вообразить более подходящее место для проведения столь торжественного, можно даже сказать, величественного прощания с душой поэта на сороковой день.

Наверное, сам рассказ надо начать с... погоды. Погода в тот день в Нью-Йорке была просто чудовищная. Сильнейший ледяной ветер швырял в лицо мокрый снег пополам с дождем. Я был

счастливым, что смог поймать такси, но и те несколько десятков метров, которые пришлось пройти до апсиды собора, надолго врезались в память.

Я приехал достаточно рано. Там я впервые встретился с Марией Соццани-Бродской и смог выразить ей свои соболезнования. Она показала мне, как пройти в высоко расположенное помещение, в котором постепенно собирались те, кто будет читать стихи.

Надо отметить, что сама панихида была спланирована Марией просто идеально.

По узкой винтовой лестнице один за другим мы спустились в главный неф и занимали свои места у амвонов. Места нам с Томасом Венцловой были отведены у левого амвона, рядом с Милошем и Барышниковым. Действие длилось около двух часов. Звучали орган и фортепиано, участие также принимали струнный квартет, детский и взрослый хоры собора. И разумеется, священник читал молитвы за покойного, его родителей, за всех собравшихся, за человечество.

Свободных мест заметно не было. Мощный орган, красно-белые одеяния хористов, их звеняще чистые голоса, высший класс игры струнного квартета Кима и пианистки Елизаветы Леонской — девятнадцатый и двадцать шестой псалмы, произведения любимых поэтом Гайдна, Моцарта, Перселла.

И все же музыка, как и архитектура храма, создавали лишь возможность значимости и содержательности вечера, почти выдвигая на первый план поэзию. Стихи читали не декламаторы, а примерно два десятка друзей поэта, давнишних, доэмигрантских и новых, приобретенных за двадцать четыре года жизни в Америке. Попеременно, на каждый из расположенных по обе стороны главного нефа амвонов, один за другим

поднимались нобелевские лауреаты Чеслав Милош, Дерек Уолкотт, Шеймас Хини, поэты-лауреаты США Марк Стрэнд и Энтони Хект, известные американские поэты Джонатан Аарон и Розанна Уоррен, английский поэт и переводчик Майкл Хофманн, русские поэты Евгений Рейн, Владимир Уфлянд, Анатолий Найман, Лев Лосев, литовский поэт Томас Венцлова, литературовед Виктория Швейцер, историк Яков Гордин, переводчик Виктор Голышев...

Музыка и молитвы разделили поток поэзии на несколько англоязычных и русскоязычных циклов.

Первым, после молитвы и «Kugie» из «The resienmesse» Гайдна, читал Милош. На нас с Томасом его мощная, знакомая нам фигура произвела особое впечатление. Он единственный прочитал стихотворение собственного сочинения, но в переводе на английский.

Потом девятнадцатый псалом и «Away» Роберта Фроста, прочтенное Розанной Уоррен. Михаил Барышников очень выразительно, с огромным чувством ритма прочитал длинное стихотворение Бродского «Похороны Бобо», переведенное на английский язык Ричардом Перди Уилбером. Дерек Уолкотт, высокий, седой, темнокожий выходец с Карибских островов, читал им же переведенные «Письма династии Минь» Бродского. Майкл Хофманн прочел переведенную самим Бродским на английский «Римскую элегию XII». Снова звучал Гайдн, Adagio из 5-го струнного квартета.

Далее — стихи по-русски. Виктория Швейцер чистым, ясным, высоким голосом прочла «Пятую северную элегию» Анны Ахматовой. Моя очередь. Мне в тот вечер с амвона первому довелось читать стихи Бродского на языке оригинала — по-русски. Оглядев с высоты амвона переполненную церковь,

я прочитал «Dominikonai». На соседний амвон поднимается близкий друг Бродского, известный поэт Евгений Рейн. Знаю Женю больше 40 лет и могу засвидетельствовать: он нашел свою дорогу рядом с гением, не чувствуя себя в тени великана, не завидуя, радуясь столь быстрому подъему на вершины мировой литературы Иосифа. Рейн сильным, густым голосом, торжественно подчеркивая фонетику, прочитал длинное, Бродским уже в эмиграции написанное стихотворение «Лагуна». На амвон поднимается Томас Венцлова. Талантливо, в нервной тональности он читает «Натюрморт», написанный Бродским в 1971 году. Так получилось, что на русском языке доэмигрантские стихи Иосифа читали только Томас и я. За прочитанными Гольшевым отрывками из цикла «Часть речи» следовали молитва и двадцать шестой псалом.

Потом звучали стихи Одена и Бродского на английском, «Rondo a-moll» Моцарта и заключительный цикл стихов по-русски. Гордин прочел «Сохрани мою речь навсегда...» Осипа Мандельштама, затем следовали четыре стихотворения Бродского: «Осенний крик ястреба» (читал Лев Лосев), «Не выходи из комнаты...» (читал Уфлянд), «Рождественская звезда» (снова Рейн), и стихи, посвященные памяти матери Поэта («Мысль о тебе удаляется...», читал Найман).

Мотет Перселла в исполнении хора. Зажгли розданные при входе в собор свечи. Молитва за умерших. Тишина. Высоко под сводами раздается голос, хотя у микрофонов уже никого нет. Это голос самого поэта, одно из самых последних его стихотворений — «Меня упрекали во всем, кроме погоды...».

Снова тишина. Орган. Всё.

«Не произнесено ни слова о нем. Лишь его слова, теперь произносимые другими. Его поэзия. И поэзия тех, кого он

любил», — писал в те дни в американской прессе Карлин Романо.*

С достоинством и торжественно попрощалась Америка с великим иммигрантом, нашедшим в ней вторую родину и щедро отплатившим ей как английскими стихами, так и широко читаемыми эссе (как раз в то время вышел из печати их второй том). Будучи поэтом-лауреатом США, Бродский пытался приучать американцев в номерах гостиниц наряду с Библией иметь сборники стихов, учил на стенках вагонов метро читать стихи, специально с этой целью написанные известными поэтами. Объяснял, что империи выживали не благодаря легионам, а благодаря языку.

После поминовения, а также вечером на приеме я имел возможность пообщаться со старыми друзьями и знакомыми, с которыми не виделся десятилетиями: Марией Эткинда, Мишей Петровым, Сэмом Реймером. Вдове Иосифа Марии Бродской я передал авторский экземпляр школьного учебника русской литературы Розы Глинтершик**, изданного в Литве, в котором творчеству Бродского посвящен раздел объемом в пятьдесят страниц. На приеме я смог поговорить с Энн Шеллберг и о планах издания переводов произведений Бродского на литовский язык. Приятно осознавать, что литовские издательства в ходе нескольких последующих лет эти планы в той или иной форме реализовали.

* «No words spoken about him. Only words once spoken by him, but now spoken by others. His poetry. And the poetry of others whom he loved». Цит. по: *Carlin Romano. Poems, Of Course, For Joseph Brodsky The Late Poet Laureate Is Remembered With Longing At A New York Service.* [Электронный ресурс]. URL: http://articles.philly.com/1996-03-11/entertainment/25638346_1_poet-laureate-joseph-brodsky-poetry.

** *Роза Глинтершик. Русская литература. Kaunas, 1995.*

Сразу по возвращении я поделился своими впечатлениями с литовской аудиторией.* Еще до начала церемонии Яков Гордин попросил всех, кто сможет, написать тексты для мемориального номера журнала «Звезда». Так, в числе прочих напечатанных в этом номере материалов появился мой очерк «Иосиф Бродский и Литва».** Атмосферу, царившую на торжественном поминовении, хорошо передают фотографии Марианны Волковой. Ее замечательный альбом «Портрет поэта: Иосиф Бродский 1978–1996»*** в Литве уже стал библиографической редкостью.

Перезахоронение в Венеции

Еще через полтора года завершились переговоры с властями Венеции и по решению Марии Соцанни-Бродской прах Иосифа 21 июня 1997 года был перезахоронен в протестантском секторе венецианского кладбища Сан-Микеле.

Почему же Бродский, столько времени живший и умерший в Америке, нашел последнее пристанище в Венеции? Он очень любил Италию, и его там очень ценили и любили. На итальянский были переведены, наверное, все до единого стихотворения, как-то с Италией связанные, был издан двуязычный сборник. И естественно, у него там было много друзей, он тесно общался с переводчиками своих стихов на итальянский. Валентина Полухина отмечает, что с итальянцами-стажерами в Ленинграде Бродский познакомился еще в 1965 году.****

* См.: 7 meno dienos. 1996, 29 марта.

** Рамунас Катилюс. Иосиф Бродский и Литва // Звезда. 1997. № 1. С. 151–154.

*** Марианна Волкова. Портрет поэта: 1978–1996. Иосиф Бродский / Фотографии Марианны Волковой. Нью-Йорк: Russian Publishing House, 1998.

**** Валентина Полухина. Иосиф Бродский: жизнь, труды, эпоха. СПб., 2008. С. 128.

Приглашение принять участие в церемонии перезахоронения мы получили от Энн Шеллберг в конце мая. В июне мы с Элей собрались в дорогу и через Рим, Флоренцию и Болонью добрались до Венеции за два дня до перезахоронения. Как и многие приглашенные, мы остановились в гостинице «Bucintoro», где в свои первые приезды в Венецию останавливался Иосиф. Комната наша была расположена на верхнем этаже. Глядя из окна на заливную предвечерним солнцем лагуну и купола костелов на островах, мы подумали — Иосиф наверняка предпочитал этот пансион не только за его скромность.

После завтрака Маша Воробьева повела нас по дорогим ей, а теперь и нам местам Бродского, в том числе в кафе «Florian». К середине дня «венедианские тропы Иосифа» привели нас на площадь Св. Марка, где мы с Машей расстались и отправились осматривать Дворец дожей, а вечером собирались навестить только что приехавшую Диану Абаеву-Майерс. Диана остановилась в гостинице по другую сторону площади Св. Марка (по отношению к стоящей недалеко от Арсенала «Bucintoro»). Уже в сумерках вышли на набережную и с удивлением обратили внимание на галдящую молодежь, куда-то несущуюся босиком, и людей, раскладывающих какие-то мостки у дверей кафе и рестораничиков. Продолжая идти по набережным каналов в сторону площади Св. Марка, неожиданно поняли — а под ногами-то вода! Началось, не иначе как в честь нашего прибытия, одно из знаменитых венецианских наводнений, весьма редких в такое время года. Вода прибывала, и идти стало почти невозможно. На наш вопрос о том, как дойти до нужной нам гостиницы, встреченная молодая итальянская пара заулыбалась, и молодой человек сказал, что сегодня вечером мы вряд ли доберемся до той гостиницы, лучше идти в любую другую,



В Венеции

где-нибудь рядом. Никакая другая гостиница нам нужна не была, так что мы побрели к своей. То ли переулки, которые мы выбрали, были расположены повыше, то ли наводнение начало отступать, так что мы понемногу добрались до Арсенала, а оттуда и до «Висинто», возле которой было сухо.

На следующий день гуляли с Дианой по Венеции, встречая тут и там все новых, наших и Иосифа, друзей и знакомых — Томаса Венцлову, Льва Лосева с женой Ниной, Евгения Рейна и его жену Надю. Всей компанией пообедали, расположившись за столиками на деревянной платформе, пришвартованной к набережной лагуны. Позже удалось купить два симпатичных двуязычных сборника стихотворений Иосифа, на русском и итальянском языках.

В день похорон на вапоретто добрались до острова Сан-Микеле, где располагается знаменитое венецианское кладбище. Кирпичные стены, кипарисы. Остров кажется небольшим, но

на нем нашлось место и для белостенного ренессансного костела Св. Николая, построенного в XV веке, а за ним и для тогда же построенного монастыря с чудесным внутренним двором.

На кладбище собралось немало друзей и почитателей Бродского. У могилы читали Евангелие, потом в костеле, в дополнение к песнопениям, звучали его стихи по-английски и по-итальянски. Как писал известный эссеист Пётр Вайль, ныне также нашедший последний приют на кладбище Сан-Микеле:

*[...] Но правильно, что его могила в Венеции. Прежде всего потому, что это любимый город Бродского, о котором он больше всего написал, и что остров Сан-Микеле — самое красивое кладбище в мире, краснокирпичные стены которого уходят в воды лагуны, а над ними высятся кипарисы. Лучший пересыльный этап с этого света на тот. И концептуально все верно: Бродский принадлежал двум литературам, а надгробье его — посередине. [...]**

Вечером в день похорон все были приглашены на прием в дом Донателлы и Паоло Аста, Palazzo Mocenigo. Палаццо Мочениго — величественный дворец XV–XVII веков, его фасад по меньшей мере один из прекраснейших на Большом канале. Просторные интерьеры красотой не уступают внешнему виду здания. В этом дворце, не знаю по мановению чьей волшебной палочки, друзья и провели тот вечер. Мы осмотрели замечательный главный зал, полюбовались с широкого балкона Большим каналом и чудесными фасадами дворцов на другом берегу. Потом нас пригласили в соседний зал.

* Валентина Полужина. Иосиф Бродский глазами современников. Кн. 2. СПб., 2006. С. 198.

Предоставим снова слово Петру Вайлю:

*[...] И это был замечательный вечер, поскольку боль потери уже успела приглушиться, и все просто общались, выпивали, вели себя так, словно он вышел в соседнюю комнату. [...]**

Когда прием подходил к концу, меня (как связующее звено между «Востоком» и «Западом»?) попросили от имени всех собравшихся выразить благодарность хозяевам. Что я точно говорил, уже не вспомнить, поэтому передам слово Раде Аллой, так описавшей прием:

*[...] Сидели за круглыми столами человек по восемь. За одним из столов говорили только по-итальянски, за другими — по-польски, по-английски, по-русски. Было хорошее вино, вкусная еда, приятные люди... [...] Где-то через полчаса раздался стук ножа о бокал: это попросил слова Ромас Катилюс и произнес по-английски несколько фраз о том, что мы здесь собрались благодаря Иосифу, буквально обраставшему друзьями, так что и после себя он оставил множество людей, самых разных, которых именно он и объединял или даже еще сможет объединить, если они пока между собой не знакомы, и что, кроме всего прочего, мы должны быть ему благодарны еще и за это. [...]***

* Юрий Лепский. В поисках Бродского. Писатель Пётр Вайль рассказывает нашему корреспонденту о поэте и его любимом городе — Венеции // Российская газета. № 5473, 28 января 2008 г. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rg.ru/2008/01/28/brodskiy.html>.

** Рада Аллой. Веселый спутник. Воспоминания об Иосифе Бродском. СПб, 2008. С. 101.

Так вышло, что я как бы выделился, и, когда гости стали расходиться, хозяйка Донателла Аста подошла к нам с Элей и предложила сделать запись в хранящейся в библиотеке дворца памятной книге. Пока шли по коридорам, хозяйка успела выяснить, откуда мы, и, открыв памятную книгу, попросила писать «in your language». Потом взяла с полки томик стихотворений Бродского (один из сборников с переводами на итальянский) и попросила надписать и его. Может статься, что это единственные записи на литовском языке в немало повидавшей библиотеке Палаццо Мочениго.

Когда через пару лет в Вильнюсе был издан сборник с переводами стихотворений Бродского на литовский язык, я послал его госпоже Донателле.* Ее ответ, от руки написанный на красивой «фирменной» карточке Палаццо Мочениго, начинался следующими словами:

*Спасибо вам за прекрасный подарок — книгу Бродского, — невзирая на то, что я не могу ее прочесть! Это очень ценный подарок, прекрасно выглядящий и подвигающий еще раз перечитать (конечно, на итальянском) его волшебные стихи [...].***

Было приятно сознавать, что итальянская аристократка, знающая стихи Иосифа только в переводах, так ценит его и восхищается его талантом.

Ленинград, Нью-Йорк, остров в Венецианской лагуне — такова в самых общих чертах география жизни и смерти одного из величайших поэтов второй половины XX века. Но, как

* *Josifas Brodskis. Vaizdas į jūrą: eilėraščiai* = Иосиф Бродский. С видом на море: стихи. Vilnius, 1999.

** Перевод с английского автора.

заметил в свое время Чарльз Диггес, Бродского будут помнить как творца, неподвластного границам, которые чертит политика, а подчиняющегося лишь поэтическим традициям.

ИНТЕРЕС К ИОСИФУ БРОДСКОМУ В ЛИТВЕ

В Литве интерес к творчеству и к личности Иосифа Бродского зародился еще в шестидесятых — начале семидесятых годов. Даже далекие от поэзии люди знали о нем, видели в нем образец стоицизма, некую модель поведения, на которую можно было как-то опереться и в своих собственных отношениях с советским строем. Этот интерес поддерживался и информацией, передававшейся на русском и литовском языках западными радиостанциями, уделявшими Иосифу Бродскому должное внимание.

Переводы и публикации

Иосиф Бродский и его судьба привлекли внимание литовской эмигрантской прессы еще в 1964 году (публикация стенограммы суда). В 1976 году в ноябрьском номере «Akiračiai» было опубликовано упомянутое выше интервью, а в 32-м выпуске альманаха «Metmenys» — «Литовский дивертисмент» в переводе Юргиса Блекайтиса (первая публикация перевода на литовский язык стихов Бродского). Перу Томаса Венцловы принадлежит первая литературоведческая статья «„Литовский дивертисмент“ Иосифа Бродского», опубликованная на Западе на русском в 1982-м*

* *Томас Венцлова. «Литовский дивертисмент» Иосифа Бродского // Синтаксис. Париж. 1982, № 10.*

и на литовском в 1986 году. * В 1988 году Иосиф Бродский снова дал большое интервью ежемесячнику «Akiračiai», интервью брали Томас Венцлова и Лютас Моцкунас. Оно печаталось в двух номерах ежемесячника, пятом и шестом. (Сокращенный вариант этого интервью в Литве в январе 1989 года напечатала газета «Komjaunimo tiesa»; полный текст в Литве опубликован в 1991 году.**)

В 1988 году издательство «Vyturys» начало готовить двуязычное издание поэзии Иосифа Бродского (стихи в оригинале и параллельно — в переводе на литовский). В конце 1989 года в журнале «Jaunimo Gretos» первые свои переводы опубликовал Маркас Зингерис.

В периодических изданиях стали появляться переводы эссе Бродского на литовский язык: «Путешествие в Стамбул» (журнал «Naujasis Židinys», 1993, № 5, с моим послесловием); «Полторы комнаты» (еженедельник «7 meno dienos», в пяти номерах, февраль—март 1996); эссе об Ахматовой «Скорбная муза» (газета «Lietuvos rytas», 1994, № 36), о Цветаевой «Поэт и проза» (еженедельник «Šiaurės Atėnai», 1998, № 3), эссе «Поэзия как форма сопротивления реальности» (журнал «Naujoji Romuva», 1998, № 1).

Газета «Согласие» в ноябре 1991 года в 19-м номере опубликовала интервью Валентины Полухиной с Томасом Венцловой — «Томас Венцлова об Иосифе Бродском: Человек есть испытатель боли». Позже более полный текст этого интервью под заглавием «Развитие семантической поэтики» издан

* *Tomas Venclova. Tekstai apie tekstus. Chicago: Algimanto Mackaus knygu leidimo fondas, 1985. P. 163–175.*

** *Pokalbių akirčiai: «Akiračių» interviu si išsivijų kultūros veikėjais, 1969–1989. Vilnius, 1991. P. 476–491.*

в первом сборнике В. Полухиной «Иосиф Бродский глазами современников».

Немало публикаций о связях Иосифа Бродского с Литвой вышло в свет в 1996–1998 годах. Мои статьи в литовских еженедельниках «Šiaurės Atėnai» (1996, февраль) и «7 meno dienos» (1996, март) и в петербургском журнале «Звезда» (1997, январь). Статья Евгения Рейна в издающемся на русском языке журнале «Вильнюс» в 1997 году, страницы на эту тему в замечательном эссе «О Бродском» нашего общего друга, ныне покойного Андрея Сергеева в московском журнале «Знамя» (1997, № 4). В первом номере журнала «Naujoji Romuva» за 1997 год напечатан перевод на литовский язык очерка Виктора Ворошильского, тоже ныне покойного, о встрече с Иосифом Бродским в Вильнюсе. Перевод очерка на русский язык приведен и в этой книге.*

В 1999 году увидел свет долгожданный двуязычный поэтический сборник «Josifas Brodskis. Vaizdas į jūrą: eilėraščiai = Иосиф Бродский. С видом на море: стихи» (Вильнюс, издательство «Vyturus»). В нем переводы стихов Бродского выполнены Гинтарасом Патацкасасом, Томасом Венцловой и Марком Зингерисом. В книгу также вошли перевод нобелевской лекции Бродского, статьи Витаутаса Кубилиуса, Марка Зингериса, Томаса Венцловы и моя о жизни и значении творчества поэта. В книге немало рисунков самого Бродского из нашего семейного и других архивов, а также документальных фотографий. В книге опубликован рисунок, набросанный Иосифом на задней обложке брошюрки ценою в 15 копеек во время встречи с Ворошильскими, хранящийся ныне в Институте литовской литературы, в доэмигрантском архиве Томаса Венцловы.

* См. в настоящем издании статью Виктора Ворошильского (с. 296–305).

В том же году была издана и большая книга эссе Бродского в переводе на литовский язык.* Составители сборника Томас Венцлова и Лариса Лемпертене. В книгу вошли 20 избранных эссе, около половины всего наследия Иосифа, переведенные с английского и русского языков.

Обе книги изданы при поддержке Фонда открытой Литвы (Фонда Сороса). Первая была разослана Фондом в библиотеки средних школ и гимназий, вторая вышла в представительной серии переводных книг «Atviros Lietuvos Knuga» («Книга открытой Литвы»), в рамках которой публиковалась современная зарубежная социально-гуманитарная литература. Обе книги удостоились солидных презентаций в Вильнюсской рагтуше и Еврейском культурном центре. Обе были широко представлены средствами массовой информации, удостоились серьезных рецензий.

Вскоре увидел свет еще один двуязычный сборник стихотворений Иосифа Бродского — поздние стихи в переводах ныне покойного литовского поэта Сигитаса Геды.**

Будем надеяться, что поток переводов и публикаций о Бродском в Литве не иссякнет и в дальнейшем.

Серьезным вкладом в «литовскую Бродскиану» стала исчерпывающая статья Томаса Венцловы, посвященная «Литовскому ноктюрну» Бродского, опубликованная на русском языке в московском журнале «Новое литературное обозрение»***, а в переводе на английский язык — в составленной Львом

* *Josif Brodskij. Poetas ir proza. Vilnius, 1999.*

** *Josif Brodskij. Poezija = Иосиф Бродский. Поэзия. Vilnius, 2001.*

*** *Томас Венцлова. О стихотворении Иосифа Бродского «Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова» // Новое литературное обозрение. 1988. № 33. С. 205–222.*

Лосевым и Валентиной Полухиной книге «Joseph Brodsky: The Art of a Poem».*

Ряд интересных исследований темы «Иосиф Бродский — Томас Венцлова» на литовском и русском языках опубликовала Доната Митайте, а в ее книге о Томасе этому посвящена целая глава — «Диалог поэтов». На русском языке в переводе Томаса Чепайтиса книга эта издана в 2005 году**, есть также издания на литовском и в переводе на английский язык.

Журнал «Naujoji Romuva» в одном из номеров поместил обширную рецензию главного редактора Арвидаса Юозайтиса на книгу «Диалоги с Иосифом Бродским» Соломона Волкова.***

Московский литературовед Виктор Куллэ в своих статьях оценивает роль «литовской» темы в поэзии Бродского как глубокую и знаковую, в частности споря с критиком Зеевом Бар-Селлой по поводу стихотворения «Коньяк в графине — цвета янтаря...»****

Литовская тематика Бродского интересует и польских исследователей, в целом глубоко занимающихся творчеством Бродского. Так, Беата Павлетко в своей монографии***** прослеживает связи Бродского с Литвой и на биографическом, и на творческом уровне. На польский язык переведена и вышеупо-

* *Lev Losev, Valentina Polukhina. Joseph Brodsky: The Art of a Poem. London: Macmillan Press, 1999. P. 107–149.*

** *Доната Митайте. Томас Венцлова. М., 2005.*

*** *Соломон Волков. Диалоги с Иосифом Бродским. М., 1998.*

**** *Виктор Куллэ. Иосиф Бродский: парадоксы восприятия. [Электронный ресурс]. URL: http://magazines.russ.ru/novyj_mi/redkol/kulle/articles/brodskuz.html. Также см.: Куллэ В. Иосиф Бродский: парадоксы восприятия. (Бродский в критике З. Бар-Селлы) // Structure and Tradition in Russian Society / Eds. J. Andrew, V. Polukhina, R. Reid. Helsinki: Slavica Helsingiensia, 1994. Vol. 14. P. 64–82.*

***** *Beata Pawletko. Josif Brodskij i Tomas Venclova wobec emigracji. Katowice, 2005.*

мянутая моя статья из журнала «Звезда», опубликованная в 2001 году в альманахе «Krasnogruda».*

Летом 2006 года, к 40-летию первого приезда Бродского в Литву, в Доме-музее семьи Венцлова в Вильнюсе собрались друзья Иосифа — Томас Венцлова, Пранас Моркус, Эля и Ромас Катилиюсы. В присутствии представителей средств массовой информации и просто интересующейся публики мы попытались устроить нечто вроде мозговой атаки: все четверо говорили все, что могли вспомнить о тех днях, сравнивали свои воспоминания, поправляли друг друга, пытались уточнить даты и обстоятельства. Такой «оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности» (определение *brainstorming'a*) оправдал себя. Журналист Гедиминас Землицкас на этом материале, дополнив его, сделал для своей газеты «сериал» из 11 больших публикаций.**

Немало книг, затрагивающих тему связей Иосифа Бродского с Литвой, увидело свет в 2010 году к 70-летию юбилею Бродского. В издательстве журнала «Звезда» вышла третья книга Валентины Полухиной «Иосиф Бродский глазами современников»***, содержащая интервью с друзьями, знакомыми, издателями Бродского. В начале того же года в петербургском издательстве Лины и Фаддея Перловых появились первые две книги интереснейшей, насыщенной фотоматериалами серии — «Венеция Иосифа Бродского», автор-составитель Михаил Мильчик****, и «Иосиф Бродский в Литве», автор-составитель Яков Клоц*****. В 2013 году эта серия пополнилась также великолепно изданной

* *Ramūnas Katilius. Josif Brodski i Litwa // Krasnogruda. 2001. Nr. 13. P. 187–191.*

** *Mokslo Lietuva. 2006, Nr. 15–22; 2007, Nr. 1–3.*

*** *Валентина Полухина. Иосиф Бродский глазами современников. СПб., 2010.*

**** *Михаил Мильчик. Венеция Иосифа Бродского. СПб., 2010.*

***** *Яков Клоц. Иосиф Бродский в Литве. СПб., 2010.*



Рамунас Катилиус и Томас Венцлова на презентации книги в Вильнюсе. Февраль 2013. Фото Александры Яцовските

книгой «Иосиф Бродский в ссылке», автор-составитель Михаил Мильчик*, в комплекте с записанными на компакт-диск стихами того периода, которые читает сам Иосиф Бродский. Еще одним поводом для радости стала книга близкого Вильнюсу и вильнюсцам петербургского историка и литератора Якова Гордина «Рыцарь и смерть, или Жизнь как замысел»**, под обложкой которой собраны воспоминания и эссе об Иосифе Бродском, написанные Гординым за прошедшие два десятка лет.

Литовское издание книги***, которую вы сейчас читаете, также вышло в свет в начале 2013 года и с успехом было пред-

* Михаил Мильчик. Иосиф Бродский в ссылке. СПб., 2013.

** Яков Гордин. Рыцарь и смерть, или Жизнь как замысел: О судьбе Иосифа Бродского. М., 2010.

*** Josifo Brodskio ryšiai su Lietuva. Draugų atsiminimai / Sudarė Ramūnas Katilius. Vilnius, 2013.

ставлено на Вильнюсской книжной ярмарке. Поток не иссякает, и мы, разумеется, увидим в дальнейшем еще немало посвященных Иосифу Бродскому интересных публикаций, написанных и изданных на разных языках.

С 1996 года немалое внимание Бродскому стали уделять литовское радио и телевидение. Передачи по радио звучали и звучат стараниями журналисток Нины Мацкевич и Регины Германавичюте. Журналисты Виталий Каракорский, Алла Асовская, Зита Чапайте сделали интересные передачи по телевидению, в том числе с участием гостивших в Вильнюсе в разное время друзей Бродского: поэта Евгения Рейна, ветерана Русской службы Би-би-си Ефима Славинского, московских режиссеров Камы Гинкаса и Генриетты Яновской.

Говоря о теме «Бродский и Литва», следует сказать о проникновении Бродского в школу — и в среднюю (как в литовскую, так и в русскую), и в высшую. Учебное пособие для старших классов гимназий и средних школ «Русская литература. Часть 2», написанное педагогом Розой Глинтерщик и изданное в 1995 году, содержит большой раздел «Иосиф Александрович Бродский».* Мне случилось быть гостем на вечере, посвященном памяти Иосифа Бродского, в литовской средней школе в Вильнюсе, вечер был замечательным. Студенты отделений славистики Вильнюсского университета и Вильнюсского педагогического университета охотно выбирают для своих работ темы, связанные с творчеством Бродского. Я прочитал полуторачасовую лекцию о жизненном пути Бродского в упомянутом выше Еврейском центре. Несколько лет назад в Вильнюсском доме учителя состоялся вечер памяти Иосифа Бродского для учителей русской литературы.

* Роза Глинтерщик. Русская литература. Kaunas, 1995.

Посвященные Бродскому памятные мероприятия

После того как Иосифа Бродского не стало, в Литве состоялось несколько вечеров, посвященных его памяти. Первый вечер был в марте 1996 года в Доме открытой Литвы на улице Св. Иоанна в Вильнюсе.

Существенным событием культурной жизни Литвы стал вечер памяти Бродского, состоявшийся в Вильнюсе в июле 1996 года. В нем приняли участие Чеслав Милош, Евгений Рейн, Томас Венцлова. Несмотря на сезон отпусков и июльскую жару, собралось очень много народу, просторный университетский зал был переполнен. Молодежь стояла и сидела даже на сцене, у ног выступавших.

Отмечу также выставку, посвященную 60-летию Иосифа Бродского, в Литовской национальной библиотеке в мае 2000 года. На одной из витрин красовался договор с издательством «Vyturys» об издании двуязычного сборника стихотворений за подписью Бродского.

Цепь мемориальных событий 2 октября 2000 года замкнуло открытие в Вильнюсе на фасаде дома 1 по улице Лейкинос мемориальной доски в память о пребывании Иосифа Бродского в Литве. Надпись на доске гласит:

ŠIAME NAME
SVEČIUODAMASIS VILNIUJE
1966–1971 METAIS APSISTODAVO
NOBELIO PREMIJOS LAUREATAS
POETAS
J. BRODSKIS*

* В этом доме, гостя в Вильнюсе в 1966–1971 годах, останавливался лауреат Нобелевской премии поэт *J. Brodskis*.

Церемония открытия доски была весьма многолюдной. В ней приняли участие гостившие в те дни в Вильнюсе три лауреата Нобелевской премии — Чеслав Милош, Вислава Шимборска и Гюнтер Грасс. С речью выступил Валдас Адамкус, в то время президент Литовской Республики, замечательно подчеркнувший духовное родство поэта с Литвой. Вести церемонию честь выпала мне. Благодаря диктофонным записям Донаты Митайте у нас есть возможность привести выдержки из некоторых выступлений.*

Из выступления президента Валдаса Адамкуса:

[...] Вся жизнь поэта явилась доказательством того, что стремление к свободе и мощь настоящего таланта не могут задавить никакие внешние обстоятельства. Духовное родство поэта и Литвы было отмечено знаком свободы и творчества. Мультикультурный Вильнюс сегодня еще раз вспоминает одного из своих духовных граждан. Иосиф Бродский остается здесь, близкий и свой на все времена, как часть культурной ауры города, как неповторимый участник вечного диалога культур. [...]

Далее от имени мэрии Вильнюса выступил Альгирдас Кудзис, затем слово было предоставлено лауреату Нобелевской премии Чеславу Милошу, сказавшему по-русски:

Иосиф Бродский был мой друг, и он говорил, что литовцы — самая хорошая нация в империи.

* Перевод автора.



**Гюнтер Грасс,
Чеслав Милош,
Томас Венцлова
и Вислава Шимборска
на церемонии
открытия
памятной доски**

Фото Альгимантаса Александревичюса

Потом Томас Венцлова прочел свое стихотворение, посвященное Бродскому, отметив, что, создавая стихотворение, он имел в виду квартиру Бродского в Петербурге, но многие строчки подходят и к этому месту. Затем был назван автор памятной доски — скульптор Владас Канчяускас. Ее установку поддержали Министерство культуры и самоуправление города Вильнюса, а также друзья поэта и почитатели его поэзии.

Доску торжественно открыла поэт, лауреат Нобелевской премии Вислава Шимборска, сказавшая по-польски:

Не ожидала, что мне доведется принять участие в таком приятном мероприятии. Мне выпала честь быть знакомой с Иосифом Бродским, даже долгое время. И еще большей честью для меня было внимательно следить за его поэзией. [...]

Церемония завершилась под звуки Моцарта.

И в дальнейшем в разных городах Литвы время от времени проводились встречи, так или иначе связанные с именем и творчеством Иосифа Бродского. В июне 2001 года в Аникшяй на конференции той самой ассоциации Santara-Šviesa, на одном из съездов которой в Америке 25 лет назад выступал Иосиф, также были представлены доклады о творчестве Бродского. А в июле 2009 года в Вильнюсе проходил очередной международный литературный семинар, который проводят ежегодно в разных странах Михаил Иоссель и монреальский Университет Конкордия.* Для слушателей семинара, «пишущих и желающих писать», автор этой статьи прочел лекцию «Воспоминания об Иосифе Бродском: литовские аспекты».

В 2014 году в Паланге по инициативе Пранаса Моркуса, поддержанного друзьями Бродского и ценителями его таланта, имя Иосифа Бродского было присвоено одному из расположенных в центре города пешеходных мостиков через речку Раже, на нем открыт памятный знак. В ходе церемонии мостик «крестили» водой из четырех рек, имевших значение для поэта: Невы, Тибра, Иордана и Вильняле, вылитой в волны Раже.

От составителя русской версии книги. Добавим, что в ходе мероприятий, проходивших в мае 2015 года в связи с 75-летием со

* SLS, Summer Literary Seminars. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sumlitssem.org/>.

дня рождения Иосифа Бродского, состоялся видеомост между друзьями, исследователями и любителями поэзии Бродского, собравшимися, с одной стороны, в помещении экспозиции «Американский кабинет Иосифа Бродского» в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге, а с другой стороны, в гостиной Дома-музея семьи Венцлова в Вильнюсе. А также в те дни в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие Музея-квартиры Бродского в «полутора комнатах» в доме Мурузи. (Правда, экспозиция его еще не готова.)

Конференция в Вильнюсе — 2010

В 2010 году Иосифу Бродскому исполнилось бы 70 лет. Этот год стал в некотором роде международным годом поэта. Различные конференции, симпозиумы, вечера памяти, выставки состоялись в России (в том числе в Петербурге — две конференции и выставка рисунков поэта, в Москве — вечер в резиденции посла США и встреча с друзьями поэта в книжном магазине «Библио-Глобус»), в Соединенных Штатах (в том числе в колледже Маунт-Холиоук, в котором поэт долгие годы преподавал), в Италии (в Венеции была открыта памятная доска на набережной, описанной поэтом*). В Литве, в Вильнюсе и частично в Каунасе с 31 мая по 3 июня прошла международная конференция, посвященная 70-летию поэта. Особых сложностей с поиском тем и участников у организаторов не было. Приближающийся юбилей так рано покинувшего нас поэта напомнил нам, его друзьям, о собственном возрасте, о необходимости — пока не поздно — делиться нашей близостью с Иосифом, воспоминаниями об

* Zattere allo Spirito Santo, между каналами rio de San Vio и rio de la Toresale.

общении с ним. Воспоминаниями нередко весьма богатыми: о долгих прогулках по набережным ленинградских каналов или улочкам Старого города в Вильнюсе, о длившихся часами разговорах, насыщенных мыслями, эмоциями и юмором. О том, как Иосиф с удовольствием раздавал свои рукописи, даже черновики, друзьям, как читал им свои стихи.

Так что мы просто пригласили в Вильнюс друзей Иосифа поделиться воспоминаниями. Но это лишь один из аспектов. В целом ряде стран уже сформировалось поколение молодых исследователей литературы, которым не выпало счастье быть лично знакомыми с поэтом, но которые захвачены его творчеством и посвящают немало времени серьезным, глубоким и искренним исследованиям. Для них конференция в Вильнюсе могла стать — и стала — прекрасной трибуной, позволяющей поделиться результатами своей работы с широкой, квалифицированной и заинтересованной аудиторией.

Таким образом, идея конференции в Вильнюсе родилась из желания почтить память великого поэта и собрать вместе «стариков» и «молодых», объединить их творческие силы. К великой радости устроителей, тут же выяснилось, что конференция соберет гостей из множества стран. С большим энтузиазмом сразу же откликнулись близкие друзья Иосифа — Бент Янгфельдт из Швеции, англичанка Фейт Вигзелл, петербуржцы Михаил Петров и Михаил Мильчик, москвичка Людмила Сергеева. Заинтересованность проявили и молодые исследователи — Денис Ахапкин, Антон Нестеров, Яков Клоц.

Непосредственные заботы по организации конференции взяли на себя Дом-музей семьи Венцлова, фонд Юргиса Балтрушайтиса, Русский культурный центр в Вильнюсе. Не остались в стороне также Министерство иностранных дел Литвы,

самоуправление Вильнюса, музыкальный салон «Piano.lt». В ходе конференции было представлено более 20 докладов. Первое торжественное заседание прошло в зале самоуправления Вильнюса, мне выпала честь открыть конференцию и предоставить слово для приветственной речи экс-президенту Валдасу Адамкусу. С большим удовольствием я напомнил собравшимся, что десять лет назад, в 2000 году, бывший в то время действующим президентом Литвы Валдас Адамкус произнес выразительную речь на церемонии открытия памятной доски Иосифу Бродскому. Вторая его речь, произнесенная в ходе открытия конференции, была не менее эмоциональной и богатой (перевод мой).

Как хорошо, что у нас снова есть повод вспомнить человека [...], постоянно расположенного и ощущавшего благодарности, видимо, за то, что в самые неблагоприятные для себя времена [он], оклеветанный и осужденный советской системой, нашел в Литве в некотором роде островок душевного покоя. Безусловно, в первую очередь это связано с друзьями, но хорошо заметно, как его любовь к Литве постоянно расширялась, распространяясь на Вильнюс, литовское побережье, потом — на наше государство и народ, нашу историю и культуру. Все это слилось в единое целое. Это было нечто значительно большее, чем просто благодарность, реверанс [...]. Слова Иосифа Бродского были и остаются наполнены духовной свободой, не вмещающейся ни в свою эпоху, ни в свою географию, и Литва стала частью этой свободы. Судьба поэта напоминает нам и будет напоминать следующим поколениям, что ценности и идеалы, истина и свобода побеждают [...].

Советская империя полагала себя всемогущей, способной распоряжаться по своему усмотрению судьбами целых народов, не говоря уж об отдельном человеке. Прошло двадцать лет — в масштабах истории это лишь краткий миг — и советской империи нет больше, а слова поэта, которого она преследовала, остаются в веках. Интересы приходят и уходят, а ценности остаются. Можем лишь радоваться и благодарить судьбу за то, что для Иосифа Бродского Литва была ценностью, а сам Иосиф Бродский и его творчество были и навсегда останутся ценностью для Литвы. [...]

От имени премьер-министра Литовской Республики Андриуса Кубилюса участников конференции приветствовал его советник Виргис Валентинавичюс, затем последовало приветственное выступление мэра Вильнюса Вилюса Навицкаса. В тот же вечер Министерство иностранных дел устроило для участников конференции прием в легендарном кафе «Неринга», на котором произнес речь министр иностранных дел Аудронюс Ажубалис.

На первом заседании о своих встречах с Иосифом Бродским рассказал известный польский диссидент, журналист, многолетний главный редактор «Газеты выборов» Адам Михник. Друг Иосифа с юности, физик, профессор Михаил Петров показал редкие фотографии семьи Бродских, снятые им в 1991–1995 годах в Англии и Америке. В этот первый день прозвучали также выступления Томаса Венцловы, дочери Виктора Ворошильского Натальи, представляющих Музей Анны Ахматовой в Петербурге Нины Поповой и Ирины Бородиной.

По приглашению ректора Каунасского университета Витаутаса Великого во второй день конференции, 1 июня, участники посетили Каунас, где приняли участие в церемонии присужде-

ния звания почетного доктора Honoris Causa Томасу Венцлове. Хватило времени и на прогулку по Каунасу — насыщенной экскурсией «по следам Иосифа Бродского» руководил Яков Клоц.

В третий день заседания проводились в Старом городе Вильнюса, в старинном помещении, входящем в комплекс бывшего францисканского монастыря, где ныне располагается «Piano. It». День был посвящен докладам исследователей творчества Бродского, вел заседание литературовед, семиотик Кястутис Настопка. Выступали Беата Павлетко (Катовице, Польша), петербуржцы Татьяна Никольская и Денис Ахапкин, Валентина Брио (Иерусалим), москвич Антон Нестеров, Доната Митайте, Яков Клоц. В конце дня большой интерес собравшихся вызвали новые книги, посвященные Иосифу Бродскому: историк искусства, близкий друг Иосифа Бродского Михаил Мильчик представил две только что вышедшие, богато иллюстрированные книги — свою «Венеция Иосифа Бродского»* и «Иосиф Бродский в Литве»** Якова Клоца. В презентации приняли участие и сами издатели — Фаддей и Лина Перловы. Во второй половине дня под предводительством Якова Клоца состоялась экскурсия «по следам Бродского» по старому Вильнюсу, завершившаяся неожиданно представившейся возможностью проинкнуть на несколько минут во двор дома 1 по улице Лейиклос, который хранит еще эхо шагов поэта.

Последний день конференции проходил в Доме-музее семьи Венцлова (в нем в детстве и юности жил Томас Венцлова). Вел заседание известный шведский славист, автор ряда книг о русской литературе, приятель Иосифа Бенг Янгфельдт. Сравнительно

* Михаил Мильчик. Венеция Иосифа Бродского. СПб., 2010.

** Яков Клоц. Иосиф Бродский в Литве. СПб., 2010.

небольшое помещение гостиной музея было переполнено. Прозвучали воспоминания Людмилы Сергеевой, Фейт Вигзелл, Пранаса Моркуса, Юозаса Тумялиса, а также и мои. В завершение конференции участники получили возможность посмотреть два чрезвычайно интересных документальных фильма. В фильме шведского телевидения супруга Бента Елена Янгфельдт-Якубович беседует дома у Янгфельдтов с Иосифом Бродским о великих русских поэтах XX века — Ахматовой, Цветаевой, Мандельштаме, Пастернаке. Сильное впечатление произвел и фильм молодого московского режиссера Романа Либерова «Разговор с небожителем», представленный автором.*

В заключение — свидетельство Якова Гордина

Закончить я хочу цитатой из интервью историка, публициста и литератора, бессменного соредактора петербургского журнала «Звезда» с 1992 года Якова Гордина, ближайшего друга Иосифа Бродского с незапамятных времен. Тема интервью, данного Гординым «Российской газете» в июне 2010 года, — его книга «Рыцарь и смерть...». Отвечая на вопросы обозревателя газеты Елены Елагиной, Яков Гордин на правах друга Иосифа Бродского решает обозначить условно счастливые периоды доэмигрантской жизни Бродского. И выделяет среди них Литву. Я знаю Гордина много лет и знаю его объективность. Поэтому считаю его свидетельство того, что Литва занимает особое место на условной шкале «счастья» поэта, не

* К сожалению, по ряду причин и в настоящее время (июнь 2015. — *Примеч. составителя*) материалы конференции остаются неизданными. Сама конференция, безусловно, стала видным событием в культурной жизни Литвы и достойной вехой в ходе освоения творческого наследия поэта.

просто литературной гиперболой. Мы можем этим гордиться. Вот эта цитата*:

РГ: А как Вы думаете, был он счастлив в жизни?

ГОРДИН: Трудно сказать. Я не думаю, что он когда-либо мог чувствовать себя абсолютно счастливым человеком. Был у него очень хороший период — самое начало 60-х. Несмотря на то, что его уже в 1961 году вызывали в КГБ, а в 1962 году на 3 дня задерживали. Это был момент его огромной популярности в молодежных кругах, это был период необычайно интенсивной работы [...]. Потом, я думаю, неплохое для него время было после ссылки [...]. Кроме того, он много ездил: Литва, Армения...

РГ: Его туда приглашали с выступлениями?

ГОРДИН: Его приглашали друзья — по-дружески, а не официально. В Литве он читал в дружеском кругу. Пригласил его туда Андрей Сергеев, замечательный переводчик, ставший его близким другом. Там Иосиф познакомился с Томасом Венцловой, с Ромасом Катилюсом, которые тоже стали его друзьями. Литва была для него очень важным местом. [...]

* Цит. по: Елена Елагина. Жизнь как замысел // Российская газета. № 5203, 9 июня 2010 г. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rg.ru/2010/06/08/brodsky-poln.html>.

*Воспоминания, письма,
выдержки из дневников*

ПРАНАС МОРКУС

Слово «империя»

Память — что вдова Сезанна. Никак ее не трогавшую и потому лишенную значения живопись она грузила под крышу дома. Иногда — для расчистки пространства — в чердачное окно кое-что выкидывала, когда по соседству останавливалась повозка. Наконец, ее навестил знаменитый Воллар, и оставшееся было сброшено в его повозку. Так дом опустел.

Увы, увы, столько в жизни встреч, сколько лиц, сновидений, и все мимо, все тонет в потоке. Вот и носим с собой неизвестно чей скошенный взгляд, покачивающуюся на ниточке пуговицу блузки, ночное оживание лифта в глубинах шахты за стенкой, некстати произнесенное слово, конечно, приступ скуки в каком-либо ожидании, время, кем-то названное репетицией смерти.

Знакомство с Иосифом Бродским, как и со всеми в пору юности, состоялось как бы между прочим, казалось само собой разумеющимся, о расставании навсегда, без прощального взмаха не думалось.

Все меньше ныне остается тех, кто тогда, добрых полвека тому назад, жил, так что стоит кое-что пояснить: 1962-й, готовящиеся

к запуску русские ракеты у берегов США, блокада Кубы, смертоносные ультиматумы держав друг другу. Так уж, кстати, совпало, что в тот роковой год многих из нас одного за другим настигали любовные катастрофы. Предчувствие приближающегося конца света той болью частично разбавлялось. Мнилось, нашему поколению отведен спринт. Но вот сразу после старта нас догнало сообщение — продолжительность дистанции изменена. По рукам, припоминаю, роман такой ходил — «Одиночество бегуна на длинные дистанции».

Вот в те дни, задолго до знакомства с Бродским, где-то прочитал и стал повторять те две его строки:

Ведь если можно с кем-то жизнь делить,
то кто же с нами нашу смерть разделит?*

Даже перевел их для себя на литовский. Костер Карибского кризиса шипел, шипел, в конце концов погас, сентябрь да и октябрь к ноябрю и вовсе позабылись, а меня судьба забросила в Москву на Высшие сценарные курсы.

Сразу после Дня поминовения, по выходе в свет «Одного дня Ивана Денисовича», взошла звезда Солженицына. А в конце того же месяца, раздраженный неудачами очередной пятилетки и униженный по результату сумасбродной кубинской авантюры, Хрущев попытался отыграться на интеллигентах. Предлогом стала выставка московских художников в Манеже. Словно в подворотне возле пивняка размахивал кулаками и выражался, хватая художников и скульпторов за грудки: «Ты пидарас? Не уваливай, по изваяниям видать, что пидарас!» Возгласы

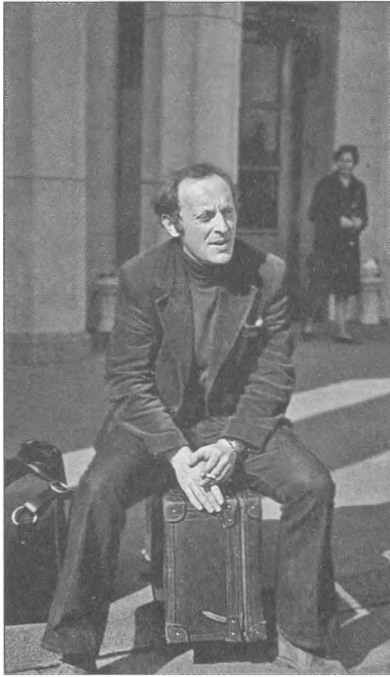
* «Большая элегия Джону Донну».

о вырожденческом искусстве следовало расслышать всем надевшимся на общие послабления режима. Круги, как и полагалось, тут же разошлись до самых до окраин. В Литве это выразилось в гротескной травле Ромуалдаса Ланкаускаса за его невиннейшую повесть «Мост в море».

Путешествуя летом по Литве, на автовокзале райцентра Вилкавишкис я прочитал в местной газете сетования, что районные коммунисты, дескать, вяло реагируют на проявления абстракционизма и ягодки уже налицо: только что отловлены *угонявшие* велосипеды фэзэушники.

Под сенью Высших сценарных курсов нашел себе приют отборный питерский десант. Те, с кем я сдружился, — Илья Авербах, Евгений Рейн, Анатолий Найман — соотносились с кружком Бродского. С Найманом мы снимали комнаты в соседних домах по Измайловской линии метро. И вот в одно зимнее утро он неожиданно ко мне нагрнулся. Выгудил из-за пазухи несколько машинописных страничек и, держа стопочку за уголок, словно они были горячими, сообщил: только что доставлены ночным экспрессом из Северной столицы. «Большая элегия Джону Донну», которую он тогда прочитал, ныне переведена на десятки языков. Столько лет, столько зим, уж и жизнь клонится к закату, а с тех пор впечатление от расширения крохотной горошины аж до пределов мироздания все не угасает.

Джон Донн уснул, уснуло все вокруг.
Уснули стены, пол, постель, картины,
уснули стол, ковры, засовы, крюк,
весь гардероб, буфет, свеча, гардины.
Уснуло все.



На площади перед аэропортом Пулково
4 июня 1972 года. Фото Михаила Мильчина

В молодости состояний своих любовных дел не скрывают, перипетии (особенно если они не ахти) становятся достоянием окружающих сразу же. Вот и на курсах, в перерывах между лекциями и просмотрами класски кино, злоключения поэта комментировались друзьями возвышенно и аналитически. Ну а потом ночные поезда стали доставлять в Москву ленинградские газеты, в которых требовалось пресечь да со всей строгостью осудить «поэтом себя именующего жалкого тунеядца», и личное сразу лишилось актуальности. Летом 1964-го наша учеба

завершалась, курсисты возвращались кто куда. Лишь из «Голоса Америки» в Литву залетела весть, что на Север, место ссылки поэта, друзья доставили необходимое — пишущую машинку. Не ту ли самую, которая была единственным запечатленным на прощальной фотографии, уместившимся в чемоданчик, вывезенным в свободный мир добром? Чемоданчик на ступенях аэропорта я лет через пять вспоминал, запихивая в багажник своего автомобиля набитый книгами чемодан другого поэта. Мы тронулись к железнодорожному вокзалу, к московскому поезду, готовящемуся завезти Томаса Венцлову к самолету на Запад. А сам невозвращенец и лишенец советского гражданства любит рассказ о неприметном узелке Чеслава Милоша, когда тот из общегития посольства Польской Народной Республики втихаря смывался под крышу парижской «Культуры». Не даром Милош позднее определял себя бродячим писаришкой с чернильницей на поясе.

Что ж, первая встреча с Бродским казалась вполне обыденной, да и вовсе не первой. Иосиф, впрочем, из толпы ничем не выделялся, выглядел так же, как мы все. Но таким же, как мы, уже не был. Что сохранила память из первых разговоров? Чуть ли не в самый вечер встречи произнесенное им слово «империя», часто возникавшее и в дальнейшем. Кому еще пришло бы в голову сравнить шляющихся по улицам синеносых красноармейцев с марширующими по просторам столетий легионерами? Для кого же еще сквозь ругательства на заборах и стенах прочитывалось нетленное величие латинских сентенций? Нас, однако, слово это приятно тешило — одной лишь силой произнесенного поставленная на колени колония, презрительно обзываемая союзной республикой, хоть на миг могла возомнить себя Киренаикой, Киликией, Иллирией или хотя бы Дакией, местом ссылки

Овидия. «Империя» нас определяла в славную семью римских провинций. Вот ведь позже, в иные времена, Овидия вспомнил в своей речи и президент Адамкус, открывая мемориальную доску на доме по улице Лейиклос. То, что отмечен именно этот, а не какой-нибудь другой дом, в котором останавливался поэт, определили по меньшей мере два обстоятельства. Именно там, в высоких комнатах квартиры Катилиусов с полом из широких по старинке досок, именно там для теснившихся вокруг круглого дубового стола слушателей впервые прозвучали самим Иосифом Бродским декламируемые стихи. Сквозь затененные вьюнком балконные двери и невесть как обнаружившийся между тесными стенами двора просвет проник вовнутрь и осветил сумрак золотистый луч закатного солнца. Я перешел в соседнюю комнату, чтобы слышать только голос.

Эх, если б мы тогда знали, что в начале века эта же самая стена, только с другой стороны, впитала голос еще одного великого человека — Теодора Герцля. Если б мы вообще знали про Вильнюс хоть столько, сколько успели сейчас... Увы. Бродили по глухонемому городу в сопровождении бездомного запыленного котенка. Когда дошли до луга на берегу Вильни возле моста на Мельничной, Бродский внезапно наклонился и, подняв нечаянного спутника, усадил его на плечо. Тот сразу ожил, тут же принялся ласково тереться о висок, поэт застыл, а я опустил глаза — так бывает, когда нечаянно узнаешь чужую тайну. Подобное я наблюдал во второй раз, а в первый оно означало обделенность мужчины женской лаской.

Квартира же на Лейиклос в те транзитные годы нашей жизни была надежнейшим убежищем. Там можно было и обогреться и остыть, там терпели наши юродства, утоляли как могли наши

боли, и, до тех пор пока благословенный приют нас принимал и объединял, ничто не распалось, никто не умер, ни один завет не был нарушен!

Хозяином приюта был Виргилиус Чепайтис, несравненным трудолюбием превзошедший самого Томаса Венцлову, вдохновитель и работник издательства «Эглюте», выпустившего в свет не менее двух десятков машинописных самиздатовских брошюрок на литовском и русском языках, автор многих новелл, правда, так умело спрятанных, что никем никогда не читанных, вроде поместившихся на одной страничке «Приключений Джима Бембея», похожих на апории Зенона, хозяин, непоколебимо лояльный и обязательный, создатель ужасающих, раздирающих нутро кулинарных рецептов — словом, человек всесторонне талантливый. С Иосифом они спелись мгновенно, посему кто же, как не он, мог стать соавтором Овидия в ходе составления разительно обценного рукописного альманаха «Правда-матка»? Из того легкой подростковой рукой сбаванного сочинения позволю себе процитировать не более одного четверостишия:

С кем живет Индира Ганди?
Если верить пропаганде,
Речь идет о Радж Капуре.
Дом свиданий — в Сингапуре.

Когда Виргилиус по прошествии четверти века, в первый же год независимости, трудился над законом о десоветизации, наши враги дали сигнал к началу травли. И вот он, преданный, стоял один-одинешенек против разъяренной своры, и только Иосиф, сам испытавший коварство и жестокость выкормышей режима,

сразу разобрался что к чему и без тени сомнений громко заявил о солидарности с гонимым.

Из наших с Бродским блужданий по Литве на салатного окраса «москвиче» надлежит рассказать об одном по сей день лишь отчасти объясненном происшествии где-то в лесных окрестностях Рудни. Мы катили по мягкой пыльной тропе. Вдруг из кустарника, как черти из табакерки, возникли двое. Велели остановиться. Мы вышли. Пока один взглядом, потом ладонью обшаривал салон и проверял багажник, второй, приклонив колени на песочек, скрючился, чтоб осмотреть днище машины. Что он там надеялся увидеть — полностью сплющенного человека или какое-то адское оборудование? Выпытав, откуда мы и куда, наказали следовать другой дорогой, затем исчезли так же внезапно, как появились. Отвечал на вопросы я, Иосиф не произнес ни слова, держался в сторонке. Теперь, когда прочитаны его отчаянные «Письма к стене», решусь представить себе, какое развитие лесной неожиданности ему могло мгновенно примерещиться.

Ну да, недоумевали мы, огибая лес, дорога, видать, проходит в некой близости от какой-нибудь ракетной базы, нацеленной, скажем, на Лиссабон, — но почему же они в гражданском, почти что в пижамах?

Еще одна поездка — в направлении Каунаса. Лишь только мы въехали на Добровольческий проспект, Иосиф радостно воскликнул: «Смотри, смотри, летим по изнанке перевернутой палубы!» Я всмотрелся: точно, чуть ли не до середины улицы выгнутые фонарные столбы — чем не остов корабля? Увиденное, услышанное, приснившееся — все мгновенно обрабатывалось, становилось материалом для преобразования. И это шло так же, как ежесекундные вдох и выдох. Физик Миша Петров как-то

рассказывал: друг его однажды привязался, требуя разъяснить устройство атомной бомбы. Получив в конце концов схему, сложил аккуратно листик и убрал в карман рубашки. Потом почти сразу ушел. Неужели он и это каким-то непостижимым способом вплавил в свою поэзию?

А вот продолжение того путешествия, как ни убеждали спутники, что оно было, — как ни крути — не восстанавливается. Но, быть может, именно тогда мы заглянули в придорожный ресторанчик, унитаз которого был монументально забетонирован, а рядом зияла прорубленная в полу дыра? Правда, поверивший той дыре отчаянно рисковал, поскольку внизу кипели ремонтные работы, вились сплетения оголенных проводов и сновали, подсвечивая себе фонариками, темные, вроде женские, фигуры. Зрелище определенно напоминало изображение преисподней на дидактических картинках и так или иначе грозило решившемуся на уринузацию неизбежным наказанием — электрическим разрядом куда не надо. Не исключена была и возможность физической расправы со стороны разъяренных вакханок подземелья.

Не бог весть что осталось бы в памяти и от другой поездки, если б не появившиеся в печати воспоминания одного польского ксендза, опубликованные в наши дни, посмертно. Кто уж теперь отследит, откуда взялся обычай тех времен возить за город гостей Вильнюса — к храму, воздвигнутому по проекту архитектора-классициста Лауринаса Гуцявичюса. Следовал примеру и я. Хозяином прихода тогда был крепкий и гостеприимный ксендз Трусевич. Он раскрывал ворота ротонды всем пришельцам и обязательно предлагал подняться на опоясывающую купол узенькую галерею и там повернуться лицом к стене. Сам он тогда шептал что-нибудь в стену, стоя

на противоположном конце галереи, при этом гость все произнесенное ясно улавливал.

В Судерве я бывал не раз, так что не составило труда восстановить в памяти спину Иосифа, по ступеням вслед ксендзу восходящему в плебанию, в углу которой, я знал, притулилась небольшая фисгармония. В том, что ксендз Трусевич раскрыл человечеству секрет их беседы, греха не было.* С точки зрения канона это не считается исповедью, а лишь попыткой поэта в третьем лице поделиться тем, что его мучило. Внезапный импульс получить совет духовного лица, как сейчас понимаем, являлся потребностью в исповеди и одновременно первой встречей Бродского лицом к лицу с католическим ксендзом, если не со священником вообще. Можно предположить, что после того разговора его боль приутихла. Не зря в следующую поездку, год спустя, Иосиф позвал с собой профессиональную органистку, чтобы отблагодарить хозяина часовым концертом, раскрывшим подлинное звучание старинного органа. Каким же он был щедрым!

Прощаясь той далекой зимой, мы твердо условились, что он обязательно проведет весну у меня в Ужканаве, деревне к северу от Паланги, где послевоенными ночами высаживались и тут же пропадали приплывшие из Швеции десанты. Что ж, жизнь сложилась иначе, теперь уж свидимся разве что за большим столом, там, в одной компании с теми десантниками.

Что же до империй, то они, как и пристало большой воде, то заливают всю округу, то попеременно отступают, подсыхая, оставляют немало слизкого ила, гнилья, задыхающихся рыбин, но и кое-чего еще. Британцы научили колонии самоуправлению,

* Подробнее см. с. 35–39 настоящего издания.

французы оставили им язык, а русские? Инвентаризация продолжается. Когда же все потери и приобретения будут учтены, осме-
люсь к последним добавить несколько строчек нашего Овидия:

Над холмами Литвы
что-то вроде мольбы за весь мир
раздается в потемках... —

хрустальное прозрение, как в повести Проспера Мериме
«Локис».

ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВА

Иосиф Бродский и Андрей Сергеев

Впервые о Бродском мы услышали в мае 1961 года от А. А. Ахматовой, когда навестили ее в Ленинграде. Она сказала тогда: «Профессор Максимов хвалил молодого ленинградского поэта Иосифа Бродского». Но сама она еще не была знакома с Бродским и явно не читала его стихов. Анна Ахматова познакомится с Иосифом 7 августа 1961 года и полюбит его самого и его стихи. В 1963 году мы встретились на пляже в Паланге с Толей Найманом, с которым к тому времени были знакомы, хоть и не коротко. Андрей спросил Толью о Бродском, тот сказал, что у него есть с собой стихи Иосифа. На следующий день мы сидели в палангских дюнах у Балтийского моря с толстой пачкой машинописных листов и читали стихи. Прочли все, не отрываясь, хотя стихи были разные — обычные для молодого горожанина, такое в то время писали многие поэты, которых не печатали. Но вот длинные его вещи, где был большой разбег для большой мысли, для версификаторского умения наконец, для длинного поэтического дыхания, поразили нас — такой молодой, такой ни на кого не похожий и такой невероятно талантливый. «Такая

мощь, прямо русский восемнадцатый век», — резюмировал Андрей Сергеев. Обращение к библейскому сюжету совсем молодого человека и очень личная интерпретация этого сюжета были подобны чуду в Советской стране начала шестидесятых годов. В это время почти всех еще занимал миф о Сталине и Ленине, с ним не могли разобраться, да не разобрались многие и поныне. Какой уж тут Ветхий Завет! Иосиф Бродский взял нас за душу, захотелось с ним познакомиться.

В жизни, как известно, все рифмуется. Вскоре Андрею позволила Анна Андреевна Ахматова и попросила помочь Иосифу с переводами. В самом начале января 1964 года Иосиф пришел к нам на Малую Филевскую улицу. Ахматова любыми способами пыталась задержать Иосифа в Москве, понимая, что в Ленинграде его ждет расправа. Но он рвался домой. Объяснил, что у него проблемы с любимой и его присутствие в Ленинграде не терпит отлагательств. Все это говорилось доверительным тоном, как будто мы давние хорошие друзья, с какой-то виноватой улыбкой, но непреклонно. Было ясно, что никто остановить его не сможет, да и не в праве. От нас он отправился в Ленинград — как оказалось, прямо на этот мерзкий суд.

Иосиф вошел к нам, как солнце, и все засветилось в нашей квартире окнами на северо-запад. Он был «красивый, двадцатидвухлетний», открытый, молодой, рыжий, с милыми веснушками, улыбчивый, с отменным чувством юмора, невероятно обаятельный, такое обаяние может прошибать стены. Мы сразу подпали под его волшебное обаяние. Говорили захлеб часа два. Андрей дал Иосифу тексты австралийцев для перевода, Андрей был соредактором книги «Поэзия Австралии — XX век». Мы в один голос хвалили Иосифовы «Холмы», особенно «Исаака и Авраама», а Иосиф делал реверансы в сторону Андрея за

переводы Роберта Фроста, которые, оказывается, ходили в сам-издате, и Иосиф полюбил и высоко оценил Фроста в переводах Андрея Сергеева.

Роберта Фроста уже тогда Иосиф почитал великим поэтом. Это Андрею было приятно и удивительно, потому что до приезда Фроста в Москву в качестве посланника президента Кеннеди ни в одной редакции и слышать о Фросте никто не хотел. В журнале «Иностранная литература» ответственный секретарь Борис Розенцвейг говорил Андрею: «Этот ваш Фрост все о зайчиках и морковке пишет, кому это может быть интересно? Приносите переводы какого-нибудь стоящего поэта». Андрей считал Фроста великим поэтом и начал переводить его с конца пятидесятых годов, вскоре после нашей женитьбы в 1957 году. Впервые Андрей обратил внимание на Фроста в антологии «Американская поэзия — XX век» М. Зенкевича и И. Кашкина. Андрей рассказал Иосифу, что Фрост смолоду фермерствовал и опубликовал свой первый стихотворный сборник, когда ему было уже 40 лет, и то не в Америке, а в Англии. Но этот сборник сразу обозначил Фроста как уникального и зрелого поэта в англоязычном мире. Много лет спустя, уже в Штатах, в «Диалогах с Волковым» Иосиф вспоминал: «Вообще в Союзе я три года прожил в сильной степени под знаком Фроста. Сначала переводы Сергеева, потом с ним знакомство, потом книжка Фроста по-русски». В Америке Иосиф Бродский сказал Томасу Венцлове, а тот записал в своем дневнике примечательное признание: «В том, что я уехал в Штаты, повинен в сущности Андрей Сергеев, ибо с его переводов у меня начался роман с американской поэзией».

У нас же на Малой Филевской Иосиф произнес замечательную фразу: «Раньше я хотел научиться писать стихи, как Найман,

а прочел Фроста и понял, что так я не смогу писать никогда». В Америке со своими студентами Иосиф много раз обращался к стихам Фроста, а в конце жизни написал эссе о Фросте «Скорбь и разум» с поразительно тонким и глубоким анализом поэзии Фроста. В своей нобелевской лекции Иосиф Бродский назвал Фроста и Одена наиболее достойными Нобелевской премии среди англоязычных поэтов, ее, к сожалению, не получивших.

О суде над Иосифом мы узнали сразу же. Многое нам рассказывали Анна Андреевна, Миша Ардов (ныне о. Михаил), с которыми мы часто встречались в доме А. Г. Габричевского и Н. А. Северцовой, а также Володя Муравьев, который хорошо был знаком с Фридой Вигдоровой. Мужественное и столь необычное для советских людей поведение Иосифа на суде нас не удивило. Он сразу произвел на нас впечатление человека умного, независимого, никакой советскости в нем не было, а «тоску по мировой культуре» он превратил в фантастически быстрое самообразование. Божий дар его был очевиден для нас.

Андрей Сергеев взял у Анны Андреевны адрес Иосифа и написал ему в ссылку, в Норенскую. В первом же письме Андрей сообщил Иосифу, что их уговор о переводе австралийцев несмотря ни на что остается в силе. Предложил Иосифу почитать английского поэта Браунинга, чтобы потом вместе переводить его. Послал томик Браунинга в Норенскую, хотя английский Иосифа в то время был еще слабоват, совсем не для Браунинга. Однако Андрей упорно советовал Иосифу читать и читать непростые стихи со словарем. В чем Иосиф скоро преуспел и даже придумал свой способ перевода — по первой и последней строкам, соблюдая точный размер и количество строк. Затем Иосиф всерьез начал читать, перечитывать со словарем и переводить англоязычных поэтов и даже пописывать шуточные стансы на

английском. У меня есть две открытки с английскими стихами Иосифа: поздравление с новым, 1965 годом и с Рождеством 1965 года. Переводы с английского стали для Иосифа серьезной, настоящей школой и по овладению английским языком, и по расширению собственного словаря. Из Норенской Иосиф стал присылать нам стихи одно другого лучше: «Как тюремный засов разрешается звоном от бремени...»; «Einem alten architekten in Rom...»; «Ты выпорхнешь, малиновка, из трех...», «Новые стансы к Августе»; «На смерть Т. С. Элиота»; «Пророчество»; «В деревне Бог живет не по углам...» и др. Я согласна с Е. Рейном, что именно в ссылке Иосиф достиг той поэтической высоты, которую не покидал до конца. Именно в ссылке Иосиф стал Поэтом Иосифом Бродским.

Андрей Сергеев и Иосиф Бродский во время переписки очень сдружились. Я тайне от Андрея написала в Норенскую Иосифу о том, что Андрей обожает его: я никогда не видела со стороны Андрея такого восторженного отношения ни к одному собрату по перу. Я боялась, что Андрей только мне изливает свои чувства к Иосифу, а в письмах может быть и сдержан и дидактичен. Поэтому и написала. И еще я тогда написала, что возвращение Иосифа будет для нас настоящим праздником и что мы с радостью будем ждать его в гости.

В сентябре 1965 года Иосиф Бродский из ссылки прилетел прямо в Москву, к нам. Сюда же приехала Марина Басманова. У нас они и встретились. Это был уже другой поэт и другой человек с особенным опытом, он «только с горем чувствовал солидарность». Иосиф рассказал нам о двух озарениях в своей жизни, которым он придавал большое значение. Первое было в Якутске в начале шестидесятых, когда он бросил работу и ушел из геологической экспедиции. Перед отлетом в Ленинград он купил сбор-

ник Баратынского и тут же, сидя на лавочке, целиком его прочел. И понял: «Вот чем мне надо заниматься». Баратынский стал его любимым поэтом XIX века. Второе озарение было в ссылке, когда Иосиф разбирал со словарем стихотворение Одена «Памяти Уильяма Батлера Йейтса», написанное в 1939 году. И когда Иосиф дошел до слов «Время боготворит язык и прощает всех, кем он жив», Иосиф был потрясен и решил, что перевел строку неправильно, и опять полез в словарь, но мысль, дорогая ему, оставалась той же. «И ход мыслей, которому это утверждение дало толчок, продолжается во мне по сей день», — написал Иосиф в 1983 году в эссе «Поклониться тени», посвященном памяти Одена. Для Иосифа с момента этого озарения писать стихи хорошо стало нравственным императивом и некоторой надеждой на преодоление экзистенциального чувства вины.

О ссылке Иосиф не любил говорить. Никаких подробностей, кроме того, что приходилось вставать рано вместе со всем народом и вкалывать физически, он не рассказывал. А вот историю о том, как он встретил в стольпинском вагоне по дороге в ссылку русского крестьянина с длинной бородой, уже в годах, которому дали большой срок за украденный мешок зерна, Иосиф повторял неоднократно. И всегда горестно добавлял: «Этот мужик уже никогда не выйдет на свободу, и ни одна душа о нем не хлопочет». И просил Андрея Сергеева: «Андрей Яковлевич, прошу вас, не хлопочите обо мне, если меня еще раз посадят». Об этом же старике Иосиф сокрушался много лет спустя в Америке, в интервью Соломону Волкову.

На день рождения Андрея Сергеева 3 июня 1966 года Иосиф прилетел и привез царский подарок — стихотворение «Остановка в пустыне» («Теперь так мало греков в Ленинграде, / что мы сломали Греческую церковь...»).

Так мало нынче в Ленинграде греков,
да и вообще — вне Греции — их мало.
По крайней мере, мало для того,
чтоб сохранить сооруженья веры.
А верить в то, что мы сооружаем,
от них никто не требует. Одно,
должно быть, дело нацию крестить,
а крест нести — уже совсем другое.

Стихотворение нам обоим очень понравилось. Дивные, пророческие стихи. У нас были еще и семейные ассоциации. Недалеко от этой разрушенной греческой церкви жила на Греческом проспекте в Ленинграде двоюродная сестра Андрея, тоже Люда Сергеева (Людмила Кирилловна), искусствовед, археолог. Я с ней дружила с 1957 года до ее кончины в 2000 году. Она жила у нас в Москве, когда возвращалась из археологических экспедиций. Мы останавливались у нее с Андреем, когда приезжали в Ленинград, я у нее жила, когда приехала на похороны Ахматовой. Л. К. Сергеева была одинока, она помогала Марине Басмановой с маленьким Андрюшей, вернувшимся из роддома. В книге Бобышева написана о сестре Андрея неправда.

Дни рождения проходили весело — все рассказывали анекдоты, шутили, пели хулиганские частушки. Иосиф много их привез с Севера. Одна пользовалась особенным успехом: «Вологодские ребята — жулики, грабители. — даже дедушку с говном и того обидели». Мы с Андреем часто просили Иосифа почитать стихи. Он никогда не отказывался. Чтение его всегда ошеломляло: громкое, неистовое, что-то среднее между плачем и молитвой. Мне было страшно за Иосифа, а вдруг он сорвется или задохнется. После чтения Андрей не стеснялся говорить Иосифу,

что какие-то его стихи гениальны. Некоторые из присутствующих потом выговаривали Андрею, что он портит Иосифа. Но они оказались не правы. Помню один замечательный диалог в 1968 году, когда Иосиф окончательно доработал «Горбунова и Горчакова» и привез нам это сочинение в Москву. Сначала Иосиф прочел эту вещь вслух: от его завораживающего громкого чтения в ушах стоял гул, как от близкого тревожного колокола, многое в тексте не укладывалось в голове. Затем мы медленно читали стихи сами. Были просто оглушены, долго не могли прийти в себя, молчали. Андрей выдохнул наконец:

АНДРЕЙ: Ну, это совершенно гениально!

ИОСИФ: Тянет на Нобелевку?

АНДРЕЙ: Несомненно! Я ее вам сегодня даю.

За 19 лет до решения Шведской академии у нас в Москве, на Малой Филевской улице, Андрей Сергеев вполне серьезно и заслуженно присудил Иосифу Бродскому Нобелевку. И как же мы радовались за Иосифа в 1987 году, когда он стал нобелевским лауреатом! Нас переполняла гордость: премию, как мы и предсказывали, получил наш гениальный друг, человек нашего поколения, от лица которого он сказал обо всех нас в своей нобелевской лекции: «Это поколение — поколение, родившееся именно тогда, когда крематории Аушвица работали на полную мощность, когда Сталин пребывал в зените своей богоподобной, абсолютной, самой природой, казалось, санкционированной власти, явилось в мир, судя по всему, чтобы продолжить то, что теоретически должно было прерваться в этих крематориях и безымянных общих могилах сталинского архипелага. Тот факт, что не все прервалось, — по крайней мере

в России, — есть в немалой мере заслуга моего поколения, и я горд своей к нему принадлежностью не в меньшей мере, чем тем, что я стою здесь сегодня. И тот факт, что я стою здесь сегодня, есть признание заслуг этого поколения перед культурой; вспоминая Мандельштама, я бы добавил — перед мировой культурой. Оглядываясь назад, я могу сказать, что мы начинали на пустом — точнее, на путающем своей опустошенностью месте, и что скорее интуитивно, чем сознательно, мы стремились именно к воссозданию эффекта непрерывности культуры...»

Иосиф часто приезжал в Москву и останавливался у нас на Малой Филевской. Оказалось, что жить с Иосифом под одной крышей очень приятно и интересно. В еде он был непривередлив — всякую еду в доме хвалил. Обожал замороженные пельмени из пачки. Иосиф сам и его стихи были столь непохожи на все советское, а многие стихи просто гениальны, что нам хотелось поделиться этим даром и познакомить его со всеми нашими любимыми друзьями. Мы познакомили его с Александром Моисеевичем Пятигорским, философом, буддологом, который жил в одном с нами подъезде и каждый день забегал к нам. У меня сохранились открытки Иосифа, где он иронизирует над Сашиным буддизмом и передает ему нежные приветия. Мы привели Иосифа в гости к Александру Георгиевичу Габричевскому и Наталии Алексеевне Северцовой в их московскую университетскую квартиру. В Коктебеле Иосиф гостил у них без нас. Познакомили с Марией Васильевной Розановой, женой Андрея Донатовича Синявского, который в это время уже был в лагере. С Владимиром Сергеевичем Муравьевым, филологом, переводчиком, который любил бывать у нас, они вместе с Андреем Сергеевым делали книгу Т. С. Элиота (Андрей переводил стихи, а Володя писал комментарии к ним). Познакомили с Викторией Швейцер, с которой я очень дружилась на деле Синявского.

Весной 1966 года Андрей был одним из организаторов трех поэтических вечеров Бродского в Москве: в Лефортово — в общешитии МВТУ имени Баумана, в ФБОНе (Фундаментальная библиотека общественных наук) и на секции переводчиков в Союзе писателей. У Андрея Сергеева все это описано в воспоминаниях. Я могу только добавить, что в студенческом общешитии Иосифа приятно порадовала реакция на его стихи ребят-технарей, а в ФБОНе был настоящий триумф. Там собралось много интеллигентов-гуманитариев — Иосифу истово аплодировали, просили читать еще и еще, а потом буквально бросались к нему со словами восхищения и благодарности. От его славы в этот вечер чуток досталось и нам, поскольку в зал ФБОНа мы вошли втроем. Для прикрытия в афише этого вечера было написано: «Переводы А. Сергеева и И. Бродского». Так что и к нам подходили, и нас благодарили. На встрече в Союзе писателей я не присутствовала, но этот неудачный вечер подробно описан у Андрея Сергеева.

Иосифу было хорошо в нашем доме. Он любил Андрея Сергеева и прислушивался к его суждениям, говорил, что в Москве его интересует мнение только двух человек — Андрея Сергеева и Мики Гольшева (Виктора Петровича Гольшева). Иосиф был достаточно откровенен с нами, его отношения с Мариной Басмановой тоже не были исключением. Долгие разговоры о Марине он вел чаще всего со мной одной. Мы всегда были с Иосифом на «вы», но это не мешало нашей тесной и верной дружбе. Иосиф часто звонил нам из Ленинграда, мы ему тоже звонили. В феврале 1966 года Иосиф писал мне:

Милая Люда. Я озверел от переводов, вижу во сне Холодковского. Представляете? Снял за 30 рублей у черта на

куличках квартиру, во всем подобную Вашей, на 7-м этаже [...] Я ни о чем и ни о ком, кроме своих стихов и Вас с Андреем, не думаю. Марина Вам нежно кланяется [...].

(Это когда у них все было хорошо.)

5 марта 1966 года умерла Анна Андреевна Ахматова. Союз писателей не решился выставить гроб с ее телом в Центральном доме литераторов, поэтому прощались с ней в тесном морге больницы Склифосовского в Москве, в пристройке к бывшему странноприимному дому графа Шереметева. Затем гроб повезли в Ленинград. Я бросилась на вокзал и поехала в Ленинград поездом.

В Ленинграде в Никольском соборе я видела Иосифа только издали, в Союзе писателей, в комнате с гробом Анны Андреевны, Иосиф взял меня за руку, и мы вместе стояли у гроба. Рядом, опершись о меня, стоял Арсений Александрович Тарковский и горько плакал. Смерть Анны Андреевны была и для Иосифа большим личным горем. Ахматова много значила в судьбе Бродского — он учился у нее мужеству, достоинству и умению прощать. У могилы в Комарово нас прибило друг к другу, и Иосиф сказал мне, что завтра зайдет за мной и поведет по ахматовским местам.

Это было 11 марта 1966 года. Прежде всего, он повел меня в Фонтанный дом, куда пройти без пропуска тогда было нельзя, там размещался Арктический институт. Но Иосиф знал лаз в заборе со стороны Литейного, через который мы проникли на территорию шереметевского сада. Иосиф вывел меня к флигелю, где жила Ахматова, показал ее окно, ее любимый клен. Было холодно и промозгло. Хорошо, что Иосиф был рядом, и мы все время говорили об Ахматовой.

Потом Иосиф повел меня к себе домой на угол Литейного и Пестеля, сказав, что отец приготовил обед и ждет нас. Приго-



Марина Басманова с сыном Андреем

Фото Сэмюела Реймера

товленный отцом Иосифа обед был отменным. Александр Иванович, улыбчивый, доброжелательный, галантный, как морской офицер, мне очень понравился (маму я не видела, она была на работе). Александр Иванович благодарил меня за то, что Иосиф теперь ездит в Москву к Сергеевым как к себе домой. Общался Иосиф с отцом легко и дружески, называл его котом, слегка подтрунивал над ним. Прежде чем сесть за стол, я спросила, где можно помыть руки, имея в виду и кое-что еще. Вот тут-то я и увидела ту половинку, из которой складывались «полторы комнаты». Там, за шкафами, в светлой части половины комнаты с большим окном было «гнездо» Иосифа, а в темной части этой половины, где отец проявлял фотографии, — раковина, где я помыла руки. Увидев мое обескураженное лицо, Иосиф улыбнулся: вот и Марина никогда прямых вопросов не задает, и повел меня в туалет по длинному коммунальному коридору. Мы оба очень

смеялись. И это как-то сняло напряжение прошедшего дня похорон и сегодняшней сиротливой прогулки.

А потом Иосиф сказал, что меня хочет видеть Марина, поймал такси, и мы долго ехали куда-то на окраину Питера с одинаковыми советскими домами. Квартира почти пустая, но Марина с Иосифом были довольны ею и друг другом. Марина сварила кофе, Иосиф восхищался ею как хозяйкой, они оба улыбались, шутили, были какие-то легкие и даже говорили в унисон. А когда Иосиф «обнял эти плечи», стоя в дверях, я увидела, какая они красивая пара.

Но счастье продолжалось недолго — случился очередной разлад с Мариной, а когда это происходило, наступал «конец света», как говорил Иосиф. Он не находил себе места, мучился сам и замучивал нас страхами за него, ибо только в этом случае он почти терял самообладание. Так было и в августе 1966 года.

Мы каждое лето начиная с 1963 года ездили отдыхать в Литву, в Палангу. А на обратном пути в Москву останавливались на несколько дней в Вильнюсе на улице Лейиклос, в замечательном доме братьев Катилюсов, где кроме любимого Ромаса и его красавца-брата архитектора Адаса, а также их очаровательных жен жила необыкновенная старушка Асите — она нянчила не только братьев, но была помощницей в доме еще их бабушки, а потом и мамы. (Летом родители Катилюсов обычно жили «в саду», на своем приусадебном участке.) Асите была глубоко верующей женщиной и добрым ангелом этого дома. Она всех привечала и кормила, на всех действовала успокаивающе, ее любили все — братья, их жены и все гости. Именно в таком уютном доме со старинной мебелью, в таком красивом старинном европейском городе можно было отдохнуть душой и прийти в себя. И мы решили позвать Иосифа в Вильнюс. Этой идеей мы поделились

с братьями Катилюсами, они сказали: пусть приезжает. Так появились Вильнюс, Литва, литовские друзья в жизни Иосифа, а потом и его замечательные «литовские» стихи. А теперь и памятная доска на доме на улице Лейиклос в Вильнюсе, и названный в его честь мостик через речку Раже в Паланге, и конференция «Бродский в Литве» к 70-летию поэта.

В тот день, когда Иосиф появился в Вильнюсе, вечером мы уезжали в Москву, но успели представить его Катилюсам. Иосиф почитал им свои стихи, они, как и все впервые, были огушены и потрясены, а потом мы большой компанией двинулись на вокзал. Я до сих пор вижу, как Иосиф стоит перед нашим вагоном — довольный, улыбающийся — и благодарит нас с Андреем за то, что мы подарили ему Катилюсов и Вильнюс. Свои впечатления от наших друзей, Вильнюса и Паланги Иосиф описал в письме из Паланги 2 сентября 1966 года*:

Осмеливаюсь писать Вам оттуда, куда Вы меня звали. Осмеливаюсь — потому что ничего, кроме писем, сочинить не в состоянии. Да и письмо это тоже, вероятно, будет отмечено мягкой печатью общего торможения.

Жрец гинтараса и Юратэ предоставил в мое распоряжение комнату с балконом в том же храме, где он обретается сам. Перед балконом находится очень молодой клен, который заглядывает в комнату, весьма напоминая этим чекиста. Того гляди, что он развернет газету. В комнате — кресло-качалка, во всем подобное Вашему. Ниже этажом — молодая лэди, подружка того из «братьев», с которым я был познакомлен в Москве. Мы приехали вместе в фургоне, предоставленном паном архиварисом, и дело пахнет романом. Я почти не против.

* Авторская пунктуация и орфография сохранены.

Погода — погода прелесть. Знаете: дождик вперемешку с солнышком, ветер. Купание (вот фраза уже классическая) здесь отменное. Волны, знаете, бьют это прямо по морде, ни с чем не сообразуясь. Обеды ужасно дешевые. Ночью пограничники на дебаркадере ловят рыбу. Висит луна, шурует прожектор, воркует спиннинг. И, конечно же, «полумесяцы огромных волн».

Завтракаем, обедаем и ужинаем мы втроем: пан жрец, молодая лэди и я. За столом звучат провинциальные неблыццы о великих (и малых) мира сего, о «классиках» и дебютантах. Очень часто собеседники переходят на литовский язык, и лунный свет серебрится в алюминиевой кружке, полученной поклонником изящной словесности непосредственно от Хозяина.

По той причине, что каждый день жизни мне всегда кажется последним, я вполне счастлив. [...]

В православной Вильне было прекрасно! Братья — один другого лучше. Такие чудные характеры. Без идиотской этой российской истерики. Пан редактор, скрывший под бородачковой щечки, — тоже прелесть. Мы с ним поболтали малость. К (небольшому) сожалению, он более всего ценит ерничество. А я ему напомнил слышанное от Вас высказывание Фроста о «нисходящей метафоре». Потом приехал Томас. Я рад и даже немножко горд этим знакомством. Чудный парень, чудная физиономия. Теперь мы вполне можем [sic!] устанавливать свою иерархию. Двоих было мало. Большое Вам за него «ачу» [...].

Но на следующий день Томас, Пранас, г-н редактор, его жена и я — все покатали в Дубингей. А накануне архитектор, физик, редактор, курортная Ваша подружка-блондинка, Томас и я захватили Тракайский замок в свои руки, и мне пришли в голову некоторые очень хорошие идеи [...].

В тракайском замке, усевшись на перила внутреннего дворика, я поднял руку и изобразил литовский герб. Немного позже наш архитектор проявил чудеса капитанства на олимпиаде: 2 часа подряд мы вальсировали в небольших бухтах при свете заходящего солнца. В один из этих дней — кажется, сразу после Вашего отъезда — мы напились на Антоколе, а потом лазали в старом городе с паном архитектором по черепичным крышам. А его брат спокойно стоял где-то далеко внизу, неподвижно, с перекинутым через руку плащом и размышлял о единой теории поля. [...]

Я пишу Вам это письмо, потому что хочу Вас чуть-чуть — на всякий случай — развеселить. И еще потому, что хочу поблагодарить. Я вообще Ваш должник: по духу, по делам, по обстоятельствам. Это, однако, не мешает мне испытывать к Вам весьма прямые и честные чувства, в которых в настоящую минуту намерен здесь расписаться

Votre excellence

serviteur

Joseph A. Brodsky

Архитектура — архитектурой, но я в восторге от Литовских пейзажей!!!

В этом письме, кроме Томаса, которому терять уже было нечего, «кроме своих цепей», все литовцы зашифрованы для конспирации, ибо письма Иосифа перлюстрировались, наши — тоже.

Вот мой комментарий к этому письму.

«Жрец гинтараса и Юратэ, любитель изящной словесности» — Пятрас Юодялис (Петр Антонович), литератор, искусствовед, муж замечательной женщины Данути Владиславовны Юодялене, отец моей любимой подруги Ванды Гумялене,

тесть Юозаса Тумялиса. Петр Антонович провел 9 лет в Воркутинском лагере.

«Храм» — это бывший дворец графа Тышкевича в Паланге, где находится Музей янтаря, в котором Петр Антонович обычно летом и ранней осенью работал и жил там же.

«...того из „братьев“, с которым я был познакомлен в Москве» — архитектор Адас Катилюс заходил к нам в Москве, когда у нас гостил Иосиф.

«Пан архивариус» — Юозас Тумялис, работавший тогда в Книжной палате, историк, литуанист, одно время входил в руководство «Саюдиса».

«Алюминиевая кружка, полученная поклонником изящной словесности непосредственно от Хозяина» — кружка, которую П. Юодялис вывез из воркутинского сталинского концлагеря.

«Письмо в конверте» — с панорамой Старого Вильнюса.

«Братья — один другого лучше» — физик-теоретик Ромас Катилюс и его младший брат архитектор Адас Катилюс.

«Пан редактор» — Виргилиус Чепайтис.

«Томас» — естественно, Томас Венцлова.

Жена же «г-на редактора» — Наталья Леонидовна Трауберг, бывшая тогда женой Виргилиуса Чепайтиса.

«Пранас» — Пранас Моркус, филолог, журналист, культуролог, друг Томаса и семьи Чепайтисов.

«Курортная Ваша подружка-блондинка» — Ина Вапшинскайте, химик по профессии, весьма разносторонне образованный человек, друг братьев Катилюсов и моя близкая подруга. Мы с ней познакомились в 1964 году в Паланге.

Иосиф был очень легок на подъем: поговоришь с ним по телефону, позовешь в гости — и вот он уже в Москве, Вильнюсе, в Гурзуфе или в Коктебеле. Иосиф еще несколько раз приезжал

в Литву без нас. Здесь ему было хорошо — друзья, пейзажи, облака, даже дождичек нравился. С Литвой связаны замечательные стихи Иосифа «Литовский дивертисмент», «Литовский ноктюрн» и др. Стихотворение «Anno Domini» («Провинция справляет Рождество...») было написано 2 января 1968 года в Паланге, Иосиф прислал его нам в письме.

Мне хотелось бы привести стихотворение Андрея Сергеева, которое имеет прямое отношение к Литве, Томасу Венцлове, да и к Иосифу. История стихотворения такова: машинописный листок с этим текстом был прислан из Москвы Ромасу и Эле Катилюсам, жившим тогда в Ленинграде. На конверте нет обратного адреса, дата на почтовом штемпеле — «27 декабря 1978 года». Ромас не помнил, от кого это письмо. Яша Клоц, собиравший материалы к книге «Бродский в Литве», принес мне зимой 2010 года этот текст и попросил его атрибутировать.

Я пришла к выводу, что это стихотворение Андрея Сергеева. Потому что все палангские и вильнюсские события совпадают с теми, в которых участвовала я и что могу вспомнить я. После того как мы расстались, Андрей больше в Литву не приезжал. Он явно тосковал и по Литве, и по тому времени, и по общим литовским друзьям. После отъезда Томаса в США и возникла эта «Элегия», в которой тоже все зашифровано для конспирации.

ЭЛЕГИЯ

Он мыслями блуждал по свежим лужам,
А сам стоял и без надежды слушал
Случайную знакомую — курьез
В том, что поэт и перпетратор блажей
Был на людях неисправимо младший,

Мальчишески заносчив и застенчив,
Порхал, как птенчик, трепетал, как птенчик,
И хохотал, и тосковал — до слез.

Я знал о нем; невелика задача
Узнать такого на Аксионайчию;
Он слышал обо мне и, видя тьму
Передо мной и сразу мне доверяясь,
Как старшего повел с почетом через
Великую литовскую стену.

Небритую поглаживая челюсть,
Он посвящал в интимную страну:
В высь колокольни — Господи, помилуй,
Гора, с горы — гравюра на полмира,
Курган — сосняк над вечностью навис,

Ходьба по крышам в клубах лунной пыли,
Слепец в поводырях к благой могиле,
Блаженная — с палитрой — из посада,
Язвительный добряк Юстин Памада,
Лейиклосские братья Кенедис.

Я сам пошел пытаться чужие судьбы —
Пожал немую руку правосудья,
В безумном мудреце признал отца,
Попал домой к спасателю из гетто,
Побыл у чудотворного портрета,
Предстал пред неизвестного святого —
И все сначала до почти итога
По легкости Поэта и Птенца.

И я дарил ему друзей довечных;
Вслед за одним он выпорхнул, как птенчик —
Ну, как там смех до слез, по младшинству?
Скажи, какие на Таити лужи —
Как в Жемайтии свежи или хуже,
И какова надежда наяву?

А я — все тот же, свой и чуждый: вчуже
Я полюбил Великую Литву.

1978

А теперь мои комментарии:

Две первые строфы — о Томасе: как мы его впервые увидели. На улице Аксионайчио нам сняли мансарду в 1963 году, как раз напротив дачи Антанаса Венцловы. Тогда мы с Андреем приехали в Палангу в первый раз. Именно на этой улице мы увидели неземной красоты молодого человека, чем-то напоминавшего князя Мышкина, который смотрел поверх головы немолодой литовской дамы, рассеяно слушал ее, и было видно, что в мыслях он далеко отсюда. Мне тогда очень захотелось, чтобы этот молодой человек оказался Томасом Венцловой. И в тот же день на углу этой же улицы меня окликнула Марина Кедрова, моя однокурсница по филфаку МГУ, и представила нам с Андреем своего мужа — Томаса Венцлову. Я радостно воскликнула: «Я вас вчислила!» И услышала в ответ прелестный, почти детский смех Томаса. Так для нас началась Литва и все остальные дружбы в ней. Для меня и нашей с Андреем дочери Ани они, к счастью, длятся до сих пор.

«Гора, с горы — гравюра на полмира» — вид с холмов за речкой Вильняле. Именно в этом месте Ромас читал подстрочники стихов

Томаса Андрею Сергееву, Леониду Черткову и мне. Я до сих пор помню даже жесты Ромаса, его выражение лица в тот момент.

«Ходьба по крышам в клубах лунной пыли» — ночная прогулка с Томасом на крышу кордегардии в Вильнюсе, откуда открывается вид на Президентуру.

«Слепец в поводырях к благой могиле» — это тоже Томас, Кафедральный собор в Каунасе, надгробие поэту национального возрождения, прелату Майронису, стихи которого были под запретом при советской власти.

«Блаженная — с палитрой — из посада» — это Ядвига Наливайкене, художница-примитивистка, которая начала писать картины маслом в 50 лет, когда увидела во сне Богородицу, протягивающую ей палитру. Об этом она рассказала нам сама. Наливайкене жила на улице Ужупис, в посаде. Мы тогда очень дешево (она вообще стеснялась брать деньги) купили несколько ее работ, они висят до сих пор у меня и у Ани. Привел нас к художнице Виргилиус Чепайтис. Он же ее и открыл. А теперь Наливайкене — народная художница Литвы.

«Язвительный добряк Юстин Памада» — это, видимо, Виргилиус Чепайтис. С Виргилием Андрей подружился сразу, они читали друг другу свои язвительные рассказы. Но Пранас Моркус считает, что эта строка о нем. Может, и так.

«Братья Кенедис» — Ромас и Адас Катилиусы.

«Пожал немую руку правосудья» — это Юозас Урбшис, бывший министр иностранных дел довоенной Литвы, которому довелось подписывать «Договор о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой». Об этом факте литовские друзья нам уже успели рассказать. Урбшис вернулся в Вильнюс после 13-летнего тюремного заключения. Юозас Тумялис познакомился с Урбшисом, когда тот вернулся в Литву, общался с ним

и рассказывал нам о нем. Однажды Андрей, Юозас и я шли по Вильнюсу, Юозас вдруг сказал: «Вон идет нам навстречу Урбшис». Юозас с ним раскланялся, представил нас. Урбшис молча пожал нам руки, и мы расстались.

«В безумном мудреце признал отца» — это Юстинас Микутис, друг Пятраса и Дануте Юодялисов. Он был арестован советской властью, его били головой о стену на допросах, он долго сидел, после возвращения мучился головными болями, а когда ему начинало казаться, что он — Иисус Христос, он просил пани Данутю отвезти его в психиатрическую клинику. Он был глубоко верующим человеком, мудрым и по-детски непосредственным.

«Попал домой к спасателю из гетто» — это Эдмундас Лауцявичюс, известный коллекционер, знаток истории и искусств, автор книги о бумажных водяных знаках. Андрея с ним познакомил Юозас Тумялис. Андрей был страстный нумизмат и любил общаться с коллекционерами. Однажды и я была с Андреем в прекрасном доме Лауцявичюса на Зверинце, где старинная мебель, старинные люстры, венецианские зеркала, прекрасная живопись XVIII–XIX веков, а главное — очаровательный, благородный, галантный господин, хозяин всей этой роскоши. Так вот, он во время войны подкупал дорогими картинами и прочими антиками немцев, обменивал предметы своей коллекции на евреев из гетто. То же самое он делал, выручая людей из лап НКВД. Он заинтересовался, что коллекционирую лично я, услышав, что ничего, подарил мне для начала коллекции две античные геммы, которые живы у меня до сих пор. Но я коллекционером так и не стала.

«Побыл у чудотворного портрета» — это чудотворная Остробрамская икона Божьей Матери, в 1978 году в письме, которое наверняка перлюстрировалось, Андрей не мог назвать икону иконой.

«Предстал пред неизвестного святого» — в Жямайчу Калварии, куда поехали по рекомендации Томаса, мы познакомились

с удивительным человеком очень преклонного возраста, алтаристом* Повиласом Пукисом. После войны он 10 лет провел в лагере на Воркуте, а потом оказался в Бурятии в доме престарелых. В Жямайчу Калварии он был до войны настоятелем тамошнего знаменитого храма. Все прихожане его очень любили, поэтому они собрали деньги, привезли его из Бурятии и купили ему маленький домик. Пукис нас ошеломил: от него шел свет, он обо всем говорил доброжелательно, с улыбкой, даже о лагере и доме престарелых. А когда он служил в костеле, то было впечатление, что он тихо разговаривает прямо с Богом и просит за всех нас. Святой, да и только. Андрей написал о встрече с ним в своей книге «Омнибус».

«Поэт и Птенец» — Томас Венцлова.

В мае 1972 года Бродский приехал в Москву прощаться с друзьями. Мой друг Анджей Дравич очень любил Бродского, первым из иностранцев переводил его стихи (фрагменты из «Большой элегии Джону Донну») и первым опубликовал их в Польше в ноябре 1963 года. Он передал с критиком Северином Поляком антологию русской поэзии на польском языке, где были и стихи Иосифа. Самого Анджея уже не пускали в Москву как диссидента, и Анджей хотел, чтобы я передала Иосифу эту книгу. Я позвонила Мике Гольшеву и попросила, чтобы Иосиф дал знать, когда он будет в Москве. Вскоре Иосиф позвонил мне на работу в «Литконсультацию», которая находилась на улице Воровского (теперь Поварская), рядом с рестораном ЦДЛ. Мы пошли в мой обеденный перерыв в этот ресторан, сели за столик на двоих. Ресторан в те времена был дешевым, особенно днем, когда там обедали сотрудники. В лицо Иосифа тогда еще никто, кроме близких людей, не знал. Он горько заметил, что если бы

* Altarista (лат.) — священник, переставший исполнять регулярную службу при храме.

кто-нибудь узнал, кого я пригласила обедать в Центральный дом литераторов, то нас обоих выдворили бы из ресторана. А пока только его одного вытаскивают из страны. «Из моей страны. Вы ведь знаете, я не люблю, когда решают за меня». В голосе были волнение и обида. Он сказал, что всегда мечтал о путешествиях, но ему не хочется уезжать навсегда и что он написал письмо Брежневу. Простились мы тепло, но печально, ясно было, что навсегда. Я видела Иосифа последний раз.

Андрею повезло — он виделся с Иосифом в 1988 году в Нью-Йорке. Общались они там каждый день. Ощущение — будто вчера расстались. Но Иосиф был уже другим — за ним стояла Америка, Нобелевская премия, известность на весь мир, у Андрея Сергеева такого опыта не было. В Иосифе появилась англосаксонская сдержанность, он был респектабельно одет. Это очень шло Иосифу и очень нравилось Андрею. Иосиф всячески помогал Андрею в Америке: бесплатно поселил в квартире уехавшей на время приятельницы (потом Андрей жил у поэта Аллена Гинзберга, которого переводил на русский), помог через Барышникову достать билет в Метрополитен-опера. Сам отвез Андрея в аэропорт, хотя чувствовал себя неважно. На прощание Иосиф сказал: «Ну, Андрей Яковлевич, в этой жизни мы с вами уже увиделись. Что же мы будем делать в следующей?»

Смерть Иосифа потрясла нас — он всегда поддерживал друзей тем, что он есть и пишет гениальные стихи. Жить от этого было легче. Сразу после смерти Иосифа Андрей написал очень хорошие воспоминания о нем. Андрей пережил Иосифа на один год и десять месяцев. Мне кажется, что в «следующей» жизни они по-прежнему говорят о стихах и обсуждают «весь мир и окрестности». А я все вспоминаю и вспоминаю их. «Потому что если любовь и можно чем-то заменить, то только памятью», — утверждал Иосиф Бродский. И, как всегда, был прав.

ИНА ОНА ВАПШИНСКАЙТЕ

Мои встречи с Иосифом Бродским

Хочу сказать несколько слов о кружке друзей — друзей, благодаря которым я познакомилась с Иосифом Бродским и немалым количеством других интересных людей, повлиявших на мою жизнь, а особенно на мои взгляды. Благодаря им я прочла множество интересных и значительных книг, многое узнала.

Основу этого кружка составляли братья Рамунас и Аудронис Катилюсы, Томас Венцлова, Кама Гинкас. С течением времени кружок расширился, некоторые женились, их жены тоже вписались в это общество, особенно быстро сердцем общества стала Эля Катилене. Появлялись и новые друзья. Рамунас, физик, в свое время учился в одном классе с Томасом, они были очень близкими друзьями. Аудронис в ту пору только что закончил архитектурное отделение в Институте искусств. Мой бывший муж, через которого я познакомилась с Катилюсами и всеми остальными, дружил с Аудронисом и Камой еще со школьной скамьи. Специальности у нас были разные, но нас объединяли интерес к литературе, поэзии, искусству, архитектуре и, конечно, политические взгляды. «Центром» этого кружка были братья

Катилюсы и Эля, жена Рамунаса. Катилюсы жили на границе центра и Старого города. Всем бывало удобно к ним заглянуть, а главное — их отношения с друзьями были очень теплыми. Придя к ним, ты всегда мог поделиться своими заботами, поговорить о том, что интересовало тебя и других.

Думаю, что Рамунас описал, как он, его жена и Томас Венцлова познакомились и подружились в Паланге с москвичами Людмилой и Андреем Сергеевыми. Я в то лето в Паланге не была и познакомилась с ними позже, тоже в Паланге. Возвращаясь в Москву, они на несколько дней останавливались в Вильнюсе у Катилюсов. Родители Катилюсов летом жили в садоводстве, и их большую спальню «оккупировали» Сергеевы. Мы общались в Паланге. Гуляли в Вильнюсе по Старому городу, приятно проводили время.

Отношения Сергеевых с Иосифом Бродским описывает Людмила Сергеева.

В 1966 году они часто звонили из Вильнюса недавно вернувшемуся из ссылки И. Бродскому и, заручившись согласием Катилюсов, пригласили его приехать в Литву. Мы почти все уже знали стихи Иосифа Бродского, особенно ранние. Их чаще всего печатали на машинке, на тонкой папиросной бумаге, чтобы за один раз отпечатать побольше экземпляров, и распространяли среди друзей. Это были совершенно другие стихи, такие, каких не печатали ни в литературных журналах, ни где-либо еще.

Все мы, кто в это время был в Вильнюсе, очень ждали приезда Бродского. Я была у Катилюсов в первый день приезда Иосифа, точнее во второй половине дня. У них в столовой стоял большой круглый стол, и, сидя за ним, Иосиф, побуждаемый Сергеевыми, начал читать свои стихи. Впечатление было неописуемое, совершенно потрясающее. О том, как он читал, написано много

воспоминаний. В первый же вечер мы услышали множество нам неизвестных стихотворений. Несколько вечеров подряд мы собирались у Катилюсов, Иосиф читал стихи, мы разговаривали на различные темы. Царила приятная, теплая атмосфера. Днем Иосиф гулял по старому Вильнюсу. Экскурсоводы ему достались фантастические — Томас Венцлова, Аудронис и Рамунас Катилюсы. Вскоре Иосиф уже хорошо ориентировался в Вильнюсе.

На второй или, может, третий день пребывания Иосифа в Вильнюсе мы здорово засиделись у Катилюсов, и, когда я собралась домой, было уже около одиннадцати вечера. Я в те времена жила далеко от центра, на улице В. Грибо. Были сложности с транспортом, да и дорога от остановки троллейбуса до дома была неблизкой и небезопасной. Иосиф, как настоящий джентльмен, предложил проводить меня. Погода была хорошей, вечер теплым, небо звездным, и мы повернули в Старый город, по теперешней улице Св. Игнатия до монастыря Св. Духа (Доминиканцев). В монастыре есть внутренний дворик, в который тогда можно было попасть с улицы Св. Игнатия — через боковой вход в монастырь, превращенный в те времена в жилой дом. У этого дворика была особенная аура. Квадратный дворик, посреди которого расположено изваяние святого. Во дворике были сложены какие-то доски, мы сели на них и просидели несколько часов, глядя на звездное небо. Иосиф читал стихи.

Не знаю, каким транспортом он воспользовался для возвращения, проводив меня до дома; скорее всего, это была поливальная машина — очень популярный в те времена вид транспорта, — ее водители ночью с удовольствием выполняли функции таксистов.

На следующий день мы — Иосиф, Аудронис и я — поехали в Тракай. Аудронис Катилюс ходил под парусом, поэтому добыла небольшую яхту, на которой мы и обошли озеро Гальве. В это время Тракайский замок реконструировали. Мы облазили замок. Я, боясь высоты, залезала не всюду, а мужчины осмотрели замок основательно. Аудронис был прекрасным гидом. Погуляли по Тракаю. На одной из улиц подвыпивший мужчина играл на аккордеоне и пел известную песню «Литовец, не жалко ли тебе литовских песен...». Мы объяснили Иосифу, что в этой песне есть строчка «Литовец, прикуси язык, когда правят чужие...», сказали, что, по-видимому, Тракай в настоящее время являются территорией, управляемой партизанами. Иосиф прекрасно понял наш юмор. В Вильнюс вернулись на поезде. Большую часть пути курили в тамбуре. Иосиф всех удивлял, поднося дамам прикурить. На нем были фирменные джинсы, что в те времена было редкостью. Зажигание спички выглядело следующим образом: он поднимал ногу, натягивая джинсы, и чиркал по ним спичкой. Спичка загоралась, и он подносил огонь курящей даме. Это вызывало у всех большое удивление. Мужчины пытались проделать то же самое, но то ли джинсы у них не были фирменными, то ли навыка не хватало, но мало кому удавалось это повторить.

Тракай Иосифу очень понравился. Мы не спрашивали прямо, но по его настроению было видно, что ему хорошо. В квартире Катилюсов после ужина он снова читал стихи. Людей собралось много. Были несколько друзей и подруг Аудрониса, несколько знакомых, но вспомнить всех участников не получается. Иосиф создавал магическую атмосферу, его стихи, способ их чтения, голос Иосифа, его интонации — это было совершенно неповторимо.

На следующий день Бродский уехал в Каунас. Я со всей компанией не поехала. А еще через день Иосиф уехал в Палангу, откуда затем вернулся в Ленинград.

В декабре Рамунас и Эля перебрались в Ленинград и поселились в большой коммунальной (несколько хозяек на кухне) квартире на улице Чайковского — совсем недалеко от Бродского. В Вильнюсе же произошло «великое переселение». В бывшей квартире Катилюсов поселилась семья Виргилиуса Чепайтиса. В ней же остался жить Аудронис. Иосиф неожиданно приехал в Вильнюс перед Новым годом. Позвонил мне на работу, мы встретились в «Литераторской гостиной» (кафе, расположенном в первом доме тогдашнего проспекта Ленина). Оттуда позвонили Аудронису. Иосиф вновь остановился в той же квартире на улице Лейкрос, в комнате у Аудрониса. В комнате был камин, возле которого мы проводили много времени. Естественно, Иосиф читал стихи, и (что тут скрывать) мы немало выпивали — в основном популярный и доступный тогда «коньячный напиток».

В феврале у Катилюсов родился сын Андриус, и еще примерно через месяц я с подарками от вильнюсцев приехала в Ленинград. Я задержалась там больше чем на неделю. Эле Катилене было тяжело, и я, сколько могла и была способна, помогала ей управляться с малышом. Иосиф приходил почти каждый вечер. Мы курили на коммунальной кухне и разговаривали на разнообразнейшие темы.

Перед моим возвращением в Вильнюс, в один сырой и урюмый мартовский день, Иосиф свозил меня в Комарово посетить могилу Анны Ахматовой. Он показал мне домик, в котором она жила и в который приезжали из Ленинграда молодые поэты, в том числе и он сам. Потом пошли на кладбище. На могиле

стоял большой крест. Мне показалось, что крест красивый и на своем месте, но Иосиф объяснил, что сын Ахматовой Л. Н. Гумилев собирается ставить памятник. В Комарово мы навестили академика Жирмунского — как по пути рассказал мне Иосиф, широко известного лингвиста и литературоведа, почетного члена нескольких зарубежных академий, почетного доктора не одного зарубежного университета. Меня Иосиф представил как «дочь свободного литовского народа». Пили чай. Я слушала их разговор раскрыв рот. Основной его темой был Николай Гумилев — Иосиф в то время читал его стихи. В разговоре затронули и трагическую гибель Гумилева (он был расстрелян как заговорщик, хотевший свергнуть советскую власть). Академик Жирмунский говорил, что Гумилев был очень смелым человеком. Помню рассказ Жирмунского о том, как они зимой 1918 года шли с Гумилевым, вокруг горели костры... Я посмотрела на академика и подумала, что вот передо мной сидит человек, который может сказать: «Шли мы с Гумилевым». Прощаясь, академик пошутил, что в Вильнюсе есть целый район его имени — Жирмунай.

Мы вернулись к Катилюсам замерзшие и голодные, а там нас ожидало источающее фантастические запахи блюдо «карри», приготовленное Элей.

Мне кажется, что на следующий день я уехала в Вильнюс, но еще полдня мы с Иосифом бродили по улицам Ленинграда.

Позднее Иосиф приезжал в Вильнюс в апреле. Он пробыл в Вильнюсе несколько дней. Каждый день ходил на центральный почтамт звонить в Ленинград (в те времена междугородняя телефонная связь тоже была проблемой). Однажды, вернувшись, сказал, что должен срочно лететь в Ленинград, потому что нужен там близкому другу.

Затем Иосиф приезжал в Вильнюс в 1968-м на Новый год, а может, несколькими днями позже и снова жил в квартире у Чепайтисов. В любом случае в мой день рождения 2 января он был у меня. Он подарил мне немалую пачку отпечатанных на машинке стихотворений. На каждом листе было что-то написано и нарисовано. Увы, но я умудрилась утратить эти листы — одолжила одному человеку, которому доверяла, а он мне их не вернул.

Иосиф с Виргилиусом издали газетенку «Правда-матка». Газетенка была юмористической, с ярким антисоветским оттенком. Там был целый ряд Иосифовых эпиграмм. К сожалению, издан был лишь один экземпляр. И неудивительно: если бы кто-нибудь такую газетенку или даже просто информацию о ее существовании, передал в КГБ, последствия были бы весьма удручающими.

В 1968 году я осталась без работы. Муж моей подруги, работавший в Ленинграде в Ботаническом институте Академии наук, предложил мне поехать в организуемую им ботаническую экспедицию поваром. Я, естественно, согласилась, хотя, по правде говоря, готовить умела не очень. Экспедиция должна была начаться в конце мая, и я уехала в Ленинград к ней готовиться. Катилюсы в это время были в Вильнюсе, а я остановилась в их комнате на улице Чайковского. Я провела в Ленинграде дней десять и почти каждый день встречалась с Иосифом. Мы много гуляли, он показывал мне свои любимые места — особенно он любил Новую Голландию; мы ходили по старым ленинградским дворам, сохранившим дух Петербурга Достоевского и позволяющим представить себе, что за люди там жили. Это была непамятная сторона Петербурга.

Была пора петербургских белых ночей, на улицах было много народу. У Иосифа было бесконечное количество знакомых.

На каждом шагу к нему кто-нибудь подходил, спрашивал, как он поживает, перекидывался словом. Я неоднократно бывала у него дома. Однажды вечером мы заглянули к Каме Гинкасу и его жене Генриетте Яновской, которые оба теперь стали известными режиссерами.

Иосиф очень любил Петербург и любил делиться этой любовью с другими.

Я уехала в экспедицию, вернулась только осенью и сразу вышла на работу. В ту зиму Иосиф в Вильнюс не приезжал. В мае снова была в Ленинграде в командировке. Естественно, оставалась у Катилюсов. И снова почти каждый вечер встречалась с Иосифом.

Потом мы встретились перед его отъездом. Он приезжал в Вильнюс попрощаться с друзьями, мне о его приезде сообщил Томас Венцлова. Еще не все было понятно с отъездом. Распрощались, зная, что больше не встретимся. Только Томас Венцлова встретился с ним в Америке и был его близким другом.

Я еще получила одну открытку из Энн-Арбора, ответила, но больше писем не было. В те времена человек, уезжая на Запад, оставлял всех своих близких и друзей, зная, что с ними больше не встретится.

Перевод с литовского Андриуса Катилюса*

Аудронис Катилюс

Чем для меня было общение с Иосифом Бродским

Полагаю, все пишут серьезно, ответственно. Я же хотел бы посвободнее, как бы между прочим, как оно и происходило в моей жизни.

В общем течении жизни — эпизоды. Каких-либо сомнений, напряжения — может, рискуем, принимая дома, беря шефство над «меченым», — точно не было; просто знали, кто мы, что наше, а что нам навязано, с чем мы в меру своих сил считаться не будем. Было просто приятно и интересно общаться.

Когда Иосиф приехал в Литву, к нам на улицу Лейиклос, многообещающими были уже первые контакты. Мы были ровесниками. Остальные — несколько постарше. Оба курили. Достали сигареты. Стояли в нашей «большой» комнате, напротив открытой двери балкона. Иосиф достал спички, согнул ногу, выставляя вперед колено таким образом, чтобы достаточного объема бедро натянуло джинсы Wrangler, чиркнул по ним спичкой, зажег и вежливо предложил прикурить — «если не брезгуете». Это для первого знакомства. Лучился ковбойской молодцеватостью и выдумкой. Естественно, такой небольшой выпендрез только украшал общение.

Русскую поэзию, особенно «серебряного века», мы до некоторой степени знали и любили, правда, ее доступность, возможности выбора были весьма ограниченными. Впрочем, она и сейчас остается одной из важнейших составляющих моего духовного мира. Тогда же любые особые предпочтения означали не только эстетическую независимость, но и определенные жизненные установки, неотождествление себя с реалиями жизни. Хорошо это или плохо, но я привык, будучи один, повторять в уме стихи или песни. Стихи в основном оттуда.

Когда вечером в присутствии еще нескольких друзей Иосиф стал читать свои стихи, прошел озноб по спине. Стало понятно, и не только мне, что мы вживую, непосредственно столкнулись с чем-то, с чем до сих пор были знакомы только по труднодоступным книгам. Хотя мы и были подготовлены рассказами наших с Иосифом общих друзей, москвичей Сергеевых, впечатление было одним из сильнейших, а может, и сильнейшим из испытанных в жизни при соприкосновении с великим искусством, с его воздействием. Это несмотря на то, что я имел немало возможностей и всегда старался приобщиться к достижениям человечества всех жанров и времен... Впервые слушая Иосифа, я определенно не полностью воспринимал смысл текста — недоставало как знания тонкостей языка, так и эрудиции в классике, хотя я к тому времени уже закончил художественный институт, так называемую академию, а у Иосифа не было даже аттестата средней школы... Но суть — увы, невозстановимая (магнитофонов у нас тогда не было, и значения их мы не понимали) — была в его манере чтения, скорее декламации, стихов, хотя эти слова совершенно не подходят для описания происходившего. Иосиф был АРТИСТОМ, артистом всем своим существом. Это было не чтение, не декламация, это было ритмичное, мелодичное раскрытие своих стихов — чувств и мыслей — другим, передача

слушающим, в окружающую среду, а может — во Вселенную... И боли, и блаженства, и сомнений, и убеждений, и любви, и веры, и обид. Это было настолько убедительно, что, слушая его голос, не оставалось ничего, кроме веры. Непосредственно, не через строчки на бумаге сталкиваясь с одним из избранных мира сего, начинаешь, наверное, несколько иначе думать и обо всей высочайшей мировой поэзии. Могу лишь повторить, что Иосиф всей душой и личностью, в телесном смысле этого слова, был Артистом — Богом или Провидением помазанным в дар нам всем, так или иначе с ним встретившимся и общавшимся. Артист и мыслитель, что встречается нечасто. И в то же время естественнейший человек, *свой парень*, которому можно ненароком «подложить свинью» или испытать это с его стороны — прекрасно, по-дружески, без всяких ритуалов и извинений, по-свойски.

Когда Иосиф бывал в Вильнюсе, у нас на улице Лейкилос, мы немало общались, гуляли по Старому городу, я показывал ему наиболее интересные, не всем известные места в старом Вильнюсе. Мы лазили по крышам теперь уже давно снесенных сараев, так переходя с улицы Св. Игнатия на Университето, выходя во двор Алюмната, по пути оглядывая двор теперешней Президентуры, тогда Дома офицеров, и закрытый двор монастыря доминиканцев с часовенным столбом, или забирались на строящийся на улице Калинауско жилой дом и с торцовой лоджии верхнего этажа любовались панорамой утопающего в сумерках Старого города... Мы были молоды, любознательны, доверчивы, радовались, делясь тем, что было в нас и вокруг.

Сильно ли в то время Иосиф выделялся из, скажем, окружения своих вильнюсских друзей тех времен? Во всяком случае, сам Иосиф не старался быть кем-то большим, чем был на самом деле. То, что это талант милостью Божией, чувствовали все, с кем он

общался, но ведь каждый молодой человек в той среде был по-своему неповторим и интересен. Ровесники, схожим образом мыслящие и чувствующие, одно поколение.

Иосиф был очень нетривиальной личностью, его реакцию на окружение или события не всегда можно было предугадать. Он был наблюдателен, но многое воспринимал по-своему, старую вильнюсскую архитектуру видел нетрафаретно, во всяком случае привычных реакций мне дожидаться не довелось. Он все видел и оценивал несколько иначе, был способен взглянуть словно с другого ракурса, чаще всего очень неожиданного.

Не помню, чтобы приходилось просить или как-то иначе по-двигать Иосифа читать свои стихи, как-то само прорывалось. Обычно после добрых получаса или даже часа чтения снова возобновлялась общая беседа.

В то время и я и мое окружение много пили. Иосиф выпивал, но в меру. Помню, со своим старшим коллегой Юстинасом Шейбокасом с утра «поправляли здоровье». Соблазнившись хорошей погодой, вытащили из в творческой мастерской в бывшей кирхе на улице Вокечю уже тогда известного скульптора Витялиса Шериса (примерно через тридцать лет мне выпала честь эту кирху реставрировать и участвовать в церемонии повторного освящения) и двинули на гору Бельмонт. Радовались не только жизни, как мы тогда говорили, «на той горе, где дует теплый южный ветер». Попробовали безуспешно покататься на пасшемся под горой стреноженном гнедом, который разумно начинал подниматься в гору, затем поворачивал вниз и, резко останавливаясь, успешно скидывал нас через голову.. Навестили, наверное, не слишком обрадовав, жившее неподалеку семейство Сондецкисов, а к вечеру, уже только вдвоем с Юстасом, добрались до меня на улицу Лейиклос, где Иосиф несколькими нашим друзьям читал стихи. Юстас своим неповторимым басом

зычно спросил: «Кто-нибудь в этом доме даст выпить?» Вопрос был немедленно решен, и все дальше слушали стихи Иосифа.

Однажды, проводя вечер с подружкой, я перебрал спирта-ректификата, добытого у симпатичной кладовщицы на работе. Если пить его неразбавленным, то воздействие проявляется не сразу. Когда я, видимо, уже освоил необоснованно большую дозу, пришел Иосиф. Я познакомил его со своей подругой, мы еще выпили, и я блаженно отключился. На следующий день, возвращаясь с работы пообедать, я у дома встретил Иосифа с моей вчерашней подружкой. Иосиф, несколько смешавшись, сказал, что они томятся, едут в Палангу. Что ж, едут так едут — мне и так после вчерашнего все еще достаточно плохо физически.

Кстати, это была одна из последних наших встреч. Но и потом, когда общались уже только по телефону на расстоянии в тысячи километров, это не мешало нам искренне всласть посмеяться над этой встречей, тем более что он увел у меня не только подружку, но и нетрудно добываемый магарыч, — согласитесь, в жизни за все воздается...

Это все было в те времена, когда Иосиф был просто Иосиф, хотя мы и чувствовали, что это человек исключительного таланта. Но именно — человек, каким он остался, насколько я понимаю, и став лауреатом Нобелевской премии. О мертвых либо хорошо, либо никак. Говорить о Иосифе, вспоминать его могу только хорошо. Я говорю не о его вкладе в мировую культуру, это оценено и без меня. Я просто благодарен судьбе за то, что довелось в жизни близко пообщаться с Иосифом — как с хорошим другом, приятелем.

С тех пор прошло уже почти пятьдесят лет. По закону о недвижимых культурных ценностях это срок, по прошествии которого начинается поиск признаков культурной ценности, значимых свойств, которые подлежат сохранению для будущих

поколений. Не знаю, является ли наше общение с Иосифом такой ценностью, но мы — уже уходящее поколение, а Иосиф уже ушел. Мы, общавшиеся с ним вживую, непосредственно, тоже один за другим уйдем. Останется то, что человечеству оставил не Иосиф, а Иосиф Бродский. Я же поделился некоторыми воспоминаниями об Иосифе в обыденной жизни, просто Иосифе — потому что, безусловно, будучи избранником Провидения, это и определило его трагизм и величие, — он был одним из нас.

Да не обижаются те, кого я здесь упоминаю, — сейчас мне это помнится именно так. Пусть останется у кого-нибудь впечатление о вильнюсских днях шестидесятих годов прошлого века, о «горе, где дует теплый южный ветер». С нее, не только лишь им освеженный, возвращаешься домой и слушаешь чуть ли не приятелем читаемые прекрасные стихи, которым суждено быть увенчанными наивысшей наградой — Нобелевской премией. Бывало и так во времена советского оккупационного режима.

К слову, примерно в те же времена в Туве, в горном туристическом походе по «ненаселенке», через горы и тайгу, волею судьбы мне довелось три недели ночевать вдвоем в одной палатке с физиком-теоретиком Алешей Абрикосовым, позже тоже ставшим лауреатом Нобелевской премии. Могу засвидетельствовать, что и в горах и в жизни он был прекрасным другом и простым человеком. И позже, года через два, будущий лауреат гостил у меня в Вильнюсе вместе с француженкой-женой и маленьким сынишкой. Судя по двум встреченным в жизни, эти будущие лауреаты Нобелевской премии действительно свои, приятные люди. Конечно, два — статистическое ничто, возможно, случайность, но все равно нет-нет да и подумаешь: может, все они, нобелевские, такие?..

Перевод с литовского Андриуса Катияуса*

ВЛАДИМИР ТАРАСОВ

Несколько фрагментов

Его поэзия как джаз. Иногда плавная и быстротекущая, как боповские темы Чарли Паркера, иногда как бы разорванная кусочками, как музыка Телониуса Монка. Видимо, поэтому мы посвятили ему один из первых вечеров джаза в только что открытом джазовом кафе «Золотица» в городе Архангельске в 1965 году, читая его стихи, перепечатанные на самиздатовской машинке. Мы даже и не знали, что Бродский живет в ссылке неподалеку, в деревне Норенская. Не очень мы, собственно, и понимали тогда, что это самиздат. Тогда все было в машинописи или в копиях на так называемой «керосинке» — старом копировальном аппарате. В те времена увлечение поэзией и литературой было не то что популярно, а крайне необходимо в нашем кругу друзей. Ночами стояли за подпиской на «Библиотеку поэта» и вылавливали у коллекционеров 9-й том Бунина, конфискованный из всех библиотек советской властью.

«Что там можно, что нельзя» — как пел Высоцкий — мне доходчиво объяснили местные дружинники комсомольские, прижав меня до синяков в стенку около туалета в «Золотице»,

когда мы читали там Пастернака. «Джаз свой играйте, а этого нельзя», — вдабливали они мне.

И джаз Иосиф Бродский очень любил. Позже, когда я переехал в Вильнюс в 1968 году, я часто видел его, сидящего за столиком прямо напротив меня, вернее моих барабанов, в кафе «Неринга» в Вильнюсе, куда он часто приезжал к друзьям своим Ромасу Катилиусу и Томасу Венцлове.

Затем мы встретились еще раз, кажется, в 1989 году, на домашнем приеме у Йохима Сарториуса — директора программы ДААД в Западном Берлине. Мы стояли и разговаривали о музыке. Он интересовался судьбой нашего трио, которого уже не существовало. Спрашивал, бываю ли я в Архангельске, спрашивал о наших общих знакомых — питерских музыкантах.

В январе 1996 года я жил в городе Нью-Хейвен, что в штате Коннектикут, недалеко от дома Томаса и Тани Венцлова. Лонг-Айленд паблик радио у меня работало без перерывов. Они круглые сутки транслируют джаз, иногда перерываясь на новости. Принимая душ, сквозь шум воды мне показалось, что я услышал по радио, что нет больше Бродского...

Я стал звонить Венцлове, и Таня сказала, что это правда. Бродский от нас ушел...

Мы, собственно, и друзьями-то не были. Он знал меня как барабанщика, я ценил и ценю его как великого Поэта. Но что-то резко остановилось в тот момент — какая-то мелодия внутренняя, которая всегда у меня ассоциировалась с Иосифом Бродским.

ФЕЙТ ВИГЗЕЛЛ

Пенье с музыкой

Середина марта 1968 года. В лондонской Школе славянских и восточноевропейских исследований, где я занимала должность ассистента лектора, подходил к концу весенний семестр, и я получила разрешение на полтора месяца съездить в Ленинград для научной работы. Поскольку в то время иностранцы, прибывавшие с Запада, обязаны были останавливаться только в гостиницах «Интуриста», меня поселили в одном из лучших ленинградских отелей — в «Астории», что было вполне символично: построенная английской компанией, «Астория» до революции представляла собой островок Британии в России. Разумеется, к шестидесятым годам она успела приобрести вполне советский вид — это касалось и внутреннего убранства, и стиля обслуживания, а главное — «Астория» была запретной зоной: туда не допускались посторонние лица, тем более поэты, находившиеся под подозрением у властей. Я расположилась в номере и дальше стала действовать по неписанным правилам: надо было запастись двухкопеечными монетками и звонить знакомым ленинградцам не из гостиницы, а из будки телефона-автомата. Для



С Фейт Вигзелл

начала я позвонила в маленький кусочек Литвы — в коммунальную квартиру, где жили Ромас и Эля Катилюсы, — и услышала обрадованный ответ: «Заходи!»

Одетая как можно незаметнее, я нажала звонок у дверей их квартиры; Ромас открыл мне и провел в комнату, где сидел еще один молодой человек. В глаза мне сразу бросились его рыжеватые волосы, спадавшая на лоб прядь, крепкое телосложение, орлиный нос и пожелтевшие от никотина зубы. Он крепко пожал мне руку, улыбнувшись обаятельной, слегка застенчивой

улыбкой: так Ромас представил меня знаменитому Иосифу Бродскому. Мы сидели, что-то ели, разговаривали, а потом Иосиф проводил меня до гостиницы — от островка Литвы до бывшего кусочка Англии. Я улетала домой 27 апреля, в субботу, и на уютном литовском островке, полном тепла и дружелюбия, мне предстояло провести еще много памятных вечеров. В начале июля, когда Катилюсы уехали отдыхать в Литву, Иосиф писал мне из их квартиры.

Литва, как известно, была одним из его любимейших мест. В открытке, датированной 1 сентября 1968 года, он писал: «Я лечу из Вильнюса в Палангу... Вижу озера, леса, костелы. Nice Lithuania».* Между тем для меня это была недоступная территория. В 1963–1964 годах, впервые стажирясь в СССР, я успела подружиться с эстонцами и литовцами, съездила в Таллин, однако Вильнюс для иностранцев был закрыт (очередной пример параноидального советского абсурда). Литовские друзья могли показывать мне Вильнюс на фотографиях, знакомить с удивительной музыкой и живописью Чюрлёниса, но запрет продолжал действовать: если Иосифу разрешалось посещать Литву, но нельзя было покидать пределы Советского Союза, то мне позволяли приезжать в Ленинград (правда, не без многочисленных бюрократических сложностей), но зато не давали увидеть Вильнюс. Поэтому для меня картина Литвы — как для Бродского картина Запада — складывалась скорее из культурных и эмоциональных впечатлений, чем из реальных, географических. Не случайно Иосиф писал мне по пути из Вильнюса в Палангу: «Странно лететь над этой зеленой землей, где ты никогда не бывала».

* Милая Литва (англ.).

В следующий раз мне предстояло приехать в Ленинград на неделю в августе месяце, и я решила отправиться поездом. Для нас, иностранцев, был зарезервирован особый вагон — обычные советские граждане туда не допускались, а мы, в свою очередь, не имели права выходить на платформу во время стоянки в Вильнюсе. Помню, тогда я подумала: «Наверное, мне только и суждено увидеть, что вильнюсский вокзал из окна поезда — ближе к стране подобраться не выйдет». Из-за перебоев с почтой Иосиф не успел предупредить, что будет в Вильнюсе и купит билет до Ленинграда на поезд, которым ехала я. Каково же было мое изумление, когда он вдруг появился у меня в купе! Я должна была бы обрадоваться, но вместо этого перепугалась до смерти: страх, что общение со мной, иностранкой, чревато для Иосифа дополнительными неприятностями, оказалось сильнее. Для него самого, напротив, такой поступок был в порядке вещей — не впервой он выказывал подобное пренебрежение к собственной безопасности, если находил для этого веские причины (например, как-то поздно вечером он пробрался ко мне в «Асторию»). Мы расстались 18 августа в Москве, оттуда он вернулся в Ленинград, но через десять дней вновь очутился в Литве; в Вильнюсе он навестил Катилюсов, а 1 сентября уже летел в Палангу — там он собирался отдохнуть, хотя отдыхать в принципе не очень умел.

Прошло много лет. За это время Литва из запретной территории превратилась в одну из стран Европейского союза, куда можно приезжать без виз. В начале июня 2010 года я впервые ступила на землю, которую так любил Иосиф. Я приехала в Литву не только для того, чтобы подкрепить конкретными топографическими наблюдениями живший в моей памяти образ этой страны, не только чтобы вновь увидеться со старыми

знакомыми: в каком-то смысле для меня это было свидание с Бродским. В Вильнюсе проходила конференция, посвященная его творчеству; организовали ее литовские друзья, которые когда-то меня с ним познакомили. Существует справедливое поверье: те, кого уже нет на свете, продолжают жить в памяти тех, кто любил их при жизни, — и среди приехавших на конференцию было множество таких людей. Шла речь о поэзии Бродского, о его взглядах и привязанностях; это была не столько конференция, сколько встреча друзей, хотя не все участники были прежде знакомы друг с другом. В программу кроме докладов об интеллектуальных связях Бродского с Литвой был включен один особенно тронувший меня пункт — пешеходная экскурсия по местам Бродского в Вильнюсе. Память бывает особенно прочна, если она подкреплена ощущением места, и эта пешая прогулка по городу, вид реальных домов, где он жил, где проводил свое время, наполнили мои вильнюсские впечатления особым светом: в них преломился опыт одного из величайших поэтов нашего поколения.

Перевод с английского Ирины Комаровой*

ЭЛИЗАБЕТ РОБСОН

Воспоминания о Бродском и Литве

Вспоминая о жизни Бродского, я мысленно переношусь в зимний Ленинград — именно зимний, потому что я провела две зимы подряд (1967–1968 и 1968–1969) в городе, теперь известном под его прежним названием — Санкт-Петербург. Там, конечно, бывают погожие летние месяцы, удивительные по атмосфере белые ночи, но запомнились мне в первую очередь тускло освещенные улицы, редкие магазины с полупустыми витринами, холод и толпы зябнущих прохожих в старомодных пальто, шерстяных вязаных шапках и платках, с озабоченными, угрюмыми лицами. Помню лестничные клетки в многоэтажных жилых домах, с перегоревшими лампочками и вонючими лифтами, полутемные коридоры коммунальных квартир, комнаты, где читать можно было только с настольной лампой: слабый свет с потолка не помогал. Светлое время суток длилось всего несколько часов, а часто и того меньше из-за дождя и тумана; падал снег, который быстро превращался в слякоть и грязь. Порой проглядывало зимнее солнце, в его блеске город преобразался, и можно было себе представить, какой восторг

вызывали когда-то великолепные здания, находившиеся теперь в запустении.

По случаю пятидесятой годовщины Октябрьской революции город основательно почистили, фасады покрасили, но всего этого хватило ненадолго и к тому же затронуло только центральные кварталы. Чуть в сторону от центра, на улице Чайковского, тротуары были неровные, фонарей мало, но все это искупалось тем, что там жили — в одной большой комнате коммунальной квартиры — Ромас и Эля Катилюсы. Неподалеку, в другой коммуналке, в родительских «полутора комнатах», жил молодой Иосиф Бродский. Путь к его дому от улицы Чайковского пролегал по Литейному проспекту, довольно прилично освещенному — там ходил трамвай, — но сами дома и их окружение были в общем похожи. Да и большинство коренных ленинградцев жили примерно в одинаковых условиях.

Политический климат того времени тоже был мрачноват: хрущевская «оттепель» закончилась, страной правил Брежнев, и гайки государственного контроля затягивались все туже. Для ленинградской интеллигенции родной город давно перестал быть петровским «окном в Европу». Обстановка казалась даже более гнетущей, чем в Москве: москвичи по крайней мере активно общались, там можно было говорить — пускай о мало значащих вещах, но *говорить*. В Ленинграде все постоянно жили с ощущением, будто у стен есть уши, и это ощущение часто соответствовало действительности.

И вот в такой город попадает британская аспирантка, собиравшая материал для диссертации. Это была моя вторая поездка в Советский Союз; в первый раз я побывала там в составе туристской группы от студенческой организации «Спутник» и провела всего несколько дней. Сказать, что второй приезд

поверг меня в шок, значит не сказать ничего. Я еще плохо говорила и плохо понимала по-русски, и это сильно затрудняло повседневную жизнь. Поэтому первой моей задачей было как следует выучить русский язык, а затем разобраться в системе ленинградских архивов и получить к ним доступ для работы.

Одним из памятных событий во время моей учебы в Оксфорде было присуждение почетного докторского звания Анне Ахматовой 4 июня 1965 года. Для наших преподавателей Ахматова была легендой: в самые тяжелые годы она оставалась в СССР, не захотела уезжать и дорого за это поплатилась. Ее стихи переводились на английский, были широко известны, и все оксфордские студенты-русисты ощущали в какой-то степени ауру ее личности. Я попала в Ленинград осенью 1967 года, когда Ахматовой уже не было в живых, но ее литературный круг остался. Один университетский приятель ввел меня в этот круг, и меня сразу поразило несходство его участников со всеми остальными русскими, с которыми мне довелось познакомиться раньше. Говорить о поэзии для них было так же естественно, как для обывателей обсуждать газетные новости. Эти люди дышали стихами, засыпали и просыпались, повторяя стихи. Писателей и поэтов — независимо от даты их рождения — здесь называли по имени-отчеству; строки современных авторов возводились к их источникам в творчестве предшественников, изучались, обсуждались, анализировались. Такое отношение к поэзии решительно отличалось от того, которое преподавалось нам в Оксфорде: темпераментное и страстное, тесно связанное с историей литературы в целом, оно было новым для меня и доставляло глубочайшее наслаждение.

Среди поэтов ахматовского круга самым ярким был Иосиф Бродский — и в силу своего темперамента, и в силу особенностей его биографии: он бросил школу, не доучившись, на

какое-то время попал в психиатрическую больницу, а затем был обвинен в тунеядстве, поскольку не имел постоянного места работы. Суд приговорил его к пяти годам ссылки на север России, в Архангельскую область, где он (как «сельскохозяйственный рабочий») провел немногим больше полутора лет. Освободившись из ссылки, Бродский зарабатывал чем мог, в частности помогал отцу, профессиональному фотографу, и рассказывал, как ему приходилось снимать в морге трупы перед захоронением. Еще до суда он усиленно занимался переводом стихов и теперь время от времени получал заказы на небольшие переводы. Жил он по-прежнему вместе с родителями; потребности у него были самые скромные. Подлинным смыслом его жизни оставалась поэзия: он много и жадно читал, продолжая заниматься собственным «сочинительством». Изучение слов — со временем слов на разных языках — привлекало его чем дальше, тем больше, и особую роль в его жизни сыграл интерес к английской поэзии. Оказалось, что Бродский близко знаком с моими литовскими друзьями — Ромасом и Элей, — и мне посчастливилось не раз присутствовать при их долгих беседах о культуре, политике и многом другом. Время от времени Эля с Иосифом выходили на лестничную площадку покурить — оба были заядлые курьшички. Кстати, Эля варила восхитительный кофе по-восточному, то есть по-турецки.

В те годы Запад для Иосифа был «заграницей», чужим миром, который он мало знал и еще меньше понимал. Однако его знаний было достаточно для того, чтобы понимать: там, за пределами отечества, существует мир иной культуры, способный обогатить его собственное творчество, приучая свободно мыслить и существенно расширяя запас литературных впечатлений. Ему повезло: он познакомился и подружился с литовским поэтом

Томасом Венцовой, который вместе с Ромасом и Элей воплощал для него Прибалтику — тогдашнюю советскую «заграницу». Было принято говорить: «Еду в отпуск за границу, в Прибалтику», потому что три прибалтийские республики — Латвия, Литва и Эстония — оставались наименее советскими в составе СССР. Важно было и то, что Литва граничила с Польшей: многовековая историческая связь литовцев с поляками не забывалась, польская культура была популярна, а польская литература была открыта миру благодаря выходившим в Польше литературным журналам. Русские, знавшие польский язык, именно по польским переводам впервые знакомились с Кафкой, Джойсом, многими другими писателями. Да и сама Литва с ее барочной архитектурой, католическим наследием и соседством с Польшей предоставляла возможность хоть как-то приобщиться к западной жизни, не покидая пределы Советского Союза.

В ахматовском кругу были поэты, получившие официальное высшее образование, владевшие разными языками. Иосиф, в отличие от них, был самоучкой: он занимался самообразованием всю жизнь. По-английски он на первых порах говорил с трудом, в грамматике разбирался слабо, но с листа читал и понимал вполне свободно и был полон решимости освоить язык как следует: уже тогда он имел представление о богатстве англоязычной поэзии и стремился познакомиться с ней в оригинале. Он открыл для себя творчество новейших английских поэтов, в первую очередь Одена, и увлеченно читал многих классиков. В свою очередь, его собственные стихи стали переводиться и печататься на английском при посредничестве ученых-филологов, которые приезжали в Ленинград и знакомились с Бродским.

Интерес Иосифа к западному миру возростал. Он пришелся на годы, когда общение с иностранцами грозило серьезными

неприятностями; развернутая Сталиным жестокая кампания по борьбе с «безродными космополитами» была еще свежа в памяти. В ходе этой кампании тысячи советских деятелей культуры отправились на Север и в Сибирь, многие поплатились жизнью. Иосиф, вернувшись из своей архангельской ссылки, несмотря на все предупреждения и уговоры, отказываясь «вести себя осторожно» и охотно шел на контакт с приезжавшими иностранцами, если с ними можно было поговорить о поэзии, о культуре, если они готовы были разделить его любовь к музыке и живописи и приоткрыть ему мир искусства с новой стороны. Какое определение можно подобрать для Бродского? Слово «космополит» не всегда звучит лестно, а в СССР шестидесятых годов оно воспринималось чуть ли не как ругательство. Назвать Бродского приверженцем мультикультуры, если воспользоваться нынешним термином, тоже было бы не совсем правильно. Разумеется, Иосиф прекрасно видел множественные различия между культурой России и, скажем, культурой Англии, но две эти культуры не существовали для него порознь — это наглядно отразилось в «Большой элегии Джону Донну». Такие разные на поверхностный взгляд культуры составляли в его глазах нерасторжимое единство, и он был убежден, что эта общая великая культура держится на одних и тех же мощных моральных устоях. В число объединяющих принципов входили уважение к слову, к языку, стремление вернуть слову подобающую роль и неприятие его использования в грубо пропагандистских целях. В стихах Бродского мысль и чувство выражаются с той степенью откровенности и прямоты, которая совместима с его поэтической системой. Прямота не предполагает прямолинейности, откровенность не равнозначна открытости. Многие стихи Бродского сложны для восприятия, их не всегда легко

истолковать, однако его поэтическая искренность не подлежит сомнению. Диапазон его творчества с годами рос — он стал писать стихи не только на русском, но и на английском, к поэзии добавилась проза в виде целой вереницы блестящих эссе. Бродского с полным правом можно было бы назвать космополитом, но, как мне кажется, суть дела точнее отражает другое определение: *гражданин мировой культуры*. Это очень весомое определение, и к Бродскому, с его любовью к музыке и постоянным интересом к живописи и архитектуре, оно вполне приложимо. Кстати, Эрмитаж — хранилище непревзойденных собраний искусства — был одним из любимейших мест Иосифа в его родном городе.

Непримиримая позиция поэта по отношению к властям была известна, и Бродский находился под постоянным наблюдением. Под окнами его дома нередко стоял автомобиль, начиненный подслушивающей аппаратурой. По городу за ним сплошь и рядом следовал «хвост». Как-то раз в сумерках мы шли с ним вдвоем по улице, и я заметила, что за нами, в нескольких шагах, ползет машина. Иосиф только пожал плечами.

Сегодня кажется невообразимым, чтобы органы госбезопасности так яростно ополчились на человека, просто пишущего стихи, и превратили его в мишень для преследований. Тогда это никого не удивляло и не обсуждалось вслух. Власть сознавала, что сам по себе открытый и честный подход к литературному творчеству может оказаться пагубным для официально признанных литераторов тех лет, разоблачив бездарность их писаний. Взгляд на словесность как на полноценное средство выражения истины противоречил господствовавшей в СССР тенденции насаждать в литературе деревянный язык правоверных коммунистических идей. Более того, Бродский, как многие поэты его круга и как великие поэты прошлого, мыслил моральными

категориями (у него, по сравнению с западными людьми это выражалось более обостренно). Перед лицом реальности с ее добром и злом — где зло, как правило, преобладает, — было важно иметь смелость называть вещи своими именами и по мере сил отстаивать правду. Поэзия без правды — это не поэзия. С этим не могли примириться комиссары от литературы. В позиции Бродского не было нарочитого вызова — была только констатация самоочевидного факта. Вопреки неблагоприятному окружению он продолжал ощущать себя частью мировой культуры, и в этом смысле важной поддержкой стали для него регулярные поездки «за границу» — в Литву.

Кажется, ранней весной 1968 года я впервые услышала название Паланга — тогда это был популярный балтийский курорт. Но Иосиф ездил туда не как обычный турист, а в поисках передышки от давления, которое он постоянно испытывал, живя в родном городе. Прибалтика привлекала его еще и тем, что там естественнее было читать и размышлять на западный манер, по-европейски. Литва стимулировала его тягу к иным языкам, к иным культурным впечатлениям. Советизация прибалтийских республик, насильственно присоединенных к СССР в 1940 году, по сравнению с прочими оказалась недолгой, и это создавало иллюзию большей свободы. Иосиф постоянно ездил в Вильнюс, летом не раз гостил на литовском побережье; так продолжалось вплоть до его отъезда из СССР в июне 1972 года. Томас Венцлова уехал в США несколько лет спустя, но друзья Бродского Ромас и Эля смогли повидаться с ним только после развала Советского Союза, когда из Литвы, вновь получившей независимость, стало можно ездить на Запад.

В родном городе Иосиф чем дальше, тем больше выглядел чужаком. Он одевался по-западному — если удавалось раздобыть

импортную одежду. Приезжие иностранцы дарили ему джинсы, которые он мог бы выгодно продать на черном рынке, но в которых предпочитал ходить сам, потому что местное качество было ниже всякой критики. Ему не сиделось на месте, он готов был при малейшей возможности куда-нибудь отправиться. Уйдя из школы еще совсем мальчиком, он стал наниматься в геологические экспедиции и несколько раз побывал на Севере, в Архангельской области, в Восточной Сибири, в Казахстане. Эти поездки он любил. Даже в ссылке, несмотря на тяжелый физический труд, он находил известное удовлетворение. Как ни странно, почти бродяжнический образ жизни совершенно не мешал его сочинительству. Он повсюду возил с собой пишущую машинку, рассматривая ее как улучшенное продолжение собственного почерка, и с радостью откликался на любое приглашение погостить; приглашения поступали от добрых знакомых разных поколений. Он часто бывал в Москве, в Крыму, в Литве и еще много где.

Родительский дом оставался для него прочным гнездом, надежным пристанищем. Там были его книги, поэтические томики, пластинки. Книжные полки украшали фотографии Анны Ахматовой, Бориса Пастернака, других любимых писателей. Друзья собирались в его «полукомнате» слушать передачи Би-би-си; там впервые прозвучало сообщение о вторжении войск в Чехословакию в августе 1968 года. Слушали в основном передачи на русском языке, но они немилосердно глушились, приходилось переключаться на английский, и тогда меня просили помочь с переводом. Известие о жестоком подавлении Пражской весны под фальшивым предлогом (якобы Чехословакии грозил контроль со стороны «западногерманских реваншистов») стало тяжелым ударом для Бродского и для интеллигенции

вообще. Это означало конец надеждам на либерализацию, на бóльшую свободу.

Высланный из России при брежневском режиме, Иосиф на удивление удачно приспособился к трудностям вынужденной эмиграции. Довольно скоро он переехал в США и начал преподавать в американских колледжах и университетах. Его вечная страсть к путешествиям не ослабевала — теперь долгие летние каникулы он проводил в Европе. Каждый год он бывал то во Франции, то в Италии, то в Англии, реже в Германии. Он по очереди гостил у разных своих знакомых, задерживаясь иногда всего на несколько дней — и писал, писал без устали. Цикл стихотворений «В Англии» (1977) был начат в моем доме в Брайтоне, что подтверждает лаконичная — в стиле Бродского — дарственная надпись: «Лиз, в чьем доме, etc...» В Брайтоне он останавливался либо у нас, либо в какой-нибудь гостинице. В частности, в брайтонском Гранд-отеле он жил летом 1984 года, в преддверии очередного съезда партии консерваторов. Во время съезда, в октябре, террористы из ИРА (Ирландской республиканской армии) взорвали заложенную в отеле бомбу; погибли четыре человека, чудом уцелела Маргарет Тэтчер. Позднее Иосифа допрашивали в полиции, выясняя, не заметил ли он перед взрывом чего-либо подозрительного.

С течением времени он все больше писал на английском, и прозу и стихи, но никогда не прекращал писать на русском. Лингвистический подвиг Бродского можно сравнить только с подвигом Набокова — правда, Набоков был по преимуществу прозаик. Когда Бродский поселился на Западе, многие предрекали, что он утратит свой неповторимый голос, лишившись русскоязычной аудитории: предполагалось, что только говорящая на одном языке с поэтом публика способна подпитывать

его талант и оценивать его должным образом. Бродский своим примером блестяще доказал, что все эти люди ошибались. Живя и работая в США, он не отрывался от вскормившей его восточноевропейской культуры; он прививал ее к культуре новообретенной — англоязычной, англо-американской — и стал уникальным олицетворением единства обеих. Он подружился с многими поэтами Великобритании и США; его широко издавали и наперебой приглашали выступать с поэтическими чтениями. В Штатах (в 1991 г.) ему присвоили почетное звание поэта-лауреата. Характерно, что о присуждении ему Нобелевской премии по литературе (в 1987 г.) Бродский впервые услышал в Лондоне, где гостил у своего друга, австрийского пианиста Альфреда Бренделя, и первое интервью по этому поводу он дал Русской службе Би-би-си. Регулярные поездки в Европу составляли для него незаменимый источник вдохновения; он написал чудесную книгу о своем любимом итальянском городе — Венеции («Набережная неизлечимых», 1989). Он постоянно размышлял о роли культуры в современном мире, о национальных и религиозных особенностях разных культур. Ближе других европейских стран ему была Италия — там он чувствовал себя как дома, но, по существу, всегда оставался *гражданином мировой культуры*.

При всем этом Иосиф иногда испытывал что-то вроде ностальгии. Он тосковал по северному пейзажу, который ассоциировался для него и с родным городом, и с архангельской ссылкой. В 1990 году он съездил в Уппсалу, и пребывание в Швеции доставило ему радость, смешанную с печалью: все было там так похоже на знакомые места с другой стороны Финского залива. Сознание, что отечество для него закрыто навсегда, причиняло ему немалую боль. Тем не менее после 1991 года, когда он мог

бы вернуться в Россию и получить все возможные почести как величайший из живущих русских поэтов и нобелевский лауреат, он принял твердое решение не возвращаться. Он говорил мне, что не вынесет шумихи, которую обязательно поднимут вокруг него официальные лица, что он не хочет слышать славословия от людей, которых не уважает. Родители Иосифа скончались, так и не увидев своего единственного сына, за несколько лет до распада СССР; он каждый год посылал им приглашения, они каждый год подавали документы на визу — и всякий раз получали отказ. Иосиф сказал, что возвращаться ему уже не к чему.

Творчество в традициях мировой литературы составляло смысл жизни Бродского. Политика глубочайшим образом повлияла на его судьбу, но подчинить его себе не смогла. Верность своему поэтическому призванию он сохранил до конца жизни.

Перевод с английского Ирины Комаровой*

СЭМЮЕЛ РЕЙМЕР

Вспоминая Иосифа Бродского

Ясно помню мое первое знакомство с Иосифом Бродским или по крайней мере с его именем. Было это осенью 1964 года, я только что поступил в аспирантуру по истории в Колумбийский университет. Однажды во второй половине дня я забрел в отдел периодики Батлеровской библиотеки. Роясь на полках, я заметил журнал под названием «Нью Лидер». Издание было мне незнакомо, но на обложке рекламировали статью о недавнем суде над молодым русским поэтом Иосифом Бродским. Основу статьи составляла запись суда над Бродским, которую вела прямо в зале суда московская писательница Фрида Виждорова. Судя по этой записи, общая атмосфера в зале производила впечатление гротеска. Однако простые и острые ответы молодого поэта на оскорбительные вопросы обвинения и на запугивания со стороны судьи произвели на меня сильное впечатление, отчего судебный процесс и фамилия поэта застряли у меня в памяти.

Четыре года спустя, в августе 1968-го, я отправился в Ленинград, где мне предстояло провести год, занимаясь подготовкой

докторской диссертации. Это входило в программу научного обмена между Соединенными Штатами и Советским Союзом.

Той осенью я познакомился с Элизабет Робсон, аспиранткой из Оксфорда, изучавшей русскую литературу. Она находилась в Ленинграде уже больше года, и за это время у нее образовался целый круг знакомых. Однажды то ли в конце ноября, то ли в начале декабря она предложила мне пойти с ней к Ромасу и Эле Катилюсам. Ромас, литовский физик, защитил диссертацию в Ленинграде. Там же он познакомился с Элей и женился на ней. Она приехала из Узбекистана и училась на физико-математическом факультете. И вот холодным вечером мы с Элизабет отправились на улицу Чайковского, где Ромас и Эля жили в коммунальной квартире, в одной комнате со своим малолетним сыном Андрюсом.

Их комната была просторной, с высоким потолком. Ряд полок разделял комнату на две половины. Ранним вечером Эля уложила Андрюса спать по другую сторону этой стенки из полок. Потом мы втроем сидели вокруг обеденного стола, допоздна пили чай и разговаривали приглушенными голосами, чтобы не разбудить Андрюса. Тогда я и не подозревал, что эта встреча с Ромасом и Элей приведет к дружбе на всю жизнь. От Элизабет я узнал, что Ромас с Элей — близкие друзья Иосифа Бродского, но во время моих первых посещений Катилюсов его там не было. Прошло уже года три с момента возвращения Иосифа из северной ссылки. Благодаря суду и ссылке он сделался широко известен. Но я тогда еще не видел ни одного его стихотворения и уж точно не имел ни малейшего представления о том, что он собой представляет как личность. Однажды вечером в феврале 1969-го я один зашел к Ромасу с Элей (Элизабет уже уехала в январе в Англию). Позже неожиданно объявился Иосиф, позвонив

предварительно по автомату, чтобы узнать, удобно ли ему зайти. Я помню очень живо, что его тогдашний облик никоим образом не соответствовал моему представлению о том, как должен выглядеть поэт (или политический мученик). Иосиф начисто разрушил мое предвзятое представление. Плотного сложения, среднего роста, он оставлял впечатление физической силы и живости. Говорил он быстро, так что я не всегда улавливал смысла сказанного им. Он сердечно со мной поздоровался, сказал, что много обо мне слышал от Ромаса, и, казалось, был искренне рад знакомству. Его энергичная манера разговора и чувство юмора произвели на меня сильное впечатление.

Когда пришло время уходить, Иосиф предложил проводить меня до ближайшей станции метро «Чернышевская», упомянув, что живет недалеко оттуда. Улицы к этому часу уже опустели, и мы дорогой много болтали. У входа в метро он сказал: «Вот мой номер телефона и адрес. Звоните и заходите». Он произнес эти слова настойчиво, они прозвучали искренне. Я записал его координаты и несколько дней спустя позвонил. Его не было дома — и я не стал перезванивать ему сразу.

Через несколько дней я оказался на перекрестке Среднего проспекта и Первой линии Васильевского острова. Было очень шумно из-за скрежета трамваев, заворачивающих за угол. Внезапно я услышал крик «Сэм!» с другой стороны улицы и увидел Иосифа, который махал мне рукой. Я перешел к нему, и он спросил: «Сэм, почему вы не позвонили?» Я объяснил, что звонил один раз, но не застал его. На что он отозвался: «Послушайте, давайте договоримся о дне. Что если вы придете завтра в семь вечера?» Так что мы увиделись следующим вечером и после этого встречались довольно часто все то время, что я оставался в Ленинграде. Потом я не раз дивился счастливой случайной встрече

на Среднем проспекте, ибо с этого началась дружба, которой в ином случае могло и не быть.

Наши беседы с Иосифом весной 1969 года велись на самые разные темы. Вначале я не очень понимал, о чем мы будем разговаривать. Однако беседовать с ним оказалось легко и приятно. Его интересовало, откуда я и что привело меня в Ленинград. Я, в свою очередь, расспрашивал о его жизненном опыте: как он пережил блокаду, как перенес ссылку. Рассказывая про ссылку, он неизменно подчеркивал все положительное: ему отвели небольшую пристройку к хозяйской избе, где он и жил сам по себе; жители деревни относились к нему хорошо; сельский труд, назначенный ему, был не слишком тяжел, и, наконец, что было, вероятно, важнее всего, он считал этот период одним из самых плодотворных в его творчестве.

Столь, можно сказать, принципиальный отказ от любых жалоб не удивит никого, кто читал его эссе или знал его лично. По моему же мнению, положительная в целом память о ссылке коренилась в его решимости не позволить кому бы то ни было — властям или кому угодно другому — определять достоинства и недостатки его внутреннего восприятия внешних обстоятельств.

Немудрено, что ответы его произвели на меня немалое впечатление, они обличали необычайно сильную личность со стоическим отношением к жизни. В разговорах с Иосифом быстро сделалось очевидным, что он — природный педагог, поэтому я решил поговорить с ним о поэзии. Он не раз упоминал, что любит стихи Державина. У меня, когда я изучал в университете русский, была написана довольно большая статья о Державине. Однако процесс написания работы на русском языке был тогда для меня чисто механическим упражнением. Это был скорее беглый обзор жизни Державина, чем внимательное прочтение

стихов, так что сама поэзия Державина глубокого впечатления на меня не произвела. Вместо того чтобы умолчать об этом, я сказал Иосифу: «Знаете, вам, очевидно, державинская поэзия очень близка. Я на последнем курсе написал работу о Державине и прочел наиболее известные стихи. Хотел бы я разделить вашу любовь к ним, но, к сожалению, они оставили меня равнодушным». Иосиф с живостью обернулся ко мне и спросил: «А вы когда-нибудь слышали чтение его стихов вслух?» Я ответил, что нет.

Иосиф достал с полки том Державина и принялся читать вслух «На смерть князя Мещерского». Я не уловил всех нюансов стихотворения в исполнении Иосифа, однако тут же почувствовал мощь этих стихов, которой прежде не ощущал.*

Впервые тогда я услышал, как Иосиф читает стихи вслух. У него это превращалось в некое действие — мне никогда не приходилось слышать ничего подобного. Чтение произвело на меня впечатление более сильное, чем смысл самих слов. Именно чтение Иосифом Державина сказало мне нечто о месте поэзии в русской культуре, чего раньше я не замечал. То был первый из многих случаев, когда Иосиф по собственному побуждению, из желания поделиться чудом с друзьями раскрывал перед ними поэтический мир того или иного автора. Сам бы я никоим образом этого не постиг. Его способность передать своим слушателям ясным и доступным языком сущность достигнутого поэтом была одним из его величайших дарований.

Поэзия Анны Ахматовой вкупе с силой и достоинством ее личности ощутимо присутствовала в Ленинграде после ее смерти

* Много лет спустя, прочитав стихотворение Иосифа «На смерть Жукова», я вспомнил тот вечер и сказал Иосифу: «Чисто державинский рисунок стиха». Он и сам это, конечно, знал, но, кажется, был доволен, что я заметил родство.

в 1966 году. Я знал, что Иосиф был с ней знаком, поэтому однажды попросил его рассказать мне, каково было общаться с ней близко. Он совершенно правильно понял, что мне нужен не анализ ее поэзии, а его впечатление от ее личности. По большей части жизнеописания Ахматовой по вполне понятным причинам проникнуты трагизмом. Иосиф вряд ли стал бы оспаривать этот трагизм, но он предпочел сделать упор на другом. Подумав с минуту, он сказал, что не знал никого, кто смеялся бы так весело и от души, как она. Видно было, что он с удовольствием вспоминает об этом.

Разговор был недолгим, но многое мне открыл.

В другой вечер, когда мы с ним познакомились уже ближе, Иосиф выдвинул ящик с машинописью. Он протянул мне одно стихотворение, как оказалось, на английском и попросил высказать свое мнение. Оно называлось «Остановка в пустыне». Не был указан ни автор, ни вообще перевод это или нет. Я заподозрил, что это его стихи. И так оно и было. Переводчиком был Джордж Клайн, с которым впоследствии я подружился, и именно этот его перевод я до сих пор считаю огромной удачей. Даже в переводе стихотворение это оставалось упорным размышлением, скрытым протестом против многого, что нами принято приветствовать как прогресс. Читая эти стихи, я начал осознавать, что Иосиф гораздо более одаренный поэт, чем мне представлялось вначале. При этом я узнал и еще кое-что, до того случая мною не замеченное. По тому, как бережно обращался Иосиф с рукописью, я понял, что, когда дело касается его собственных стихов, он становится собранным и донельзя серьезным. Бережность, с какой он относился к своему ремеслу, я наблюдал не раз и в других случаях, но тут впервые я начал понимать, насколько важное место занимало литературное творчество в его самоощущении.

До сих пор живут в моей памяти и другие встречи с Иосифом весной 1969 года. Вот одна из них: небольшая компания собралась в квартире двух литературоведов, Леонида Черткова и Тани Никольской. Там были и Ромас с Элей. В Ленинграде уже начались белые ночи. Позже вечером, когда вовсю еще светило солнце, Иосиф прочел стихотворение, которое только что написал. Впервые я услышал, как он читает собственные стихи. Не помню, какое это было стихотворение, но опять-таки его чтение, даже просто за обеденным столом, потрясло меня — это было почти молитвенное песнопение. Иосифа тогда в особенности интересовало, что скажет по поводу нового стихотворения Чертков; он явно ждал его суждения. Чертков какое-то время думал, прежде чем заговорить, но потом признался, что в затруднении. Я даже помню его точные слова: «Затрудняюсь сказать». Не помню, что было дальше, но крайняя сосредоточенность Черткова в тот момент свидетельствовала о том, насколько серьезно он относился к любимым стихам Иосифа.

В другой раз, дома у Иосифа, я стал свидетелем короткого, но острого спора между Иосифом и Чертковым по поводу известных слов из ахматовского «Реквиема», где Ахматова прошептала женщине, стоявшей вместе с ней у стен тюрьмы, что да, она может все *это* описать. В споре полемический запал исходил от Черткова, который считал ахматовское «Могу» недостойным. То есть, по его мнению, Ахматова, стоя в очереди и ожидая услышать что-нибудь о судьбе своего сына, при этом думала не только о сыне, но и о том, как она переведет это переживание в акт творчества. Как бы высоко в конечном счете ни оценивал Чертков поэму, он считал моральную цену слишком высокой. Иосиф оказался в непривычной роли «мирового посредника». Он успокаивающим тоном отвечал, что на художнике лежит

обязательство отображать трагическую реальность, однако по всему было видно, что он вполне понимает аргументацию Черткова и в какой-то мере принимает его позицию. Его уважение к мнению Черткова, несомненно, подогревалось сознанием того, что Чертков самым настоящим образом отсидел в советской тюрьме за участие в студенческих протестах в Московском университете, которые были вызваны подавлением Венгерской революции в 1956 году. Меня поразило, что ахматовская поэма, в целом полная сострадания, могла породить столь принципиальное несогласие между друзьями. Я упоминаю здесь этот случай, потому что он раскрывает важное, но часто игнорируемое свойство личности Иосифа — его способность хладнокровно отстаивать собственную позицию и при этом стараться успокоить друга.

Политика не занимала заметного места в наших разговорах с Иосифом в 1969 году. Однако одним словом или жестом он мог дать понять, что любви к советской политической системе не испытывает.

В конце зимы, проходя однажды у Бродских через родительскую комнату, мы услышали по телевизору сообщение о победе чешской команды над советской. Иосиф обернулся ко мне и с широкой улыбкой задрал два больших пальца вверх. После недавнего августовского вторжения советских войск в Чехословакию не надо было спрашивать, что он имеет в виду. Но самое сильное впечатление на меня произвело полнейшее его безразличие к тогдашним советским лидерам. Казалось, он считал их чем-то вроде явлений природы. Как я обнаружил позднее, в своей поэзии он избегал упоминания текущих событий и имен руководителей, считая, что такие упоминания сузили бы смысл стихов. Но что, разумеется, важнее — это его глубокое

убеждение, выраженное в строке «свобода — это когда забываешь отчество у тирана» («Часть речи», 1976).

Накануне моего отъезда из Ленинграда Иосиф устроил у себя в мою честь прощальную вечеринку. Он пригласил Ромаса, Элю и еще нескольких общих друзей. Для гостей у него была куплена водка, но, зная, что я не пью спиртного, он поставил для меня две бутылки лимонада, обернув горлышки бумажными лентами с надписью: «Только для Сэма». Жест одновременно трогательный и забавный. Вся прощальная вечеринка и в особенности этот жест демонстрировали характерное для Иосифа умение дать своим друзьям почувствовать себя на особом положении, и цели этой он тогда достиг. Я уже давно начал страшиться близящейся даты отъезда из России. Отношения, которые завязались у меня с Иосифом и несколькими другими людьми и которые оказались глубже и значительнее, чем я мог и вообразить до прибытия в Россию, возникли, в сущности, совсем недавно. Принимая во внимание обстановку в мире конца шестидесятых, невозможно было представить себе, когда эти отношения смогут продолжиться и случится ли это вообще. После моего отъезда летом 1969-го мы с Иосифом периодически обменивались письмами или открытками. Медлительность почты и вероятность цензуры мешали мало-мальски откровенной или подробной переписке, но одна из открыток Иосифа произвела на меня сильное впечатление. Центральное место в американской политической жизни уже несколько лет занимало протестное движение против войны во Вьетнаме, а в 1969-м и в 1970-м, первых двух годах президентства Ричарда Никсона, вспыхнуло с новой силой. Я не был активным противником этой войны, но и не поддаваться общей атмосфере того периода тоже не мог. В одном из своих писем к Иосифу я выразил

сочувствие этому движению. Иосиф вовсе не сочувствовал антивоенному движению на Западе, в особенности его отталкивало отсутствие, как он считал, исторической взвешенности в осуждении этой войны. Я его мнение уже знал, поэтому и не ждал, что ему придется по вкусу мой негативный отзыв об американской политике. Несколько недель спустя я получил открытку, написанную его характерным почерком. Ответ был краткий, и я помню его дословно. Он писал (по-русски), советуя, чтобы в следующий раз, когда меня охватит подобное критическое настроение, я бы «сел в боинг, полетел в Венецию и думал там о нем». Я понял намек.

Летом 1972-го меня ошеломило известие о высылке Иосифа из Советского Союза. Изгнание — такого я и представить себе не мог. Сначала о том, где он, и о его планах я знал только из газет. На этом этапе Карл Проффер и его коллеги по Мичиганскому университету немедленно проголосовали за то, чтобы университет предложил Иосифу почти сразу по прибытии преподавать в качестве поэта-резидента в Энн-Арборе (убедить Мичиганскую администрацию пойти на такой шаг был настоящим подвигом, как может себе представить всякий, кто знаком с академическим начальством и университетскими бюджетами). Предложение это создало для Иосифа целый ряд условий первостепенной важности сразу же по приезде в Соединенные Штаты. Оно дало ему работу и заработок, предоставило ему место в кругу, возглавляемом Карлом и Эллендеей Профферами, которые знали и ценили его творчество. И, что важнее всего, это возложило на него целый комплекс преподавательских обязанностей, для выполнения которых потребовалось свободное владение английским: обстоятельства заставили его говорить на

языке, понятном американским студентам. Осенью в первый же день занятий Карл привел Иосифа в его класс, представил его и ушел. Иосифу, которому никогда не приходилось вести урок в формальной обстановке, притом что его разговорный английский оставался еще очень ограниченным, это стоило неимоверного напряжения. Вскоре я позвонил ему и спросил, как подвигаются занятия. Он ответил: «Ну, в первый день пришло двадцать студентов, на второй — сорок, а на третий — шестьдесят. Пожалуй, все идет нормально».

Осенью 1972 года я убедил студенческую организацию Тулейнского университета пригласить Иосифа в Новый Орлеан, чтобы он почитал там свои стихи. Его поездки по стране с этой целью начались почти сразу по приезде в Америку, так что к тому времени, как он оказался в Тулейне, у него уже накопился опыт подобных выступлений. Иосиф приезжал в Тулейн трижды, но именно первое его посещение особенно запомнилось. Пригласить его в Новый Орлеан доставило мне огромное удовольствие, об этом прежде и мечтать было невозможно, и в то же время, встречая его в аэропорту, показывая ему город, я испытывал какое-то странное чувство — как будто это было в порядке вещей. Возможно, причиной были наши многочисленные разговоры по телефону после его приезда в Штаты.

Что же касается Иосифа, то, напротив, он признавался, что испытывает непреходящее чувство нереальности с первой минуты пребывания в Америке, хотя на бытовом уровне он вполне приспособился к столь радикальной и непредвиденной перемене в жизни. Что же касается Нового Орлеана, то для начала единственным его замечанием было: «Ненавижу пальмы». Для ленинградца оказаться в Новом Орлеане было все равно что приехать в Батуми.

В 1972 году, несмотря на всю шумиху, сопровождавшую изгнание Бродского из Советского Союза, в Соединенных Штатах Иосиф еще не был известной фигурой. Однако вечером в четверг собралась довольно внушительная аудитория (думаю, сыграли роль и мои усилия убедить студентов, что прийти на эту встречу стоит). До этого я слышал, как Иосиф читал свои стихи в домашней обстановке, перед небольшой группой людей. Но мне никогда не приходилось слышать, как он выступает с чтением перед большой незнакомой аудиторией. Вместе с другими присутствовавшими в тот вечер я был ошеломлен его чтением стихов. Не всем слушателям понравилась его манера чтения с подчеркнутым упором на рифму, в особенности тем, кто привык к чтению вслух англоязычной поэзии, в которой рифма почти нарочито скрадывается. Но на меня и на большую часть моих студентов и молодых преподавателей его исполнение собственных стихов на русском произвело гипнотическое воздействие. Модуляции его голоса, сам тембр превращали его стихи, как уже сказано, в нечто среднее между пением и молитвой. Ничего похожего на его чтение я никогда не слышал. Стихи он читал по памяти, текста перед ним не было, и сам он, казалось, находился в трансе.

Студенческая организация, выступившая спонсором этого вечера, пригласила одного местного поэта прочитать вслух английские переводы этих стихов. Идея в принципе неплохая, но я был потрясен, когда этот поэт (мне незнакомый) начал читать. Когда он стоял так перед пюпитром, голос его и вся фигура были абсолютно безжизненны и абсолютно безучастны. Несколько раз он замолкал посередине строки, чтобы глотнуть воды из стакана. При этом читал он таким тихим голосом, что слушатели мало что слышали и понимали в этих переводах. Он буквально

убивал талантливый перевод Джорджа Клайна. Я сидел в первом ряду и с ужасом понимал — чтец этот неминуемо погубит вечер для преимущественно англоязычной аудитории. Однако я волновался зря: посредине второго стихотворения Иосиф встал с места, подошел к чтецу и весьма выразительно попросил его прекратить чтение. Он забрал страницы с переводами, отнес их мне и попросил прочесть остальное. Я хорошо знал эти переводы и постарался прочесть их как мог лучше. Мои студенты потом мне говорили, что Иосиф, по их мнению, буквально спас вечер. Безжизненная манера, в какой первый чтец представил стихи, губила их, лишив смысла отличные переводы.* Внезапная реакция Иосифа и его дальнейшее собственное чтение стихов усилили ощущение серьезности самой поэзии.

На следующий день на очередных занятиях Иосиф прочитал часовую лекцию, посвященную стихотворению Рильке «Орфей, Эвридика, Гермес».** Читать лекцию на английском Иосифу на этом этапе все еще было трудно, однако он с энтузиазмом ринулся выполнять свою задачу. Сейчас, по прошествии стольких лет, не смотря на его тогдашний ломаный английский, я довольно хо-

* Переводы Джорджа Клайна именно в этот момент биографии Иосифа были жизненно важны. С самого приезда в Штаты он мог читать на публике стихи, будучи уверен, что переводы передадут их смысл для англоязычной аудитории. Сделать такое количество высококачественных переводов за один присест было невозможно. Непрерывный вклад Джорджа как переводчика и преданного друга, сделанный для вхождения Иосифа в американское общество, необычайно велик. Публикация этих переводов и отзывов на них в 1973 г., несомненно, дала поэтическому труду Иосифа широкое звучание в Соединенных Штатах. См. *Joseph Brodsky. Selected Poems / Tr. George L. Kline. New York, 1973.*

** Продуманный анализ стихотворения можно найти в эссе И. Бродского «Ninety Years Later» (On Grief and Reason: Essays. New York, 1995. P. 376–427).

рошо помню общий ход рассуждений и выводы. Иосиф подчеркнул оригинальность взгляда Рильке на идею смерти. По утверждению Иосифа, Рильке, сосредоточившись на образе Эвридики, наглядно показал в стихотворении, что после смерти мертвые оказываются совсем в других пределах и обретают другое сознание. В частности, они больше не узнают и не помнят нас. Очень важно прочесть это стихотворение, настаивал Иосиф, ибо, когда с течением времени перед нами предстанет соблазн принять то или иное рахоее представление о смерти, само воспоминание о стихотворении Рильке затруднит нам этот шаг.

Выходя с ним вместе из аудитории, я заметил: «Иосиф, это скорее проповедь, чем лекция». На что он отозвался: «А что, ты думаешь, им нужнее?»

Даже по этой ранней лекции можно было судить об исключительных педагогических способностях Иосифа. Его неизменный успех как преподавателя не ослабевал. Поэтому стоит рассмотреть те качества, которые делали его лекции столь захватывающе интересными для столь многих. Прежде всего, конечно, это глубокое знание и чувство литературы, и с годами эти качества только углубились. Когда он рассуждал о поэзии, да и вообще о литературе любого жанра, он умел внушить слушателям, что литература есть не просто некое декоративное искусство или нечто, призванное лишь украшать наши часы досуга, но скорее то, что играет жизненно важную роль в человеческом существовании. Его рассуждения об эстетике всегда были тесно переплетены с этическими представлениями. Он неизменно настаивал на первенстве эстетики по отношению к этике. Не столь важно, удавалось ли ему до конца убедить других в правильности подобного взгляда, важнее та степень, до которой он увязывал этику с эстетикой, придавая таким образом этический смысл

почти любому литературному анализу. Притом что подход его к литературе был необычайно серьезен, уроки его никогда не бывали скучными или утомительными. Его суждения и аллюзии сверкали блесками юмора и жаргонными словечками, что не было принято на кафедрах литературы.

Он говорил не только как критик, но и как поэт, способный видеть или во всяком случае представлять себе тактические ходы, совершаемые другим поэтом. Его критические эссе о Роберте Фросте и Томасе Гарди содержат все это, и подобную технику анализа можно обнаружить во всех видах его работ, начиная с лекций и кончая импровизированным анализом, то и дело встречавшимся в обыкновенных разговорах. Годы спустя, когда я учил студентов писать на английском грамотно и стилистически верно, причем в качестве примера я выбрал Иосифа, меня поразила враждебность, с какой первоначально отнеслись мои студенты к этической стороне его анализа. Поговорив с ними, я понял, что они рассматривали его этические соображения как ханжеские максимы, нацеленные исключительно на других. Я стал убеждать их попытаться еще раз взглянуть на раздражавшие их тексты: если в его эссе и есть скрытые или прямые моральные запреты, убеждал я, то они явно относятся прежде всего к нему самому. Я вспоминаю, кстати, то, что он сказал мне при нашем последнем разговоре: «Сэм, всегда помни, что на свете много людей, которые лучше тебя и меня».

В первые годы жизни в Соединенных Штатах Иосиф очень много ездил по стране с чтением своих стихов в студенческих кампусах. Эти поездки и встречи с различными аудиториями позволили ему получить гораздо более широкое представление об Америке, чем имеют многие ее коренные жители.

Уж кем-кем, а необщительным Иосиф никогда не был, поэтому такие путешествия и общение с людьми были ему только приятны. Однако он вполне сознавал, что Америка для него пока еще не стала «домом», и если ему не хватало России (скажем, родителей, друзей или легендарной Марины Басмановой), то острее всего тоска по ним была в первые месяцы после отъезда. Но единственным подтверждением этого может служить только один наш вечерний разговор по телефону то ли в 1972-м, то ли в 1973 году. Иосиф редко жаловался на что-либо и позвонил он не для этого. Но тут он чуть-чуть приоткрылся, признавшись, что только сейчас, здесь он по-настоящему понял значение слова «никогда». На такое утверждение — не столько жалобу, сколько трезвую констатацию факта — я не нашелся что ему ответить. Вспомним, что тогда, в 1972–1973 годах, уехать из Советского Союза означало навсегда расстаться с родителями, родными, с близкими друзьями. И в самом деле Иосиф никогда больше не видал своих родителей, несмотря на отчаянные усилия в конце семидесятых и начале восьмидесятых добиться от советских властей разрешения для своей матери навестить его в Америке. Он регулярно звонил родителям по телефону и с помощью посредников вроде меня посылал им разные вещи и старался выяснить, что им требуется. Он также старался уверить их в своем благосостоянии. Так, когда я навестил его в Энн-Арборе летом 1973-го, он попросил меня сфотографировать его на фоне открытой дверцы битком набитого холодильника. Содержимое было видно четко, так что его мама могла убедиться, что сын питается хорошо. Сейчас об этом смешно вспоминать, и мы с Иосифом тогда тоже веселились. Но он совершенно правильно угадал, что именно вызывало главное беспокойство у родителей.

Постепенно, в течение семидесятых, Иосиф создавал себе новый образ — гражданина Америки, человека, который водит

машину, имеет квартиру в Нью-Йорке, место преподавателя в Массачусетсе и путешествует по миру. Все это пришло не сразу, но к концу семидесятых он стал «своим человеком» в Соединенных Штатах, тем, кто принимает участие в американской культурной жизни самым активным и заметным образом. Его книжные обзоры и статьи позволяли ему говорить непосредственно с англоязычной публикой, для которой его поэзия была не так уж доступна. 13 сентября 1981 года его показали в популярной телевизионной программе CBS «60 минут» в большом интервью с Морли Сейфером. В нашем телефонном разговоре на следующей неделе Иосиф вспомнил шутовское замечание своего редактора: «Русская поэзия в прайм-тайм, Джозеф... Недурно! Недурно!» Не следует думать, будто Иосифа интересовали только Соединенные Штаты. Напротив, он широко пользовался новообретенной свободой, чтобы путешествовать. Он побывал в Мексике, Латинской Америке, Лондоне, Париже и, наконец, в обожаемой Венеции, которая вместе с Римом и всей Италией из года в год сохраняла для него свое очарование. Иосиф всегда обладал потрясающим жизнелюбием, а также энергией и внутренним побуждением взять от жизни все, что может.

Иосиф любил разные языки, он сделал из них своего рода игровую площадку. Он просто не мог не придумывать двуязычные фразы, бессмысленные и забавные, такие как «Qu'est que bloody c'est» или «Eine kleine Nachtmuzhik».*

* Во французскую фразу «Qu'est que c'est», означающую «Что это такое?», Иосиф вставил английское «bloody» («чёрт возьми»), и получилось смешно. Моцартовскую «Eine kleine Nachtmusik», что можно перевести как «Маленькая ночная музыка» (букв.), он превратил в цикле «Двенадцать сонетов к Марии Стюарт» в строчку: «И входит айне клайне нахт мужик, / внося мордovorot в косоворотке».

Его разговорный английский стал таким беглым, что года с 1980-го я редко разговаривал с ним по-русски. Вот небольшой пример его владения разговорным английским. Где-то в начале восьмидесятых я спросил его, как бы он перевел на английский «Веселый Мехико-Сити» — строку из его «Мексиканского романсеро». Мне трудно было представить себе удачный перевод слова «веселый», такого обычного прилагательного в русском языке. Ни «gay», ни «merry», как обычно переводят это слово, не показались мне подходящими. Оба английские слова несколько архаичны, чего нельзя сказать о слове «веселый» («merry» настолько связано с Рождеством, что редко употребляется в другом контексте, а прилагательное «gay» больше не употребляется как синоним для «merry»). Вот я и спросил Иосифа, как он переведет слово «веселый» на английский, чтобы оно звучало так же «нормально» и привычно, как и у него на русском. Он на несколько секунд задумался и ответил: «А если „Старый добрый Мехико-Сити“?» Возможно, не все со мной согласятся, но мне показалось это идеальной заменой буквального перевода. Столь мгновенно найденная фраза говорит о замечательном языковом чутье, благодаря которому он успел за это время овладеть разговорным английским. На каком-то этапе его свободное владение английским, непринужденность, с которой он чувствовал себя в американском окружении, сделали то, что я стал с трудом представлять его в России. Его американский облик как-то несколько стер из моей памяти образ Иосифа в Ленинграде. Я лишь изредка спохватывался, что, вернись он в Россию, он чувствовал бы себя там как рыба в воде.

В 1975 году я снова отправился в Ленинград и в Москву, чтобы еще один год позаниматься исследовательской работой. Жарким августовским днем Иосиф отвез меня в аэропорт имени

Кеннеди, откуда я улетал из Нью-Йорка. Иосиф знал, что я увижусь там не только с нашими общими друзьями, но и с его родителями. Я необычайно живо помню свой отъезд в тот раз. Мы приехали рано в модернистский терминал TWA*, творение Ээро Сааринена.

После того как я зарегистрировал багаж, мы пошли перекусить в ресторан аэропорта. Когда подошло время отлета, Иосиф довел меня до одного из туннелей, ведущих вверх к месту вылета. Достигнув конца этого пустынного туннеля, я оглянулся и увидел Иосифа. Он стоял там совсем один и махал мне рукой. Было в этой сцене что-то очень безнадежное. То, что я совсем скоро увижу в Ленинграде его родителей и друзей, тогда как сам он остается в Нью-Йорке, казалось особенно несправедливым. Я мог лишь догадываться, что думал он.

Я не успел познакомиться с родителями Иосифа Александром Ивановичем Бродским и Марией Моисеевной Вольперт в свой первый приезд в Ленинград. На этот раз я отправился к ним почти сразу же по приезде. Иосиф сам трогательно описал родителей и свое детство в эссе «Полторы комнаты». Сейчас я хотел бы вспомнить кое-что из своего опыта знакомства с ними. В эти последние для них годы я хорошо их узнал и очень привязался к ним. (Иногда я приходил к ним один, а порой вместе с немецкой лингвисткой Барбарой Шлифке. Барбара не была знакома с Иосифом, однако была в тесном контакте с его родителями.)

Александр Иванович и Мария Моисеевна были и сами по себе личности незаурядные, и в каждом из них можно было разглядеть Иосифа. Александр Иванович мимикой и жестами, а также

* Американская авиакомпания.



Александр Иванович Бродский и Мария Моисеевна Вольперт
Фото Сэмюэла Реймера

профилем особенно напоминал мне Иосифа. Оба были фотогеничны — думаю, ни один из них ни разу не получился на снимках плохо, и оба ухитрялись выглядеть элегантно в любой одежде. Мария Моисеевна была необычайно выносливая, крепкая женщина. Черты ее широкого, улыбчивого лица напоминали черты Иосифа. Благодаря обучению в гимназии она неплохо говорила по-французски. Феминистка, для которой не требовались никакие теоретические обоснования, она обладала твердым сознанием равенства полов, внушенным ей жизненным опытом. Порой она подчеркивала, что карьера женщине необходима, если она хочет в какой-то степени сохранять независимость и самостоятельность, которые, с ее точки зрения, жизненно важны.

Вечера у Бродских проходили по привычному образцу. В начале вечера Мария Моисеевна то и дело исчезала в направлении коммунальной кухни, чтобы приготовить еду. Александр

Иванович накрывал на стол, кормил кошку, наливал себе и мне чего-нибудь выпить, и мы с ним сидели и беседовали. Как и сын, он был одаренным рассказчиком, черпавшим свои истории из собственной, богатой опытом жизни. Родился и вырос он в Санкт-Петербурге, находился там и во время революции, поэтому рассказывал бесчисленные истории из повседневной жизни предреволюционной поры. Кто бы мог, например, вообразить, что, когда он в детстве заболел, родители пригласили к нему скандально известного доктора по фамилии Дубровин — убежденного антисемита, основателя «Союза русского народа»? Родители считали его хорошим врачом, а Дубровин, со своей стороны, уважал деда Александра Ивановича за то, что тот, будучи кантонистом, служил в царской армии.*

Большую часть своей жизни Александр Иванович проработал как фотожурналист. Он с удовольствием вспоминал особо интересные случаи и встречи: интервью, взятые у академика Ивана Павлова и у Николая Бухарина в начале тридцатых; поездки в Китай и впечатления о китайской культуре и еде; участие в зимней кампании во время войны с Финляндией. Он также подробно описал свою единственную встречу со Сталиным. Александр Иванович тогда работал в Москве, и ему пришлось однажды присутствовать на каком-то официальном собрании. Во время собрания он заглянул на пустой балкон, который опоясывал зал, и тут справа от себя увидел Сталина — тот сидел в одиночестве и наблюдал за собранием. Александр Иванович хотел было сфотографировать его, но Сталин повернулся к нему и сделал запрещающий жест. Александр Иванович не просто

* Документальных подтверждений воинской службы деда Александра Ивановича нет. Его отец действительно служил в царской армии в качестве унтер-офицера. — *Примеч. перевод.*

рассказывал эту историю, он изображал ее в лицах, и ясно было, что встреча эта произвела на него неизгладимое впечатление. (Все-таки это был вождь, лидер, степень всевластия которого в советской политической жизни нам трудно даже представить.)

Наконец в дверях появлялась Мария Моисеевна с тарелками в руках, и мы втроем усаживались за стол. Говорил в основном Александр Иванович. (Но и Мария Моисеевна не то чтобы все время молчала, и ее саркастические замечания во время рассказов мужа придавали особую занимательность этим вечерам.) Мария Моисеевна замечательно готовила, я всегда изнемогал от количества ее стряпни. Когда обед заканчивался и со стола убирали, наступал черед Марии Моисеевны доминировать в беседе. Говорить она могла о разных вещах, но больше всего ей хотелось говорить об Иосифе. Из наших разговоров она поняла, что я близко знаком с ним, поэтому я старался как мог подробнее описать его жизнь в Штатах. Однако не менее пылко Мария Моисеевна стремилась поделиться со мною собственными воспоминаниями о Иосифе. Говорила она горячо и увлекательно, в особенности когда описывала события детства и юности Иосифа. С вполне понятным чувством она рассказывала о первой страшной блокадной зиме, когда осталась одна с Иосифом, которому тогда было чуть больше года. Ее рассказ об эвакуации из города по льду Ладожского озера в начале зимы 1942 года ярко воскрешал душераздирающие трудности этого путешествия.

Из других ее рассказов становилось ясно, что вырастить Иосифа в Советском Союзе было не просто. Он явно «не вписывался» в эту жизнь даже мальчиком, и после каких-то неприятностей в школе мать отвела сына к доктору. (Не знаю в точности, какой он был специализации, но из ее слов следовало, что это был, очевидно, психиатр, занимавшийся детьми.) Поговорив

какое-то время с Иосифом, вспоминала Мария Моисеевна, врач отвел ее в сторонку и сказал: «Не тревожьтесь о вашем ребенке, Мария Моисеевна, на нем есть печать Божия».

Тогда такое высказывание меня поразило, но теперь оно мне не кажется таким уж удивительным. Забывается, сколько людей даже в сталинской России сохраняли здравый смысл и обыкновение описывать мир привычным языком. (Скептики могут усомниться в правдивости истории, рассказанной Марией Моисеевной, но мне она кажется достоверной.)

Бродские жили в Ленинграде по крайней мере с конца двадцатых.* Мария Моисеевна помнила время, когда «все» ходили в ресторан на крышу гостиницы «Европейская» — праздновать Новый год. Вот это уже было нелегко вообразить, поскольку к 1976 году, когда велся этот разговор, гостиница «Европейская» привлекала главным образом иностранцев, обладавших твердой валютой. Но больше всего меня в ее рассказах поражала ностальгия, с какой она вспоминала середину тридцатых, с чем я нередко сталкивался в рассказах других русских ее поколения.

Порой я звонил и заглядывал к Бродским по дороге из американского консульства, расположенного поблизости, куда ходил получать почту. Однажды утром Мария Моисеевна, которая была дома одна, встретила меня у входных дверей в их коммунальную квартиру с каким-то особым, многозначительным выражением лица. Уже в своей комнате Мария Моисеевна уселась и повернулась ко мне с тем же многозначительным выражением и произнесла, медленно и четко выговаривая слова: «Сэм, мой сын — член Американской академии искусств и наук» Для меня

* Дед Иосифа Бродского поселился в Санкт-Петербурге в конце XIX века. —
Примеч. перевод.

это было неожиданно. Иосиф, очевидно, позвонил матери утром, чтобы поделиться этой новостью. Ее переполняло вполне понятное чувство гордости.

Я часто думаю, как много, должно быть, значило для нее и для Александра Ивановича международное признание Иосифа, ибо в жизни их был тяжелый период, когда против них ополчилась официальная Россия. Иосиф и сам вспоминал, что первый арест происходил в их квартире. Сидя на заднем сиденье увозившей его милицейской машины, он глядел в заднее стекло на их удаляющийся дом и думал: «Прощай, детство!» Но каково было в ту ночь родителям?! Некому было тогда успокоить их, заверить, что все будет хорошо, что жизнь продолжается, что сын их достигнет вершин успеха, какой в то время и вообразить себе было невозможно... Вспоминая об этом, мне легко было разделить с ней ее чувства гордости и счастья.

Думаю, что в большой мере стойкости Иосифа перед лицом невзгод способствовал пример его родителей. Для Марии Моисеевны по крайней мере терпение и выдержка были, в сущности, выработанной ею своего рода идеологией. Однажды в разговоре с ней я пожаловался на какое-то малозначительное недомогание, забыв, что сама Мария Моисеевна часто мучилась от повторяющихся приступов радикулита, которые удерживали ее в постели по нескольку дней. Она быстро отреагировала на мои слова, сказав, что не следует жаловаться окружающим на физическую боль. У таких жалоб, настойчиво продолжала она, есть только два адресата: тот, кто сам испытывает боль, причем посильнее, чем ваша, и не может тратить на вас много сочувствия, и тот, кто вовсе не испытывает никаких болей и, скорее всего, вас не поймет. Ее совет по этому поводу, какой вполне мог дать сам Иосиф, показался мне очень понятным, и я привожу

его здесь по памяти: «Когда неважно себя чувствуешь, встань перед зеркалом, ущипни себя три раза за щеки и скажи себе: „Я в порядке, я в порядке, я в порядке“ — и давай двигай дальше». Совет, конечно, суровый, но мне показалось, что в нем много житейской мудрости.

Приехав снова в Ленинград в 1975 году, я возобновил дружбу с Ромасом и Элей Катилюсами, а теперь еще и с их сыновьями — Андрюсом и Рамутисом. Они перебрались в другую квартиру, на проспект Энгельса, куда из центра города езды было примерно час трамваем. Телефона у них не было, отчего договариваться о встречах стало трудно, но они великодушно разрешили мне посещать их два вечера в неделю по установленному расписанию, и я с радостью так и делал. В каждое свое посещение я занимался около часу с Андрюсом английским, хотя понятия не имел, как преподавать английский в качестве второго языка. Однажды вечером я заметил у них в кухне небольшой ящик с яблоками, и Катилюсы мне объяснили, что это прислали им из Вильнюса родители Ромаса. Я всегда знал, что Ромас — литовец, но до того вечера как-то не задумывался о значении этого слова в их семейных отношениях, а именно что его родители жили в Вильнюсе, что у них был фруктовый сад, что они скучали по своему сыну и заботились о нем и его семье и что Ленинград, в котором Ромас чувствовал себя как дома, для родителей был бы за границей. (Теперь и сам повидав Вильнюс, я еще больше могу оценить те яблоки, которые прибыли, можно сказать, из другого мира.)

Пожалуй, не было для меня тогда большего счастья, чем сидеть с Ромасом и Элей у них на кухне. Все мы любили поговорить, и частенько Иосиф был предметом наших разговоров. Хотя он

покинул Ленинград уже целых три года назад, он во многом оставался для Катилюсов частью их жизни. Эля призналась мне, что отъезд Иосифа был сильнейшим эмоциональным ударом для всей семьи, но в особенности для Ромаса — почти два года понадобилось, чтобы он преодолел потрясение и привык к отсутствию Иосифа. Здесь уместно вспомнить, какими высокими и, казалось, вечными были в те дни барьеры между Востоком и Западом. Поскольку расставание с близким другом в данных обстоятельствах грозило стать расставанием навсегда, можно понять горе Ромаса. Иосиф был особенно привязан к Эле. Он называл ее Ханум — узбекское уважительное обращение к женщине — и испытывал интуитивное доверие к ее суждениям.

Давно, еще в начале моего пребывания в Ленинграде, Катилюсы познакомили меня с Михаилом Мильчиком и его женой Ниной. Миша, талантливый историк, занимался ранней русской архитектурой и культурой и был блестящим фотографом. К тому же он хорошо знал Иосифа и его поэзию. Нина, будучи кардиологом, лучше всех нас поняла, насколько серьезными были его проблемы с сердцем. Все мы регулярно общались с Александром Ивановичем и Марией Моисеевной. Наши взаимоотношения складывались таким образом, что влияли непосредственно на нашу текущую жизнь. Миша, скажем, обладал глубоким знанием предреволюционной сельской жизни, что невероятно помогло мне в моей научной работе о земской медицине. Однако связующим звеном был Иосиф, поэтому он так часто присутствовал в наших разговорах. Причем нами руководило не просто отвлеченное сознание того, что Иосиф существует на свете; скорее это было реальное ощущение прямой связи с ним. Для иллюстрации моей мысли приведу два примера. Будучи историком архитектуры, Миша, увлеченный фотографией, сделал

много снимков отдаленных церквей, особенно на Русском Севере. Когда гости собирались в их с Ниной квартире, он часто демонстрировал поразительно красивые слайды с запечатленными на них церквами.

В день отъезда Иосифа на Запад в 1972-м, понимая, что отъезд Иосифа имеет историческое значение помимо перепективы расставания навсегда и личных сожалений, он, отправляясь ранним утром на улицу Пестеля, взял с собой фотоаппарат. Насколько я знаю, он единственный в тот день фотографировал.* Он поехал с Иосифом и остальными провожающими в аэропорт Пулково; он оставался рядом с Иосифом, пока тот не ушел внутрь, чтобы пройти таможенный досмотр и прочие предотъездные процедуры, а затем вернулся с остальными провожатыми в квартиру на Пестеля, чтобы посидеть с Александром Ивановичем и Марией Моисеевной. Миша сумел сфотографировать Иосифа одного, с родителями и с друзьями буквально на каждом этапе его отъезда, а потом, вернувшись, сделал снимки его опустевшей комнаты. Всем нам повезло, что Миша сознавал, как необходимо это сделать.

Я много раз присутствовал при том, как Миша показывал у себя дома гостям слайды с отъездом Иосифа. И каждый раз воздействие слайдов на присутствующих было одинаковым. Сперва возникало прежнее ощущение потери и горя. Вслед за тем — либо общее обсуждение его поэзии, либо вопросы о том, чем он сейчас занимается. Что же до меня, то мне слайды напоминали, насколько мне повезло в сравнении с другими присутствующими: конечно, я мог понять чувство потери, которое ощущалось, но я-то в конце концов возвращался в Штаты и мог продолжить нашу дружбу в нормальных условиях.

* Фотографировал отъезд Иосифа еще и Лев Поляков. — *Примеч. перевод.*

В годы после отъезда Иосифа друзья и родные собирались 24 мая в родительской квартире, чтобы праздновать его день рождения. К дням рождения в России относятся серьезно; и ежегодное празднование дня рождения Иосифа семьей и друзьями свидетельствовало о том, что его присутствие в России воспринималось ими почти как реальное. Я оказался среди них в день его 40-летия 24 мая 1980 года. Из-за того, что ему исполнилось сорок, событие отмечалось с особым размахом.* В предшествующие дни Эля, Нина и несколько родственниц помогали Марии Моисеевне готовиться к празднику. Мебель сдвинули теснее, внесли несколько дополнительных стульев и небольших столов и с их помощью соорудили один огромный стол, за которым смогли уместиться все двадцать четыре гостя. Затем Мария Моисеевна, опять-таки с помощницами, приготовила на коммунальной кухне угощение из нескольких блюд. Устроить пиршество на двадцать четыре гостя представляло бы собой грандиозную задачу для любой хозяйки. Марии Моисеевне в то время было уже за семьдесят, и этот вечер явился замечательной демонстрацией ее мастерства и ее решимости отпраздновать день рождения сына достойным образом. Это был настоящий подвиг. Ближе к вечеру позвонил Иосиф, он недолго поговорил с родителями и попросил передать привет всем гостям. Комната была наполнена его присутствием, и родители были окружены его многочисленными друзьями, любившими их сына и скупавшими по нему.

Не все друзья Иосифа, с которыми я познакомился, жили в Ленинграде или знали его с юности.

* По поводу этого дня рождения Иосиф написал стихотворение «Я входил вместо дикого зверя в клетку...»; оно выражает его неослабевающую благодарность за саму жизнь, оставаясь одним из лучших его стихотворений и непривычно для него откровенным размышлением о собственной жизни.

Две зимы — в 1976-м и 1980-м — я провел по несколько месяцев в Москве. Там я познакомился с Андреем Сергеевым*, известным переводчиком англоязычной поэзии. Андрей был неиссякаемым источником знания и понимания русской литературы и общества, и мы быстро и крепко подружились. Узы дружбы были тем крепче, что мы оба любили Иосифа и восхищались им. Познакомились они с Иосифом в начале 1964 года.

Андрей отлично знал американскую поэзию, и его блестящие переводы многих американских поэтов помогли Иосифу в открытии богатств американской поэзии. Об этом сам Иосиф упоминал много раз. Еще до их знакомства Андрей, бывший на семь лет старше Иосифа, уже понимал его исключительный поэтический дар. Он поддерживал тесную связь с Иосифом в 1964 году, когда тот скрывался в Москве.

В 1975-м, а также в 1976 году я общался с Иосифом в Нью-Йорке накануне моих отъездов в Россию, и в оба приезда, проработав в российских библиотеках, мне удавалось на обратном пути провести с Иосифом довольно много времени в Европе. Летом 1976-го я встретился с ним в Лондоне, где он жил у Алана и Дианы Майерс в их двухэтажном доме в Хампстеде. Приехав туда, я застал Иосифа, Алана и Диану в розарии позади дома. Они пили чай. Идиллический характер этой картинке был как нельзя более далек от России. Я приготовился рассказать Иосифу как можно подробнее о моих свиданиях с его родителями и друзьями, но он хотел лишь услышать ответ на простой вопрос: все ли у них в порядке? Получив ответ, он не захотел никаких подробностей,

* Андрей был также поэтом и прозаиком; за свою мемуарную книгу «Альбом для марок» он получил премию «Русский Букер» в 1996 г.

разве что они возникнут в разговоре впоследствии. У него была своя связь с Ленинградом и с родителями, хотя бы и только телефонная. Подозреваю, что слишком много подробностей могло напомнить лишний раз о невозможности общения с близкими, а с этим сам он ничего не мог поделать. Поэтому разговор дальше пошел более светский: где можно пообедать, что посмотреть в Лондоне и так далее.

Летом 1980-го я устроил свои дела так, чтобы после отъезда из Ленинграда провести какое-то время в Париже. Я позвонил Иосифу в Нью-Йорк и спросил о его планах. Он ответил, что тоже собирается в Париж. Пока он еще не знал, когда это произойдет, но стал уговаривать меня дождаться его приезда: «Сэм, постарайся задержаться». Я отчетливо помню его слова из-за того, что он явно получал удовольствие, произнося слово «linger» («задержаться»), он даже повторил его несколько раз. Благодаря стараниям давнего друга Иосифа Вероники Шильц для меня нашлось жилье в Париже. Таким образом, мне и в самом деле удалось «задержаться», а в скором времени появился и сам Иосиф. Когда мы встретились, я пересказал ему описание Марией Моисеевной ее посещения московского ОВИРа, где высокопоставленный чиновник категорически заявил, что «никто никогда не выдаст ей визу для поездки в США». Она просила меня передать ему эти слова, и я увидел, что они были равносильны пощечине. Иосиф вышел на балкон, чтобы скрыть свою реакцию. Он быстро взял себя в руки, но видно было, как он терзался, представляя себе разочарование и страдания матери.

Еще одно воспоминание касается вечера тем же летом, который мы провели у Вероники Шильц. Почему-то мы стали слушать записи песен Владимира Высоцкого. Это было примерно

за месяц до его безвременной и для нас неожиданной смерти. Я всегда предполагал, что Иосиф знал его песни, но тут я впервые понял, до какой степени он ими восхищался. Он явно получал огромное, почти физическое наслаждение, слушая их, и с необыкновенным энтузиазмом говорил о самом Высоцком. Позже вечером он попросил поставить песни, исполняемые Царой Леандер, которая тоже была его любимицей.

То, что я помню об Иосифе конца семидесятых — начала восьмидесятых, не всегда складывается в плавное повествование. Далее я привожу целый ряд случаев, которые, надеюсь, как-то дополняют тот образ Иосифа, каким он был в моем представлении.

Осенью 1979 года, когда я в течение семестра находился в Институте Кеннана в Вашингтоне, вдруг, без всякого предупреждения объявился Иосиф. Он рассчитывал встретиться с кое-какими влиятельными сенаторами в надежде, что им удастся убедить советских чиновников выдать его матери визу для свидания с ним в Соединенных Штатах. Чтобы попасть в мой кабинет, нужно было сперва пройти через кабинет, занимаемый Петером Кенезом, талантливым историком, изучавшим русскую и венгерскую историю XX века. И вот осенним днем, перед ланчем, в кабинет Петера ворвался Иосиф и довольно бесцеремленно спросил: «А где Сэм Реймер?» Петер сразу узнал посетителя и показал ему дверь в мой кабинет. Прежде чем открыть дверь, Иосиф схватил чашку Петера, где оставалось немного холодного кофе, и стал из нее пить. Такая невежливость и столь дикарский захват чужого кофе вовсе не были характерным поведением для Иосифа, но и не были чем-то абсолютно исключительным. Как позднее со смехом выразился Петер: «Именно таким я его себе и представлял».

Первый инфаркт случился у Иосифа в декабре 1976 года. Я гостил у друзей в Нью-Йорке во время новогодних праздников, но понятия не имел о том, что Иосиф в больнице. Я неоднократно пытался дозвониться ему в надежде повидаться, но телефон не отвечал. Наконец, накануне моего возвращения в Новый Орлеан, я его застал, и он пригласил меня зайти.

Когда я пришел ближе к вечеру, он был с Машей Воробьевой у нее в квартире выше этажом.* (Маша, преподававшая русский язык и литературу в Вассаре, жила над Иосифом в доме, в котором они соседствовали с Эндрю Блэйном** и другими жильцами на Мортон-стрит, 44). Иосиф спросил, замечаю ли я в нем что-нибудь особенное. Я взгляделся, но ответил, что нет, ничего нового не замечаю. (Теперь я припоминаю, что он и в самом деле был несколько бледнее обычного, но тогда я не обратил на это внимания.)

Он объяснил мне, что три недели лежал в больнице после обширного инфаркта, и они с Машей приехали из больницы всего два часа назад. Эта новость меня ошеломила: Иосифу было всего тридцать шесть лет, и он всегда мне представлялся образцом несокрушимого здоровья. Мы вместе съели приготовленный Машей обед, но я никак не мог избавиться от чувства тревоги и ощущения человеческой уязвимости.

Так началась долгая борьба Иосифа с сердечным недугом, из-за которого ему пришлось перенести две операции на открытом сердце и который служил постоянным напоминанием о близо-

* Маша была одним из ближайших друзей Иосифа, заботилась о нем, и он доверял ей безоговорочно. Выражение «На нее всегда можно положиться» — почти штамп, но оно как нельзя более уместно: на нее действительно всегда можно было положиться.

** Владелец дома, профессор Нью-Йоркского университета. — *Примеч. перевод.*

сти смерти. И в конце концов привел к безвременной кончине. В декабре 1978-го в перерыве между осенним и весенним семестрами он решил по совету врачей на операцию. Я в то время находился в Новом Орлеане, но мне удалось дозвониться ему в палату как раз накануне операции. Он был там один, и его, естественно, волновало предстоящее событие. Не помню уже в подробностях, о чем мы разговаривали. Я сказал ему, что стану молиться за его выздоровление, и он, кажется, был искренне тронут. К счастью, после операции он быстро оправился и в январе был уже в состоянии вернуться к преподаванию. В конце декабря 1982-го я отправился в Москву и Ленинград повидаться с друзьями. Мне удалось провести долгий вечер с Александром Ивановичем и Марией Моисеевной. До этого я виделся с ними летом 1980-го, поэтому, когда мы встретились, у нас не возникло ощущения долгой разлуки. Мне и в голову не приходило, что я вижу их в последний раз. Из Ленинграда я полетел прямо в Хьюстон, в Техас, в Университет Райса, где должен был преподавать во время весеннего семестра 1983 года. В середине семестра позвонил Иосиф и сообщил, что Мария Моисеевна умерла. Он был в совершенном отчаянии и не мог говорить. Я ничего не знал о болезни, когда был у них в последний раз. Кажется, слишком поздно выяснилось, что у нее рак, и, после того как ей поставили диагноз, она прожила очень недолго. Александр Иванович последовал за ней через год с небольшим...

Хотя Иосиф писал в основном не о политике, он определил для себя место в общем политическом спектре страны. Тут его главный вклад состоял в опровержении удобных и зачастую самооправдательных представлений левого крыла академической среды. Если бы такие возражения исходили от кого-нибудь другого, они прозвучали бы впустую, но личный опыт Иосифа

(особенно суд над ним и ссылка) в сочетании с магнетизмом его личности и силой аргументации придавали ему редкую силу воздействия на других людей. Тут сыграла роль его способность убеждать и предвосхищать и отражать доводы тех, с кем он был не согласен. (Не следует, правда, думать, что те, с кем он спорил, всегда находили его доводы убедительными: однако он всегда был готов дискутировать, если чувствовал, что собеседник готов выслушать его доводы.) Если же он убеждался в обратном, то следовал пушкинской формуле «не оспаривай глупца».

Само собой разумеется, за свои труды Иосиф был признан соответствующими американскими организациями и награжден всевозможными престижными званиями, почетными степенями и членством в разных ученых обществах.* Ну а в 1987 году он получил Нобелевскую премию, что перекрыло американские награды. Где-то после объявления об этом, но еще до церемонии награждения в Стокгольме я зашел к нему в Нью-Йорке. Он как раз принялся сочинять свою нобелевскую лекцию, на что у него имелись считанные дни. Для меня лично, как, думаю, нетрудно понять, было в этом что-то нереальное: друг, с которым я на днях обедал, должен закончить нобелевскую лекцию. После возвращения Иосифа из Стокгольма я попросил его рассказать о своих впечатлениях. Он, судя по всему, был в восторге и с увлечением подробно описывал саму церемонию и вообще всю атмосферу в Стокгольме. Завершил он рассказ описанием банкета и танцев для всех лауреатов под конец церемонии. И тут он с особым удовольствием рассказал о том, как танцевал с королевой Швеции Сильвией, причем отметил это событие как

* В 1979 г. Иосиф стал членом Американской академии наук и искусств, а также Американской академии искусств и литературы.

сильнейшее лингвистическое переживание. Как он выразился: «Я еле выговорил фразу „Ваше Величество, могу я пригласить вас на танец?“ Мог ли я вообразить, что когда-нибудь в жизни мне доведется произносить такие слова?»

Через четыре года после получения Нобелевской премии Иосиф стал поэтом-лауреатом Соединенных Штатов, что можно, вероятно, считать высочайшей официальной наградой для американского поэта.* Могли ли даже лучшие его друзья и самые ярые поклонники представлять по его приезду в Америку саму возможность подобного назначения? И однако таков был статус Бродского внутри американской литературы, что к моменту получения им этого поста выбор казался совершенно естественным. В дополнение к литературным достижениям его авторитет внутри американского общества, как мне думается, обязан был непосредственному воздействию его личности на многих, с кем ему приходилось встречаться. Его харизма, его роль адвоката поэзии и — шире — литературы вообще усиливали влияние его сочинений.

Примером воздействия Иосифа на «рядовых» американцев может служить случай с моей собственной бабушкой. В начале восьмидесятых студенты Вандербильтского университета пригласили Иосифа почитать стихи у них в кампусе в Нэшвилле, штат Теннесси. В тот январский вечер температура упала градусом до десяти по Цельсию. Моя бабушка Дикси Реймер, жившая в Нэшвилле, годами слышала от меня имя Иосифа и тут прочла в местной газете объявление о том, что он будет читать свои стихи. Невзирая на холодную погоду и свой преклонный возраст

* Официальный титул таков: поэт-лауреат, консультант по поэзии для Библиотеки Конгресса. Назначение на один год исходит от Библиотеки Конгресса (в некоторых случаях срок продлевался. — *Примеч. перевод.*)

(ей тогда было далеко за девяносто), она со своим сыном, моим дядей, с которым вместе жила, решила поехать на выступление. Они ожидали, что аудитория будет состоять не более чем из двадцати-тридцати человек — все-таки ожидалась поэтические чтения, к тому же читал русский поэт. Они были поражены, когда увидели битком набитый зал, вмещавший до двухсот пятидесяти человек. После окончания выступления, которое произвело на бабушку сильнейшее впечатление, мой дядя подвел ее к подиуму и представил Иосифу как бабушку Сэма. Как рассказывал дядя, Иосиф мгновенно отреагировал с большим энтузиазмом и сказал, что ее присутствие величайшая честь для него, какую только могли оказать ему в Нэшвилле.

Вернувшись домой около одиннадцати вечера (поздний для нее час), бабушка немедленно позвонила мне, чтобы поделиться впечатлениями. Когда она описывала вечер, голос ее от возбуждения словно помолодел. Я порадовался, что она побывала на выступлении, особенно когда узнал, что знакомство их было таким сердечным. На другой день я позвонил Иосифу и поблагодарил его за такую сверхсердечность, какую он выказал бабушке. На что Иосиф ответил с некоторой горячностью, граничащей с раздражением: «Сэм, твоей бабушке девяносто пять лет. Она вышла из дому вечером в почти космический холод. Разве могло меня не тронуть ее присутствие? То, что я ей сказал, абсолютно соответствовало тому, что я тогда чувствовал: ее присутствие было большой честью для меня». Реакция Иосифа меня не удивила, а когда я теперь размышляю о том случае, мне кажется, что поведение Иосифа было характерным для него в двух отношениях: во-первых, оно демонстрирует, как он реагировал на других людей — в данном случае на мою бабушку — чисто интуитивно и горячо. Но не менее важно дру-

гое: ему очень хотелось, чтобы поэзия его воспринималась не только филологами или вообще людьми учеными, но и доходила до людей обыкновенных, и в случае с моей бабушкой он увидел, что ему это удалось. И все-таки великодушные его ответа меня очень тронуло. Старая женщина, преподававшая в молодости технику речи в маленьком провинциальном городке в Западном Теннесси, знакомится с русским поэтом, который по какому-то капризу судьбы является другом ее внука. И однако этих двоих связывает общая любовь к языку, к красоте, к поэзии, передаваемой человеческим голосом.

Признание, которое он приобрел, и то влияние, которое Иосиф в конце концов снискал в американском обществе, следует прежде всего приписать как его замечательному таланту поэта, так и аналитической мощи его многообразных эссе. Не менее важным фактором были его идеи, оценки и тонкое чутье, которые проявлялись в его стихах, а зачастую с еще большей ясностью в конкретных эссе. Его идеи и оценки являли собой поразительно постоянный показатель его индивидуальности, а также уникальности его творчества. Авторитет, со временем приобретаемый Иосифом, проистекал, по крайней мере частично, из его сурового стоицизма, который передавался от него окружающим. Снова и снова в своих эссе он настаивал на важной роли независимости. Ему была ненавистна претензия на статус жертвы, что сделалось характерной чертой современной жизни. И это отнюдь не было исключительно эстетической позицией; более того, как он утверждал, психологическое удовольствие, получаемое от ощущения себя жертвой, мешает улучшить ситуацию. Хотя мир и бывает сложен, нормы личного поведения человека, утверждал он, относительно просты. Признавая необходимость нюансов, он полагал, что свои мнения лучше

излагать прямо и бескомпромиссно. Уважение к напряженному труду — вот еще одна из его главных заповедей. Сам он шутил по этому поводу, заявляя, что сознает всю неуместность такого трудопочитания со стороны «тунеядца» (обвинение, предъявленное ему на суде в 1964 году). Конечно, он всегда находил время, чтобы вкусно поесть и поговорить в обществе друзей, однако все его творчество доказывает его трудолюбие.

К объяснению влияния Иосифа в Соединенных Штатах можно добавить еще и степень совпадения его главных ценностей и эмоционального настроения с освященной веками частью американских ценностей. Судьба Иосифа научила его тому, что жизнь — это борьба. И при столкновении с жизненными трудностями, как утверждал Иосиф, самое главное — не сдаваться. Он так прямо и говорил об этом в своей речи на церемонии выпуска в Уильямс-колледже, когда напомнил слушателям, что «пока у вас есть кожа, рубашка, верхняя одежда, руки и ноги, вы еще не побеждены»*. В другом эссе он утверждал, что суть свободы заключается в принятии на себя ответственности. Поэтому он с особой горячностью убеждал читателей никогда не считать себя жертвой. Допуская, что весьма соблазнительно винить других в наших неудачах, он прямо-таки настаивал, что «свободный человек, если его постигла неудача, не винит в этом никого»**.

Такие ценности, как индивидуализм, самостоятельность, привычка к упорному труду, крепость духа перед лицом беды, отказ принять поражение, — все они имеют выдающуюся

* *Joseph Brodsky. A Commencement Address / Less than One: Selected Essays. New-York, 1986. P. 391. См. евангельскую притчу о подставленной щеке (Мф. 5:39–42). — Примеч. ред.*

** *Ibid. The Condition We Call Exile. P. 38. См.: Сочинения Иосифа Бродского. В 7 т. Т. 6. СПб., 2000. С. 36.*

родословную в американском образе мышления. Иосиф вполне ясно высказывался по поводу привлекательности для него той части американской культуры, которая ставит во главу угла автономию личности, тем самым ее охраняя.

Иосиф часто высказывался в том духе, что наследие сочинителя — не его биография, а его книги, которые после него остаются. Нисколько не оспаривая этого, стоит, однако, отметить, что именно личное присутствие Иосифа оказало громадное воздействие на многих его современников.

Иосиф обладал необыкновенной способностью устанавливать такие отношения со своими друзьями, что те чувствовали себя как бы особо выделенными. Когда ты навещал его в Нью-Йорке, он вел тебя в любимый китайский ресторан. Он требовал предоставить ему выбирать блюда, и, если ты соглашался, тебе не приходилось потом сожалеть об этом. Он отвозил тебя в свое любимое место в городе, и в моем случае — это была панорама, которую я не обнаружил бы самостоятельно. Он чувствовал, что от него ждут, чтобы он вел за столом беседу. И он так и поступал, даже когда ему явно этого не хотелось. Он чаще бывал в ударе тогда, когда собиралась небольшая компания; тогда он пускался в монолог, и монологи его бывали столь же захватывающими, сколь и непредсказуемыми. Его аргументация порой приводила его к диковинным умозаключениям. Но зато они давали ему возможность делать оригинальные открытия, заключавшие в себе немаловажное зерно истины, которое до тех пор оставалось незамеченным или пренебреженным. При этом решающую роль играли еще два фактора: во-первых, врожденная решимость обсуждать все проблемы *de novo*, анализируя их в собственной терминологии с самого начала. И во-вторых,

его органическое отвращение к разного рода клише и общепринятому образу мыслей, причем он с подозрением относился даже к самым «неоспоримым» истинам. Он интуитивно понимал, что многие из этих истин — лишь популярные условности, которые хотя и были верными при своем возникновении, со временем износились и обветшали в результате долгого некритичного использования.

С особым жаром Иосиф нападал на стандартный язык и исходные посылаки левых. Эти посылаки, которые зачастую покоились на фундаменте их исторического видения России и Советского Союза, Иосиф имел основания оспаривать. Тут важно вспомнить контекст американской политической жизни непосредственно после его приезда в Америку в 1972 году. Все еще шла война во Вьетнаме, и главным содержанием общественной жизни был протест против нее. В 1973-м на первое место вышел Уотергейт, так что в стране, и в том числе, разумеется, в академическом мире, недоверие к правительству и его политике достигло высокой отметки. В этой обстановке трудно было отстаивать консервативные идеи любого толка. На Иосифа, когда он сталкивался с устойчивыми взглядами на спорные вопросы, это действовало как красная тряпка на быка. Его интуитивной реакцией было оспорить саму пригодность разделяемого всеми мнения. Если бы вы заявили, что небо голубого цвета, его ответ был бы: возможно, но все-таки...

Иосиф ни в коей мере не отличался сентиментальностью, но при этом умел выражать свою привязанность разными другими способами. Так, в 1977-м, когда мы с ним возвращались в машине с побережья Мексиканского залива после одного из выступлений в Тулейне, Иосиф повернулся ко мне и сказал: «Сэм, завтра в Детройте я получаю гражданство. По такому случаю я буду

в твоей рубашке и в галстук Эндрю Блэйна». (В те годы Иосифу часто приходилось носить рубашки друзей, я тоже отдал ему несколько своих.) Этот его жест заставил меня почувствовать себя на особом положении.

Иосиф рассказал мне как-то другой, хотя чем-то и схожий с этим случай. Он встретился в Париже со старым другом. Пообедав в ресторане, они отправились погулять по городу. Внезапно друг спохватился, что забыл в ресторане новенький фотоаппарат Nikon. Вернувшись за ним в ресторан, они обнаружили, что фотоаппарат исчез. Потеря, само собой разумеется, крайне огорчила друга и стала средоточием вечера. Иосиф, который высоко ценил друга и дорожил возможностью провести с ним вечер, достал чековую книжку, выписал чек на сумму стоимости фотоаппарата и потребовал: «Забудь про него, вернемся к разговору». Это, конечно, был щедрый поступок, но, что важнее, он свидетельствовал о том, что Иосиф не пожелал оказаться в плену обстоятельств и что дружба и важность настоящего момента были для него дороже. Хотел бы подчеркнуть, что Иосиф был довольно равнодушен к деньгам и вообще к материальным благам. Безусловно, они играли достаточно существенную роль в жизни всякого живущего в нашем обществе, особенно в Нью-Йорке, однако, судя по всему, материальные вещи не очень много для него значили.

Иосифу также словно бы казалось, что он обязан быть в хорошем настроении, находясь в обществе друзей и знакомых, скажем, на обеде или на вечернем сборище. После же инфаркта соблюдать эту привычку стало физически и психологически труднее. Летом 1980-го в Париже я присоединился к нему, чтобы поехать вместе на вечер к нашим друзьям, живущим в пригороде. Когда мы стояли на улице и пытались поймать

такси, у него вдруг заболело сердце. Он схватился за грудь, потом потянулся в карман за таблетками нитроглицерина, которые всегда носил с собой. Боли в тот раз были настолько сильными, что я испугался, как бы он не умер прямо сейчас на многолюдной улице Парижа. Боли во время таких приступов, несомненно, были очень жестокими, так что каждый раз угроза смерти казалась неминуемой.

В конце концов мы остановили такси и поехали за город. В течение вечера боли утихли и настроение у Иосифа улучшилось. Повлиял тут нитроглицерин или окружение друзей, не могу сказать. Во всяком случае, он не разочаровал собравшихся и не замкнулся в своей скорлупе. Я отчетливо помню два главных момента в тот вечер. Первое: то, как он говорил — оживленно, как всегда. Второе: как он достал перепечатанные стихи «Зимняя эклога», которые только что закончил.* Обычно я не вполне понимал стихи Иосифа, слушая их в первый раз, но в «Зимней эклоге» многое я воспринял легко. До сих пор мне слышится, как он произносит повторяющийся рефрен: «Жизнь моя затянулась».

Ни в чем так отчетливо не сказывалось мужество Иосифа, как в долгой борьбе, которую он вел с постоянно ухудшающимся состоянием своего сердца. Его отказ сдаться вполне сознаваемой смертельной угрозе был частью его вообще стоического отношения к жизни. Могу лишь догадываться, что он черпал моральную поддержку у античных писателей, которых читал и почитал. Жизнь его была наполнена общением с друзьями, преподавательской работой, творческим трудом, путешествиями, радостью от вкусной еды и интересной беседы. Но никогда

* «Эклога 4-я (зимняя)», посвященная Дереку Уолкотту, была написана в 1977 г. — *Примеч. перевод.*

он не терял из виду своей главной миссии — сочинять стихи. Однажды в восьмидесятые я посетил его на Мортон-стрит днем в воскресенье. Не помню уж по какой причине, там собралось непривычно много народу. Тем не менее в какой-то момент мы остались в его гостиной вдвоем. Явно расстроенный все возрастающим числом профессиональных и общественных обязательств (включая и присутствие такого количества знакомых у него в квартире в то воскресенье), он принялся рассуждать о том, какой видится ему его дальнейшая жизнь: «Послушай, Сэм, в литературной энциклопедии где-то между Блоком и Брюсовым в будущем найдется местечко и для меня. Моя сегодняшняя работа состоит в том, чтобы шлифовать и совершенствовать это местечко. Вот и все». Во время нашей последней встречи в начале девяностых я спросил, доволен ли он тем, что в России появилась молодежь, которая читает и действительно любит его поэзию. Он ответил, что это не его забота. Его дело — писать стихи, и он это делает для своего удовольствия. Если другим его стихи нравятся, то он, конечно, рад. Но пишет он не ради этого. Важно заметить, что он все больше интересовался молодыми поэтами в России, так что высказанная им в данном случае позиция никак не означала безразличия.

В марте 1996 года, через сорок дней после смерти Иосифа, я прилетел в Нью-Йорк на поминальную службу, посвященную его памяти. Вылет задержался, так что я приземлился в аэропорту Ла Гуардия только около полуночи накануне церемонии. Было ясное ночное небо и необычайно холодно. Проезжая по пустынным улицам в сторону Манхэттена, я обратил внимание на то, что деревья сверху донизу покрыты изморозью. Эффект получился поразительный, казалось, будто город нарядился в сверкающий

зимний наряд специально в честь Иосифа. На следующий день на поминальной церемонии его друзья и поклонники до отказа заполнили глубокий неф собора Св. Иоанна Богослова. Оглядываясь вокруг, я видел друзей Иосифа из разных периодов его жизни: его бывшие студенты, академические коллеги, русисты и многие известнейшие фигуры американской культурной жизни. Большую часть собравшихся составляли американцы либо русские эмигранты, давно осевшие в Соединенных Штатах. А многие специально прилетели из России и других частей Европы. Помню, я думал: каким образом мог один человек за одну жизнь соприкоснуться с жизнями стольких людей? Но вот все они были тут, и я знал, что Иосиф поддерживал личные отношения буквально с каждым, находившимся в зале. Церемония началась с исполнения нескольких произведений камерной музыки, которые особенно любил Иосиф. Надгробного слова не было. Вместо этого друзья Иосифа читали его стихи и стихи его любимых русских и американских поэтов. Строгость программы с акцентом на музыку и поэзию понравилась бы и самому Иосифу. Церемония завершилась органным исполнением песни «Когда Джонни вернется домой», которую Иосиф считал самой типичной американской песней. «Веселая песня в минорном ключе», — так он когда-то выразился.

Перевод с английского Наталии Рахмановой*

Автор хотел бы поблагодарить Ромаса Катилюса, который вдохновил меня написание этой статьи и заставил довести дело до конца. В особенности благодарю Александру Раскину, Александра Вентцеля и Галину Муравьеву за тщательное прочтение первоначального варианта и неоценимые советы в процессе авторедактуры.

НАТАЛЬЯ ВОРОШИЛЬСКА

*Иосиф Бродский
и Виктор Ворошильский:
три встречи*

Я понимаю, что моя роль на страницах этого сборника, посвященного Иосифу Бродскому, — как бы замещать моего отца Виктора Ворошильского, польского поэта, переводчика, друга Бродского. Я к этой роли уже привыкла. Я постараюсь говорить не столько от его имени, сколько его словами. В моих руках его архив, в частности неопубликованный дневник, который он вел почти всю жизнь. Не стану избегать и фрагментов его высказываний, разбросанных по разным публикациям.

Адам Михник в своем выступлении сказал, что Виктор Ворошильский был одним из главных польских переводчиков Бродского. Однако это не совсем так, хотя его роль в ознакомлении польских читателей с творчеством Бродского, несомненно, велика. В антологии переводов русской поэзии В. Ворошильского под названием «Мои москали», изданной через 10 лет после его смерти (в 2006 году), но подготовленной им самим, он сам об этом пишет так:

В Польше первыми переводчиками Бродского были Северин Полляк, Эугения Семашкевич, Анджей Дравич, а также

*(в эмиграции, на страницах «Культуры») Юзеф Лободовский. В последний момент перед изгнанием из России и — что, конечно, за этим последовало — внесением фамилии Бродского в черный список цензуры ПНР два произведения Бродского (одно в моем переводе) успели появиться в «Антологии современной русской поэзии».**

В те времена цензура тщательно проверяла, можно ли печатать того или иного автора. Составители антологии должны были представить издательству список всех произведений с указанием первоисточника. Во многих случаях они просто придумывали библиографические данные, которые цензура и издатели не могли проверить. Но с современными поэтами было сложнее. И тем не менее два стихотворения Бродского просочились.

*Новая волна переводов хлынула после того, как появилось так называемое «второе обращение» (drugí obieg — неподцензурные издательства и журналы. — Н. В.). Главным — и превосходящим — посредником между оригинальным творчеством Бродского и польским читателем стал Станислав Баранчак, который опубликовал несколько переводов уже в 4-м номере журнала «Zapis»** (октябрь 1977), а в 1979 году издал в подпольном издательстве «NOWa» сборник его стихотворений и поэм «J. Brodski. Wiersze i poematy». [...] Я Бродского переводил относительно немного, особенно с тех пор, как понял, каким замечательным его посланцем в польском языке является*

* Имеется в виду: Antologia nowoczesnej poezji rosyjskiej 1880–1967 / Red. W. Dąbrowski, A. Mandalian, W. Woroszyński. Wrocław, 1971.

** «Zapis» — первый неподцензурный литературный журнал «второго обращения» в Польше, издававшийся с 1977 г.

Станислав Баранчак, но я о нем много раз писал, а в 1985 году в Кракове, в подпольном издательстве, я анонимно подготовил сборник его стихов (второе издание в 1987 г.). В 1990 году, уже легально, я издал избранные стихи Иосифа Бродского в серии «Библиотека поэтов».***

Антология «Мои москали», из которой взяты эти слова, кроме переводов включает также рассказы о поэтах, но это не просто биографические заметки, а истории знакомств Ворошильского с этими поэтами, причем в самом широком понимании этого слова. Это ведь не всегда были личные знакомства. В случае Бродского встреч было три.

Первая из них состоялась в Вильнюсе в 1971 году, в Страстной понедельник и длилась всего сутки. Спустя 22 года, во время Пасхи, Ворошильский описал эту встречу в статье «Три фотографии», опубликованной в 1993 году в сборнике «O Brodskim. Studia, szkice, refleksje» (ред. Пётр Фаст, изд-во Śląsk, Katowice, 1993), подготовленном по случаю присвоения Иосифу Бродскому титула доктора Силезского университета в Катовице.

«Точностью даты я обязан путевому дневнику нашей — в то время тринадцатилетней — дочери Натали», — писал мой отец. К сожалению, кроме точности даты, в моих путевых записках почти ничего больше нет. Родители заставляли меня во время важных поездок вести дневник. Меня это ужасно мучило, и я записывала лишь основные факты, подробностей, к сожалению, мало.

Текст «Три фотографии» опубликован на литовском языке, а теперь также и на русском, так что я не буду его приводить.

* *J. Brodski. Wybór poezji. Oficyna Literacka, 1985.*

** *J. Brodski. Poezje wybrane. LSW, 1990.*

Сам дневник отца того времени, к сожалению, исчез. Были такие времена (конец 1970-х годов, потом военное положение в Польше), когда часть важных книг и документов отец, опасаясь обысков, хранил не дома, а у знакомых. Тетради с записями за 10 лет (1968–1978) где-то затерялись, не удалось установить, где хранился дневник. Может, когда-нибудь еще найдется.

Однако эта первая встреча с Бродским 5 апреля 1971 года была настолько важной, что отец о ней часто вспоминал и много раз писал. Важным было само это путешествие. Мой отец решил показать мне и маме Гродно — город, где он родился. И мы отправились в Советский Союз — это была первая поездка родителей после их возвращения из СССР в 1956 году (мои родители провели 4 года в Москве, отец учился в аспирантуре Литературного института им. М. Горького). Мы поехали в Гродно, Вильнюс и Таллин. На обратном пути мы опять остановились в Вильнюсе.

Это путешествие оставило неизгладимый след в моей памяти — и Гродно, и Вильнюс, и Таллин. Оно было очень интенсивными, особенно день в Вильнюсе. Я не могу вспомнить подробно, о чем разговаривали взрослые, хотя я и прислушивалась. Однако помню интенсивность и необычность этого дня. Я помню нашу экскурсию в Тракай, помню прогулки по крепостной стене и Бродского, декламирующего по-польски стихи Галчинского. Помню также — это, конечно, не самое главное, но для меня это было важно, — что Бродский обращал на меня внимание, то есть замечал меня. Говорил: «Barokowa Natalia» («Барóчная Наталья»). Я почему-то помню это по-польски. Возможно, он это и говорил по-польски.

Прогулка по Тракаю запечатлена на снимках, которые делала моя мама. И, как оказалось, это единственные фотографии

Бродского в Литве.* Об этой встрече Ворошильский, конечно же, рассказывает в книге «Мои москали»:

Я познакомился с Бродским в относительно благоприятный для него год между ссылкой и эмиграцией, а точнее — в Страстной понедельник 5 апреля 1971 года. Вместе с женой и дочерью на обратном пути из Таллина я нелегально оставился в Вильнюсе, воспользовавшись гостеприимством литовского поэта и ученого Томаса Венцловы. В ответ на телефонный звонок Венцловы Бродский прилетел из Ленинграда, и мы вместе провели один долгий день в Вильнюсе и Тракае, непринужденно болтая, шутя, острося, понимая друг друга с полуслова. Вернувшись в Варшаву, я перевел и напечатал в журнале «Одра» неопубликованные в СССР стихотворения «Два часа в резервуаре» и «Остановка в пустыне». Наша вторая встреча произошла спустя 10 лет в Западном Берлине.

Виктор Ворошильский был тогда стипендиатом Deutscher Akademischer Austauschdienst — германской службы академических обменов DAAD. Он провел в Берлине несколько месяцев и вернулся незадолго до 13 декабря 1981 года, то есть до введения военного положения в Польше и, следовательно, своего интернирования.

13 мая 1981 года Ворошильский записал в дневнике:

На вечере Бродского в ДААД. Публики пришло много — немцы, русские, поляки, но не столько, сколько было бы в Москве, Варшаве или Париже. [...] Когда появился Иосиф,

* См. с. 300–302 настоящего издания.

я подошел, он узнал меня, не скрывая удивления — ведь прошло 10 лет, — сказал по-польски: «Co Pan tu robi?». Мы обнялись. Вечер начался со вступительного слова о поэте Ханса Христиана Буха, потом Иосиф читал свои стихи по-русски (распевно), одно стихотворение по-английски, посвященное Лоуэллу, а кто-то — те же стихи по-немецки (переводы были бледной копией оригинала). Потом были вопросы и ответы. Немцы умничали, в сущности, наводя скуку. Иосиф что-то отвечал, через час я ушел, оставив Иосифу записку с номером телефона.*

В то время у моего отца были проблемы со здоровьем, что видно по записям в дневнике. До последнего момента не было известно, будет ли он в состоянии пойти на этот вечер Бродского.

На следующий день, 14 мая, он записал:

Дважды звонил Ося, я договорился встретиться с ним в Женеве (там должна была состояться конференция, на которую отец намеревался поехать. — Н. В.). До встречи сегодня дело не дошло — он улетал в Париж, а до этого он был занят какими-то немцами, но мы поболтали.

До встречи в Женеве, однако, дело тоже не дошло. Ворошильский был болен, через 10 дней он оказался в больнице, а в начале июня был прооперирован.

Третья встреча состоялась через 12 лет, в июне 1993 года, когда Бродский получал в Польше почетный титул доктора Силезского университета. Эта встреча также была короткой. 23 июня Ворошильский записал:

* Что пан здесь делает?

Звонила Веруша (жена Анджея Дравича. — Н. В.) — что Анджей вернулся из Парижа и Катовице, здесь и там сожалели, что меня нет, а Иосиф хочет со мной встретиться, и если я не против, Анджей мог бы привезти его ко мне завтра ненадолго. Я не против, лучше в первой половине дня.

В это время мой отец был после онкологической операции, ему был назначен курс облучения.

В тот же день он записал: «В „Газете выборчей“ катовицкая речь Бродского. Понравилась». Тема речи Бродского появилась и в беседе на следующий день, 24 июня:

После обеда Анджей привез Бродского — внешне он мало изменился (может, это мне только показалось, ведь я эти годы видел его на фотографиях и по телевизору, а при общении, мне кажется, сначала с обеих сторон чувствовалась некоторая скованность, но мы ее, пожалуй, преодолели. Он много говорил о разном, был тронут Польшей вообще, встречей с нами в особенности (со мной, с Янкой и Натальей, которая к тому времени подошла), тем, как его принимают, спрашивал о впечатлениях от катовицкой речи — я хвалил искренне, не согласен был только с предубеждением, что поляки болезненно реагируют на русский язык. Мы возвращались к эпизодам из прошлого, которые нас объединяли, в частности говорили о встрече в Вильнюсе в 1971 году, о «Правде-матке», роли Чапайтиса в этом кругу. Иосиф был склонен к некоторой снисходительности: Чапайтис мог очень навредить Венцлове, но не сделал этого, хотя доставлял «труды» о нем. А, используя «Правду-матку», мог посадить или уничтожить как Томаса, так и Иосифа... Глядя на наши общие фотографии, сделанные

Янкой в Тракае 5 апреля 1971 года, Бродский выдвинул предположение, что он на них... в парике. Незадолго до нашей встречи он снимался в Одессе в каких-то фильмах (по протекции, кажется, Гришки Поженяна), и для одной из ролей (активиста большевистского подполья во время интервенции) требовалось побрить голову «под ноль». Роль в конечном итоге забрали, потому что в ком-то проснулась бдительность, а он некоторое время прятал лысую голову под париком. Возможно, так и было, однако никто из нас тогда ничего не заметил. Да и сейчас, внимательно рассматривая фотографии, мы не смогли этого обнаружить, может, все-таки все было по-другому. Еще одно воспоминание Иосифа — как мы разговаривали по телефону в Англии, на следующий день после его Нобеля (он был в Лондоне на радио Би-би-си, а я у Лешек (Тамары и Лешека Колаковских. — Н. В.) в Оксфорде). Я ему рассказал, как в лагере для интернированных (то есть во время военного положения. — Н. В.) мы получили его «Колядку 81», посвященную мне и Дравичу, и как это нас взбодрило.* В свою очередь, на него эта информация произвела огромное впечатление и в этот момент — как он говорит — была важнее Нобелевской премии. В конце концов, он рассказывает какие-то анекдоты обо мне, которые от кого-то слышал или сам придумал, касающиеся моего московского «перелома»: что меня якобы туда послали, чтобы воспитать «польского Суркова» (эту интерпретацию, с определенной натяжкой, можно принять), а я выкинул финт... Далее, однако, пошла сплошная фантастика, героем которой является Корнелий Зелинский (я вообще не был с ним

* «A Martial Law Carol: To Wiktor Woroszyński and Andrzej Drawicz» — написанное в 1980 г. и опубликованное в американской прессе стихотворение И. Бродского. — *Примеч. ред.*

знаком): мстя за его подлость, я якобы поехал в Переделкино, бросил дрожжи в сортир, в результате чего его виллу, и даже все Переделкино, залило говном!.. Что ж, красиво. Иосиф не принял мое предложение перейти на «ты», он слишком привязан к форме «пан Витек». Говорит, что с некоторыми людьми он вообще не в состоянии перейти на «ты» — например, с Милошем. Но с Томасом и Дравичем он, однако, на «ты». А с Баранчаком? Они разговаривают по-английски, используя форму «you», которую можно переводить двояко. Наталья сделала очередные «исторические» снимки, после чего на двух машинах мы поехали в Дом русской культуры, где — от крыльца до переполненного зала — поэта ожидали толпы поклонников, организаторов и фотографов. Нас посадили, к счастью, на зарезервированные места во втором ряду (Наталья оказалась рядом с послом Кашилевым). <...> Я познакомился с Петром Фастом — невысоким, с усиками. Сидя с Иосифом на эстраде, он был достаточно тактичен, чтобы свести свою роль к произнесению самых необходимых слов и предоставить все поле действия герою вечера, чем тот охотно воспользовался: прочитал, а точнее, своеобразно распел огромное количество стихотворений, с перерывом на сигарету, когда, не сходя со сцены, он отвечал на вопросы публики. На этот раз все проходило по-русски. В зале, кстати, было немало русских. Длилось это часа два, выступление, казалось, не только не утомляло Иосифа, но приносило ему удовольствие... После выступления и перед ожидающей Иосифа раздачей автографов (выстроилась уже длинная очередь) — нас повели, вместе с другими избранныками судьбы, в небольшой зал наверху на бокал вина — я, конечно, не пил. Прощание с Иосифом (с перспективой увидеться завтра на вечере в ПЕН-клубе).

Вечер в ПЕН-клубе состоялся 25 июня, однако отец туда не пошел:

Я чувствовал себя плохо и в конце концов отказался сопровождать Янку и Наталью на вечер Бродского в ПЕН-клубе. Не без сожаления, так как это значит, что в этот раз больше его не увижу. Я лежал, читал. Янка вернулась не слишком поздно — толпа, к герою вечера трудно было пробиться. Рассказывала, что он был очень хорош и неутомим, как вчера. Многих привело в изумление его распевание стихов. Понимали немного, но слушали завороженно.

27 июня Ворошильский отметил в дневнике, что написал для «Русской мысли» о пребывании Бродского в Польше. В этом тексте он продолжил тему отношения поляков к русскому языку:

*В Катовице Бродский говорил по-английски, считая, что поляки болезненно реагируют на русскую речь. Потом удалось его убедить, что это не так. Аллергию может вызывать язык политического диктата и тупой доктрины, а не язык великолепнейшей поэзии, созданной человеком. На встречах в Варшаве Бродский говорил уже по-русски, что, быть может, мешало ему самому скрывать волнение, но нам помогало принять его и не сдерживать своего.**

Вспоминая эти три встречи в книге «Мои москали», Ворошильский задается вопросом: «Сколько можно друг другу сказать

* Виктор Ворошильский. Иосиф Бродский в Польше // Русская мысль. № 3986. 1–7 июля 1993 г. С. 5

в течение часа, раз во столько лет? Все-таки что-то можно, если между этим были и другие встречи — стихов, книг, мыслей».

То же самое — немного другими словами — мой отец сказал в прощании с Иосифом Бродским, напечатанном в «Газете выборов» после его смерти:

Мы дружили на расстоянии ровно четверть века. <...> Мы провели вместе, не расставаясь, один долгий, памятный на всю жизнь день: Вильнюс в стиле барокко, такой же барочный Бродский, его громкий смех и пристальный взгляд...

С тех пор навсегда — его поэмы, эссе, физическое отсутствие (за исключением редких встреч) и духовное присутствие — столь интенсивно, что невозможно представить себе, чтобы теперь оно прекратилось... До свидания, Пан Иосиф, до следующего раза!

Так прощался с Бродским на страницах «Газеты выборов» Виктор Ворошильский.

А чуть более чем через полгода — в сентябре 1996-го — отправился вслед за ним.

Виктор Ворошильский

Три фотографии*

Думая о будущих биографах поэта, предлагаю вниманию читателя три фотографии, никогда ранее не публиковавшиеся, сделанные моей женой Яниной в Тракае двадцать два года тому назад — 5 апреля 1971 года (это был Страстной понедельник).

Точностью даты я обязан путевому дневнику нашей — в то время тринадцатилетней — дочери Натали.

Знаю по собственному опыту, что для тех, кто интересуется великими творцами прошлой эпохи и пишет их биографии, важно документировать даже мимолетные, случайные моменты из жизни героя, находить след тех дней, когда, казалось бы, ничего интересного не происходило — разве что была наспех сделана фотография или кем-то оставлена краткая запись об одном из множества таких похожих друг на друга и уже стершихся в памяти дней, недель, месяцев. По найденной фотографии или

* Оригинал на польском языке: *Wiktor Woroszyński. Trzy fotografie* // O Brodskim. Studia. Szkice. Refleksje / Pod redakcją Piotra Fastry. Katowice: Znak, 1993. P. 15–21. Перевод на литовский язык: *Wiktor Woroszyński. Trys nuotraukos (vertė Skirmantė Ramanauskaitė)* // Naujoji romuva. 1997. Nr. 1–2. P. 51–53.

записи можно понять (или просто увидеть) как тот, кто по прошествии времени вызывает все больший интерес, превратился в «остановленное мгновение», где он был, что делал и с кем общался, а если повезет еще больше — то и *услышать* его голос, восстановить смысл и интонацию хотя бы одной оброненной фразы. Иногда удается установить связь между одним из десяти тысяч жизненных обстоятельств и тем, что появилось на свет позже (стихотворение или даже несколько строк).

Описывая историю того дня, кроме трех старых фотографий и детского дневника, воспользоваться которым мне разрешила его повзрослевший автор, я опираюсь как на собственную память, так и на память еще одного участника той нашей встречи в Вильнюсе и Тракае: это литовский поэт и ученый Томас Венцлова, написавший, в частности, подробную статью о стихотворении Бродского «Литовский дивертиссмент», которое к тому же ему и посвящено. В первом варианте статьи, опубликованной в Париже в русскоязычном журнале «Синтаксис» (1982, № 10), Венцлова рассказывает и об описываемых мною событиях.

Итак, 5 апреля 1971 года. День выдался настолько длинным, что и мне и Томасу он запомнился не как один, а как несколько насыщенных дней. Венцлова пишет:

*Мы втроем с Ворошильским несколько дней ходили по городу, сидели в кафе, говорили о Лозинском, Фросте, Роберте Пенне Уоррене и многом другом.**

Действительно — дневник Натальи тому самый точный свидетель! — Иосиф появился в Вильнюсе до полудня в понедельник,

* В более поздних вариантах статьи не «нескольких дней», а «долго». —
Примеч. перевод.

а во вторник, примерно в то же время, мы с женой и дочерью уже уезжали в Гродно. Ей-богу, не верится, что все, о чем я собираюсь рассказать, произошло в течение суток.

Однако начнем с начала. Я давно хотел показать жене и дочери старые земли на востоке того края, откуда я сам родом*, особенно — свой родной город Гродно, и, конечно же, Вильнюс, где я тоже часто бывал в детстве. Теперь оба города находятся за границей, пересечь которую было невозможно без одобренного властями вызова, причем отдельно из каждого места, которое мы намеревались посетить. Ни в Гродно, ни в Вильнюсе моим друзьям не позволили выслать приглашение подозрительному варшавскому литератору с семьей.** Вызов прислал мой знакомый, эстонский переводчик Александр Куртна, так что мы отправились в Таллин и — по пути туда и обратно — сделали две нелегальные остановки: в Гродно и Вильнюсе. В Вильнюсе жили у Томаса Венцловы, который прежде гостил у нас в Варшаве (а еще раньше, во время одного из своих путешествий, останавливался у нас со своей женой). Теперь они предоставили в наше распоряжение свою квартирку на романтической мансарде, а сами ушли к друзьям. По пути в Таллин мы пробыли в Вильнюсе дольше (с 26 до 29 марта), а на обратном пути — совсем немного: 4 апреля (это было Вербное воскресенье; вечером, дома, мы еще долго любовались красивыми ветками вербы, купленными у церкви Св. Рафаила) и еще один день. В воскресенье хозяин поинтересовался, не хотел бы я познакомиться с Бродским. Как же не хотел бы?! Предоставляю слово Томасу:

* Речь идет о восточных окраинах довоенной Польши, бывшей Речи Посполитой. — *Примеч. перевод.*

** Приглашение из Вильнюса было мною выслано, но не достигло адресата. — *Примеч. Т. Венцловы.*

С почетом я позвонил Бродскому в Ленинград и без объяснений попросил приехать. «Когда?» — спросил Бродский, тоже коротко и без лишних расспросов. «Сегодня». — «Буду завтра». На следующее утро я встретил его в аэропорту.

Так начался тот долгий день, который моя семья провела с Иосифом Бродским, Томасом Венцловой и его женой Эрой. Был с нами и другой наш общий литовский друг, переводчик польской и русской литературы, часто бывавший в Варшаве, Виргилиус Чепайтис. Через много лет этому имени было суждено прославиться: сначала когда Виргилиус стал ответственным секретарем «Саюдиса»*, необычайно важным деятелем в освобожденной стране, а затем — когда всплыла его «другая жизнь» и звезда его неординарной политической карьеры закатилась. Однако тогда, весной 1971 года, никакие подозрения не мешали нам вместе проводить время.

Иосиф Бродский, которого Томас привез в «нашу» квартиру прямо из аэропорта, удивил нас уже одним своим видом: мы представляли себе бледного, одухотворенного юношу, а увидели плечистого атлета, словно сошедшего со страниц «Одесских рассказов» Бабеля: «Беня Крик!» — тотчас охарактеризовала его моя жена. Своим поведением и манерами он тоже отнюдь не показался нам «поэтическим»; напротив, был совершенно прост, весел, открыт и даже прямодушен. Не теряя времени, мы собрались в город. Это была особая прогулка, так как нам (мне и моим дамам) то и дело приходилось переключать внимание:

* Общественно-политическое движение за независимость Литвы в 1988–1990 гг. — *Примеч. перевод.*



С Виктором Ворошильским. Тракай. 5 мая 1971 года
Фото Янины Ворошильской

нас притягивали то улицы, дома и живописные уголки старого Вильнюса, то сам гость из Ленинграда, необыкновенный участник нашей прогулки (кстати, неплохо знавший город, потому что он здесь часто бывал). Бродский рассуждал свободно и не слишком сдержанно, не скупился на дары своей изысканной музыки — например, эпиграммы, которые выстраивал по-польски (да-да!). Возможно, его польский и не был безупречным, но поэтическая находчивость была крайне интересной (жаль, что никто из нас тогда не записывал фраз, которые он декламировал по памяти). Польский, как и английский, он выучил самостоятельно; я чувствовал, что здесь таится какая-то романтическая история, но дело было не только в ней — его интересовала польская поэзия, из которой он кое-что переводил, в основном К. И. Галчинского. Из серьезных моментов нашей беседы, в которой первую скрипку играл Иосиф, мне запомнился такой: он широко взмахнул рукой



С Томасом Венцловой и Виктором Ворошильским

Фото Янины Ворошильской

и сказал: «Красиво, правда? — а затем со злостью и досадой в голосе добавил: — Но в чьих же руках все это?» Понятно без объяснений, что он имел в виду советскую власть.

Томас повел нас в университет. Как записала в дневнике наша дочь, мы осмотрели кабинет Лелевеля, полный карт и глобусов, и посетили выставку старых книг и документов в одном из залов библиотеки. Один из экспонатов — книга под названием «*Amicum philosophum de melancholia, mania et plica polonica*» — вскоре перекочевал в текст «Литовского дивертисмента». А еще через некоторое время дотошный Венцлова поправил Бродского, который допустил ошибку в своем стихотворении, решив, что тот трактат относится к Средневековью, в то время как он был написан в эпоху Просвещения, в XVIII веке...

В течение нескольких часов часов мы гуляли по Вильнюсу, бывали и в университетской обсерватории, а затем на двух такси



По стене идут Наталья Ворошильска, Иосиф Бродский, Томас Венцлова. Внизу — Эра Коробова. Фото Янины Ворошильской

поехали в Тракай. Там пообедали в гостиничной столовой; надеюсь, цель описываемых мною впечатлений не пострадает, если скажу, опять же цитируя автора нашей летописи, что главным блюдом были караимские пирожки с бараньим фаршем, луком и перцем. Пообедав, пошли по мосту через озеро к старому замку, а на обратном пути, на том же мосту, была сделана первая фотография (Бродский со мной) и еще одна, на которой к нам присоединился Венцлова. Третья фотография была сделана примерно на полчаса раньше; фигуры, снятые со спины на стене замка, — это Венцлова, Бродский (посередине) и Наталья. Внизу — жена Томаса Эра, а сбоку, не вписавшийся в кадр, — это я.

Мы вернулись в Вильнюс, и день увенчался прекрасным ужином у Чапайтиса. Признаться (не скрою и этой детали), все мужчины были не прочь пить до дна. Тем не менее в тот вечер

было немало и литературно-политических диковинок: нам был открыт секрет издательской деятельности Венцловы, Чапайтиса и Бродского. Они втроем выпускали рукописную сатирическую газету на русском языке «Правда-матка». Иосиф громко ее зачитывал, но это ему удавалось с трудом, потому что он то и дело покатывался со смеху. Всем было очень весело, но сейчас я уже не вспомню тех пародий на объявления и передовицы о достижениях социалистических строек. Зато помню другой фрагмент беседы — как мы планировали установить в Литве (конечно, уже освобожденной) конституционную монархию. Я предложил пригласить в столицу Литвы княжну Анну Радзивилл, занимающую в то время должность вице-директора варшавского Лицея им. Лелевеля. Полонофил Венцлова одобрил эту кандидатуру с условием, что ее мужем-князем станет местный литовец (вероятно, имея в виду себя). Бродскому был обещан пост верховного придворного советника.

После пира, провалившись в глубокий сон, я не проснулся и от громкого стука в дверь в четыре часа утра. Моя жена, открыв дверь, услышала, что происходит мобилизация и что хозяин квартиры должен тотчас же явиться в комендатуру. К счастью, Томас и Иосиф ночевали в другом месте. Ни мы, ни Томас так и не узнали, какую именно организацию представляли ночные гости и зачем они приходили. На всякий случай Томас не спешком торопился возвращаться домой с места своего временного пребывания на улице Лейиклос (увековеченной в «Литовском дивертисменте»).

В первой половине следующего дня вся компания провожала нас на вокзал. Сцена моего прощания с Бродским, а также последняя его фраза запомнились и Венцлове: «Уже стоя на ступеньке вагона, Ворошильский сказал: „Что же, Иосиф, мы все же

встретились, хотя история старалась этому помешать“. — „География помогла“, — ответил Бродский».

Примерно в то же время Бродский написал «Литовский дивертисмент», где изображена квартира-студия Венцловы; это произведение в известной мере связано с описанной мною историей, имевшей место в Страстную неделю в 1971 году в Вильнюсе (хотя и не только с ней).

Вернувшись в Варшаву, я перевел и опубликовал в журнале «Одра» произведения Бродского, не напечатанные в Союзе: «Остановку в пустыне» и «Два часа в резервуаре».

Я также написал рассказ, который впоследствии вошел в мою книгу «Истории», основанный на том, что мне довелось услышать от Бродского в Вильнюсе и в Тракае 5 апреля 1971 года.* После возвращения поэта из ссылки в Архангельской области, его стали навещать типы в штатском, один из которых нарисовал ему картину блестящей литературной карьеры и, главное, пообещал в два счета издать книгу стихов (даже сказал, на какой дорогой финской бумаге она будет напечатана). Напомню, что тогда у 30-летнего Бродского еще не было ни одной книги, изданной на родине, а стихотворения, напечатанные в отдельных журналах, можно было пересчитать по пальцам. Другой посетитель завел, казалось бы, совсем иной разговор нежели его коллега: что якобы в скором времени поэта навестит один интересующийся им иностранец, который небезынтересен и им и что не помешало бы, если бы поэт запомнил, что тот иностранец будет ему говорить, а потом бы чистосердечно повторил... Бродский, как и герой моего рассказа Хуан Гонзало (ведь действие происходит в Испании Франко, где же еще?), не слишком чествовал этих

* *Wiktor Woroszyński. Juan Gonzalo. Historie. Czytelnik Warszawa, 1987. P. 59–62.*

гостей. А если бы он их встретил иначе (я предусмотрел в сюжете и такой поворот дела), то обещанная книга стихов мигом была бы издана и это явилось бы доказательством всему миру, что «в Испании» уже установился либерализм; никто бы и не заподозрил, что такое смягчение цензуры на самом деле означает лишь слабую уступку давно гонимому, измученному поэту..

Воображая себе такой вариант, я твердо знал одно: никогда в жизни так не поступит мой новый знакомый, с которым я провел тот единственный, но отнюдь не печальный день в Вильнюсе и Тракае.

Я успел отправить Иосифу номер журнала «Одра» с переводами его стихов, а через год после нашего знакомства он был вынужден навсегда покинуть свою страну.

Следующей нашей встрече — видать, ни истории, ни географии оказалось не под силу ее приблизить — было суждено состояться лишь через десять лет, на поэтическом вечере в Берлине. Нечего и говорить, что ни он, ни я уже не выглядели такими, как на этих фотографиях...

Варшава, 1993 год, Пасха

Перевод с польского Якова Клоца*

Михаил Мильчик

Бродский в родном Ленинграде

Я не собираюсь писать воспоминания. То, что дальше предстоит прочесть читателю, — это лишь фрагменты того, что почему-то запомнилось особенно, словно лучом света вырванного из чреды многих встреч, вечеринок, дней рождений, разговоров в компаниях или с глазу на глаз. Я попытался выстроить эти эпизоды во временной последовательности (за абсолютную точность не ручаюсь), а также использовать записи нескольких разговоров, которые я сделал для себя перед самым отъездом Иосифа — в мае 1972-го.

Мне трудно вспомнить, когда и как я познакомился с ним, кажется, на какой-то вечеринке в 1961-м или 1962-м. Однако о нем слышал раньше, более того, читал на машинописных листках несколько его стихов, среди которых, помню, были особенно понравившиеся мне «Пилигримы» (кстати, сам листок сохранился). На том вечере сильное впечатление произвело его распевно-экспрессивное чтение стихов, без какого бы то ни было стремления к смысловой выразительности, без привычной актерской манеры. Затем через месяц или два мы

случайно столкнулись на улице, и я не без некоторого колебания решил пригласить его домой на предполагавшуюся вечеринку. На подобные встречи по обыкновению собирался круг сверстников — друзей и знакомых, где мы распивали грузинские или болгарские вина, болтали, слушали долгоиграющие пластинки и читали стихи, по преимуществу собственного сочинения. Жил я тогда в одной комнате коммунальной квартиры на предпоследнем этаже дома по улице Скороходова (ныне она, как прежде, называется Большой Монетной). Он, к моему удивлению, легко согласился и пришел, правда к концу вечера. Держался обособленно, может быть, потому что ему почти никто среди собравшихся не был знаком, но стихи читал (какие — не помню).

Хорошо помню, как на суде 18 февраля 1964 года вдоль стен зала Клуба строителей на Фонтанке стояли как бы дружинники (всем было ясно, что это сотрудники Большого дома) и строго следили за поведением в зале безмолвных слушателей и зрителей действия, финал которого был предопределен. Меня чуть было не удалили из зала из-за того, что я что-то шепнул на ухо моему соседу архитектору Александру Раппапорту, но вместо меня по ошибке вывели его. После окончания заседания, выходя из зала, удалось перемолвиться несколькими словами с Иосифом. Он вдруг неожиданно вспомнил: «Я так и не дочитал Пруста. Возьми его у мамы». Вообще мы часто брали друг у друга книги. В результате у меня так и остались две — двухтомник Николая Клюева под редакцией Г. Струве и Б. Филиппова (1969) и стихи американского поэта Э. Робинсона в переводах Андрея Сергеева (М., 1971) с дарственной надписью переводчика.

Уже после возвращения из ссылки, осенью 1967-го, Иосиф почти неожиданно приехал на такси к нам на 1-й Мурунский

проспект с английской славистской Фейт Вигзелл, в которую тогда был страстно влюблен, а также со своим литовским другом Ромасом Катилюсом и его женой Элей. С ними я и моя жена Нина познакомились у Иосифа незадолго до этого. Войдя, Иосиф сказал, что за ним «хвост». Уже поздно вечером мы пошли провожать Иосифа с его друзьями и этот «хвост» увидели воочию: со скамейки в сквере сразу же поднялись двое и пошли вслед за нами, почти демонстративно. Разговор как-то угас сам собой: согладаятаи чувствовались даже спиной.

Через несколько месяцев поздним вечером раздается звонок Иосифа:

— Приезжайте к Ромасам. Там будет нечто!

Мы с Ниной, ничего не спросив, быстро собрались и вскоре были в доме на углу улицы Чайковского и проспекта Чернышевского, где в одной из комнат большой коммунальной квартиры жили Ромас и Элей. Там же стояла кровать их маленького сына Андриуса. Оказывается, приехала наша общая английская знакомая Лиз Робсон и привезла большую бутылку английского джина с тоником к нему — до того времени совершенно экзотический напиток, который мы видели только в зарубежных фильмах. Распивали его до самого утра, стараясь не слишком шуметь, чтобы не разбудить малыша, но не всегда нам это удавалось. Тогда Иосиф подходил к нему и начинал напевать колыбельную или же шептать что-то совсем тихо. Ночь пролетела незаметно, и после еще долго сохранялось ощущение беззаботности и радости. В бесконечных разговорах той ночи мы все друг друга понимали с полуслова. А вот о чем говорили, уже не вспомнить...

Не помню, что подарил мне Иосиф 4 июля 1968 года и подарил ли что-либо (стихов не было точно). Тогда он был в при-

поднятом настроении отчасти потому, что на фоне всеобщей озабоченности событиями вокруг Чехословакии, опасений и одновременно надежды на то, что Пражская весна не будет задушена, вдруг у нас оказался в гостях живой чех. На одном из последних трамваев около 12 часов ночи мы доехали до Петропавловской крепости, зашли в нее и стали ходить по всяким закоулкам. Иосиф шел впереди, показывая дорогу. Когда мы оказались на крыше одной из куртин, нас заметил милиционер, засвистел и погнался за нами, но так как Иосиф знал в крепости все ходы и выходы, мы оторвались от погони и в конце концов оказались на противоположной стороне, у Кронверкского моста. Иосиф был по-детски горд тем, что удалось оторваться от преследования. Потом долго сидели на спуске к воде у сфинксов и, перейдя мост Лейтенанта Шмидта (ныне Благовещенский), пошли по Английской набережной назад. Уже начало светать, когда он вдруг повернул в одну из парадных на улице Халтурина (ныне Миллионная) и через цепочку темных дворов вывел нас на Мойку.

Город Бродский знал отлично, любил далекие пешие прогулки, всякого рода закоулки, потаенные места, а вот насколько глубоко знал его историю, сказать не могу. Не припомню разговоров, касающихся этой темы. В своих эссе на ленинградские темы бывал не точен, в том числе и когда писал о доме, в котором жил. Правда, надо иметь в виду, что тогда краеведческая литература была далеко не так распространена, как теперь.

На день рождения моей жены Нины Никольской 24 ноября 1970 года Иосиф принес долгоиграющую пластинку с записью квартетов Моцарта. На конверте он нарисовал ангелов, играющих на виолончелях, и написал следующее шуточное стихотворное поздравление:

Нине от Иосифа 21 ноября 1970 г. (дата ошибочна,
правильно 24 ноября)

Рассказать Вам небылицу?
Не хочу я за границу
в европейскую столицу,
не хочу я слышать «сэр».
Только с Вами рядом, Нина,
превращаюсь в гражданина.
Для меня весь мир чужбина,
Я умру в эСэСэСэр.

С этой мыслью на примете
я дарю квартеты эти.
Что-то есть в любом квартете,
с чем не справился дуэт.
О величии момента
пусть поют интеллигентно
Вам четыре инструмента,
раз не мог один поэт.

Да, разговоры об эмиграции вообще были, но Иосиф не хотел уезжать по фальшивому приглашению в Израиль. Наиболее желанным способом тогда казалась женитьба на иностранке, так как в таком случае была бы возможность приездов домой. Кроме того, еще оставались какие-то надежды на жизнь здесь, хотя бы в роли переводчика. Маячил договор на том переводов английских поэтов XVII–XVIII веков в серии «Литературные памятники».

Вечером 14 февраля 1972 года Иосиф пришел без внешнего повода, что случалось нередко. Дома были только я и Нина. Мы

сидели на кухне, и он по ходу разговора чертил схему перекрещивавшихся любовных привязанностей и браков своих друзей. В основном же разговор касался прочитанных им стихов. Вот его комментарии к ним (цитирую по записи, сделанной сразу после ухода Иосифа):

«Как тебе кажется (о стихе «Разговор с небожителем». — М. М.) — не затянуто ли? Не скучно ли?»

О «Натюрморте»: «Это когда уходят от того, что есть внутри, говорят как бы совсем о другом и только в конце — о том. Конец, по-моему, особенно получился».

О «Памяти Т. Б.»: стих мне понравился чрезвычайно, но на просьбу прочесть второй раз он дал листок: «Читай сам». Прочитав, я с трудом решился спросить его о том, о чем никогда не спрашивал раньше (и потом) в подобных случаях — о фактической подоплеке: «Кто такая Т. Б. и что произошло на самом деле?» Иосиф, к моему удивлению, просто и прямо ответил: «Это Таня Боровкова, студентка факультета востоковедения, приятельница Рады (тогда Блюмштейн, ныне Аллой. — М. М.), утонула в шестьдесят восьмом. Как, почему, что случилось на самом деле, не знаю. Утонула.* В стихе эмоции сняты, скорее даны там как знак, как необходимость их присутствия в этой ситуации. Внешне стихи сделаны в традиционно-романтической манере, но по сути они авангардистские или даже не совсем стихи. — Я не согласился, но он продолжал: — Эти стихи никому не показываю, потому что они кажутся мне повтором: написаны тем же анапестом, что и „Прощайте, мадемуазель Вероника“, но все же это хорошие стихи».

* О Татьяне Боровковой см. подробнее: *Рада Аллой. Воспоминания об Иосифе Бродском*. СПб., 2008. С. 36–41.

О «Пенье без музыки»: «Это перевод эмоционального тупика, житейского, безвыходности (я в конце концов догадался, что он имел в виду, ибо знал в деталях и отчасти даже был участником драматических отношений с F. W., которой стих был посвящен, но тем не менее о фактической подоплеке не спрашивал. — М. М.), в этакое говорение, в эквивалент рационального плана. Это попытка снять внутренний накал, своего рода эксгибиционизм».

О «Похоронах Бобо» я признался, что стих меня не тронул, наверное, потому, что там не было непосредственности чувства, да и Бобо представляется какой-то абстракцией. Он почти согласился: «„Бобо“ — это скорее скорбная формула, да, там все придумано, условно, но ты просто к таким стихам не привык».

О «Строфах», которые мне очень понравились и Иосиф даже согласился оставить мне лист для копирования: «Это антитеза „Пенью без музыки“, а „Пенье“ как бы заканчивает мою первую книгу стихов. — И вдруг, без перехода, спросил неожиданно: — Для чего пишутся стихи? — и, не дождавшись моего ответа (ведь труднее всего ответить на, казалось бы, простые, почти очевидные вопросы), ответил сам: — Для того, чтобы раскрыть то, что творится внутри, но не ищи в них объяснений: они лишь показывают». И еще спросил: «Как думаешь, какое стихотворение у меня самое лучшее?» Я начал было говорить, что для меня их несколько и стал называть, но он прервал: «Лучшее — „Прощайте, мадемуазель Вероника“». Я, соглашаясь, сказал, что по подходу, по углу зрения и по ощущению на том же уровне и «Памяти Т. Б.». Иосиф в ответ заметил: «Может быть, но только не по ощущению. Ты перечитай то и другое по несколько раз и друг за другом. Тогда поймешь, что я прав. Беда в том, что никто не видит развития, движения. Вот если бы издать все с самого начала,

чтобы был виден путь — от чего к чему. Может, тогда увидели бы логику. А сегодня в лучшем случае реагируют на один-два стиха. Или я делаю что-то не так, не то. Вот ты среагировал на „Памяти Т. Б.“ только потому, что оно написано на эмоциональном пике. А ведь стоящее нередко пишется и на эмоциональном спаде, когда отчаянье спокойно, как в жизни бывает: говорят ни о чем, о погоде, болтают, а это все только маска. Так и в стихах: есть бумага, поверхность, а главное — внутри, под бумагой, вот как, например, в „Натюрморте“:

Мертвый или живой,
Разницы, жено, нет.
Сын или Бог, я твой.

Если не проявляется то, что под бумагой, тогда кому и зачем писать? Глухо. Оказывается, читатель все-таки нужен, а он у нас чаще только слушатель. Он же слышит только эмоциональный заряд, запал. А если его, этого запала, нет, как часто бывает?»

26 марта (или по моим записям 24-го) 1972-го у нас на 1-м Муринском собралась небольшая компания. Иосиф чуть ли не впервые читал не наизусть, а с листа. Читал более спокойно, чем раньше. Стало меньше одушевления, спонтанности. Читал он по собственной инициативе и был явно заинтересован в реакции слушателей. Затем начался общий разговор по поводу прочитанного (далее цитирую по своей записи, сделанной на следующий день). Началось с разговора о только что прочитанном стихе «Памяти Т. Б.»: «Там уже не само чувство, а его знак, иероглиф, как, например, череп под крестом на иконе постепенно превращается в знак, а деревенские мастера, может быть, даже и не знали, что он обозначает. Так и здесь.

Читать вслух бессмысленно, так как не избежать интонации. А как можно интонировать то, что нейтрально, внеинтонационно? Получается насилие над стихом. Вот, к примеру, можно ли читать вслух Хлебникова? По-моему, он для чтения глазами. Первые классицистические стихи были построены по такой примерно логической схеме: допуски, варианты решений, отказ от них и в финале утверждение.

Т. С. Элиот начал как лирический поэт, а затем „наступил на горло собственной песне“ и стал переходить в какую-то сухость, после чего и вовсе бросил стихи и стал писать статьи, которые оказались куда как слабее. Лучше было бы, если бы он тоже самое делал в стихах... Это ведь попытки сначала завоевать свою аудиторию, а потом ее удержать. В каком-то смысле это реализация жажды власти, как у литовского поэта Людаса Гиры, который в жажде власти сменил стихи на дубинку. Или же другой путь: выход в полную абстракцию, как у Баратынского „На посев леса“ в финале:

[...] Отвергнул струны я,
Да хрящ другой мне будет плодоносен!
И вот ему несет рука моя
Зародыши елей, дубов и сосен.

И пусть! Простяся с лирою моей,
Я верую: ее заменят эти
Поэзии таинственных скорбей
Могучие и сумрачные дети».

Из прочитанных тогда стихов я впервые услышал «Сретенье». Оно произвело на меня наибольшее впечатление своим совер-

шенством (точностью попадания каждого слова) и прозрачной, почти картинной ясностью. Отвечая на какую-то реплику по поводу этого стиха, Иосиф пояснил: «Это ведь о встрече двух миров, Старого и Нового Заветов. Из всего написанного за последние месяцы — это лучшее». И это сушая правда.

Слушали «Марш славянки» — пластинку, которую я купил вскоре после того, как услышал ее незадолго перед тем дома у Иосифа. Он слушал внимательно и потом: «Это целая эпоха. За вагоном уходит вагон. Навсегда. Про такую музыку говорят „умирать, так с музыкой“ — вот с этой музыкой. Ее я люблю почти так же, как Моцарта, правда, Моцарта больше, но от Моцарта все же не плачу. А этот марш плюс „Очи черные“ — портрет нации».

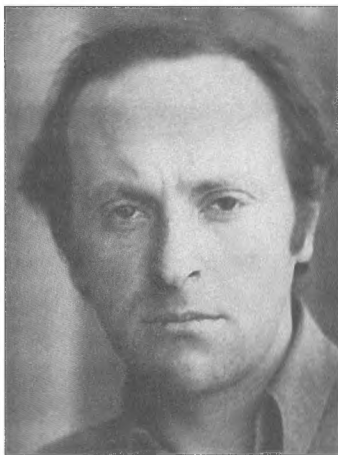
Я купил два экземпляра только что вышедшей книги Ю. М. Лотмана «Анализ поэтического текста. Структура стиха» (Л., 1972), успел прочесть больше половины и через несколько дней второй экземпляр принес Иосифу. Он сказал: «Подари кому-нибудь другому. Я этого все равно читать не буду». Правда, минут на 10–15 все же углубился в чтение и, наткнувшись на один пассаж, оживился: «Вот, например, Лотман пишет, что „рифм сигнальные звоночки“ у Ахматовой возникли оттого, что ассоциировались со звоночками печатной машинки, где они отмечают конец строки, а отсюда будто бы появляется пауза в конце стихотворной строки. А все это на самом деле чужь: у Анны Андреевны пишущей машинки не было и пишмашинные ассоциации ей чужды. Литературоведы хотят понять законы творчества, но ломаются в эту сферу с черного хода. „Сигнальные звоночки“ — сигналы рифм, ограничения вовсе не с пишущей машинкой связаны. Да и откуда Лотман знает, как возник этот образ?! А пишет безо всякого сомнения!

Искусствоведение или литературоведение возможно лишь тогда, когда исследователь способен встать вровень с исследуемым. Вот я читаю Фридендера о Достоевском и вижу там только самого автора, его представление о Достоевском. Не говоря уже о том, что он уличает Федора Михайловича в ошибках с марксистских позиций, но Достоевскому-то марксизм был чужд, и, естественно, он в его рамки не укладывается. Вот так называемый объективный подход превращается в субъективный. Исследователь должен быть мыслителем той же глубины и широты, что и исследуемый. Иными словами, нужен адекватный подход. Нельзя мерить глубину реки школьной линейкой. Я знаю лишь одного человека, у которого литературоведение получалось, это — Тынянов.

Структуралисты хотят во что бы то ни стало найти объективные законы творчества, искусства, найти объективный критерий, а на деле находят мелочи, не видя основного. Нельзя изучать структуру (слово-то какое!), выпуская из вида идею».

Я заметил, что Лотман в начале книги как раз говорит об этом единстве, но затем как бы его забывает...

Бродский продолжал: «На самом деле существует два объективных критерия: глубина идеи и ее оригинальность, но, конечно, в любом произведении должно быть что-то очевидное, уже утвердившееся, привычное читателю, знакомое. И все же главное — новый поворот, новое видение, новые перспективы и соотносимость с главными культурными и нравственными ценностями. Время, правда, у нас релятивистское: никто не знает, что такое хорошо и что такое плохо, все понятия сдвинуты со своих мест. Потому-то и не могут у нас существовать явления, подобные Гомеру, Данте. А раз нет неизменных ценностей, тех, что называют вечными, или они размыты, то нет и мерил... Вот и ищут структуру, вместо того чтобы ответить на главный



Иосиф Бродский. Весна 1972 года

вопрос: насколько нова художническая идея, насколько она отражает то, что уже носится в воздухе. Это первое. И второе — адекватность формы. Она должна быть и авангардистской и традиционной одновременно. Она, как и идея, вырастает из прошлого. Внешне — почти классика, но если приглядеться, вдуматься, то это „как обычно“ окажется кажущимся...»

Я прерываю вопросом: «Как у тебя?»

«Ну, обо мне не будем. Скорее как у Цветаевой: ужасная, мучительная жизнь. И язык задыхающийся, с пропуском слов, с огромной нагрузкой на интонацию. Такого не подделаешь. Надо так жить, чтобы так писать. Или, например, Хлебникова идеи переполняли, но многое оставалось недодуманным — такой он и в стихах».

Не помню, как перешли к Тютчеву, к его знаменитому стиху «Последняя любовь» («О, как на склоне наших лет...»),

которое анализирует Лотман. Я показал это место Иосифу. Он сказал по этому поводу: «Как тут ни считай ударения, а стихотворение для Тютчева заурядное. Находка — лишь последние строчки, и размер тут не при чем. Да и вообще у этого поэта настоящих находок не так уж и много, разве что „Она сидела на полу..“ и особенно строки „...Как души смотрят с высоты / На ими брошенное тело...“. А Лотман не понимает главного. Так что возьми этот „Анализ“ обратно: он мне ни к чему».

В 1972-м, в мае и в первые дни июня, мы встречались особенно часто, Помню, как случайно столкнулись с ним в середине мая в ОВИРе, на втором этаже дома на улице Желябова (ныне Большая Конюшенная): тогда я получил отказ на заявление о выезде в Англию по приглашению моего дяди. С какой конкретной целью туда приходил Иосиф, я не знаю (заявление на отъезд он подал раньше). Скорее всего, доносил какие-то документы. Молча поздоровались. Я подождал его внизу, и мы пошли пешком через Конюшенную площадь по улице Халтурина, зашли там в какой-то подвальчик выпить кофе и дальше почему-то кружным путем вдоль Летнего сада, затем по набережной Фонтанки и до дверей его дома на улице Пестеля. По дороге, естественно, обсуждалась одна тема — уезжать ему или нет, хотя как будто бы решение им уже было принято. И тем не менее. Pro и contra. Он рассказал, как, в каких словах ему несколько дней назад было сделано «предложение». Мне очень не хотелось, чтобы он уезжал, но отговаривать его не решался, понимая бесперспективность для него дальнейшей жизни в Советском Союзе. Это бы в лучшем случае означало дальнейшее «писание в стол», случайные заработки, но в худшем — реальную опасность отправиться в восточном направлении не по

своей воле. В последний год он особенно остро ощущал безвыходность, тупиковость своего положения.

Перед самым его отъездом я вернулся из поездки в Петрозаводск, где купил две книги — одну со стихами польских поэтов* и другую Галчинского, в которых были переводы Иосифа. Во второй он по памяти, чем удивил меня, сильно поправил перевод «Заговоренных дрожек»**; в первой поправил слегка и написал на ней: «Покупателю польских книг на карельской территории Михаилу Мильчику от переводчика тех же книг на территории европейской Иосифа Бродского 2. VI. 72 еще в Ленинграде».

4 мая я зашел к нему в начале вечера, возвращаясь из своих научно-реставрационных мастерских, тогда находившихся на улице Маяковского, чтобы узнать новости. Он собирался куда-то идти и мы вместе пошли по улице Пестеля. Около доски в честь защитников полуострова Ханко Иосиф неожиданно повернул под арку («Хочешь я покажу тебе выход на Фонтанку, который ты наверняка не знаешь?») и провел дворами мимо заднего корпуса городского суда, вспомнив, что отсюда, этими дворами увозили осужденных петрашевцев. Он получил явное удовольствие от моей реакции на неожиданно открывшийся вид Михайловского замка через решетку ворот под аркой («Вот истинно имперский вид!» — воскликнул Иосиф). Главный эффект тут заключался в том, что после полутемных и затесненных дворов мы оказывались у арки, напоминавшей триумфальную, с видом на царский дворец. Оттуда пошли к Исаакиевской площади, где и расстались.

* Современная польская поэзия. М., 1971. Здесь опубликованы переводы Бродского из Леополяда Стаффа (с. 23–25), Константы Галчинского (с. 80–81), Ежи Гарасьмовича (с. 171–173), Ярослава Рымкевича (с. 189–190).

** Галчинский К. И. Стихи. М., 1967. С. 106–113.

Идея собрать все стихи, написанные Бродским, возникла в середине мая, когда мы узнали, что вопрос об отъезде решен. Инициатором стал Володя Марамзин — молодой прозаик, приятель Иосифа, человек неумной энергии. Никаких «совещаний» по этому поводу не было. Нам поначалу казалось, что это дело не такое уж сложное: просто нужно сесть с Иосифом, просмотреть все рукописи, выбрать окончательные варианты, сложить их в хронологической последовательности и перепечатать. Однако оказалось, что у самого Иосифа не было чуть ли не половины из написанного, а то, что было, — черновики, наброски и разные редакции — хранилось в небрежении в сундучке у стола. Значит, надо собрать все, что было у друзей, знакомых, ближних и дальних, причем собрать до отъезда Иосифа, чтобы он мог просмотреть все, авторизовать, отобрать окончательные редакции. Об этом замысле мне сказал Володя, и мы тут же разделили знакомых: кто к кому идет. Я к тому же взял на себя фотографирование всех рисунков, встречавшихся в рукописях (ведь большинство из них попадали к нам на время). Его рисунки — автоиллюстрации, шаржи, автопортреты, вариации на античные темы, иногда случайные наброски, как правило, отличались изяществом, легкостью линий, меткостью характеристик. Этой стороне своего творчества он, по-моему, никогда не придавал особого значения. Я несколько раз приходил к Володе, чтобы снять те листы автографов, на которых были рисунки.

Чем больше собиралось текстов, тем все более осложнялась работа. Выяснялось, что по рукам гуляла разные редакции одного стихотворения, причем некоторые Иосиф и сам забыл, поскольку они в свое время были отданы друзьям — Евгению Рейну, Эдуарду Блюмштейну и его бывшей жене Раде, Михаилу Мейлаху, Михаилу Беломлинскому, Владимиру Уфлянд

и другим. Некоторые списки были дефектными: не хватало строчек, какие-то слова переставлены и т. п. На соби́рание всего этого богатства ушло около трех недель. Между тем надо было еще успеть все добытое показать Иосифу. Поначалу к начинанию Марамзина он отнесся скептически: ценное и так не пропадет. Но потом увлекся, потому что выяснилось, что далеко не все стихи у него остались в памяти. В результате чуть ли не ежедневно Иосиф сидел с Володей по несколько часов, выбирая окончательные редакции. При этом он нередко начинал править старые стихи, вспоминал обстоятельства написания некоторых, потому что мы просили ставить даты там, где их не было. Весь этот материал собирался у Володи, который в эти недели не занимался ничем другим. Постепенно Володя начал составлять комментарии ко многим стихам, отмечая разночтения, во-первых, с теми, что были опубликованы в книге «Стихотворения и поэмы», вышедшей в 1965 году в Нью-Йорке без участия Иосифа, а во-вторых, с другими списками, оказавшимися в наших руках. Окончательный вариант комментариев непременно согласовывался с автором. Вот примеры: «В книге (1965 года. — М. М.) и в другом экземпляре эта строка читается так...»; или «Вариант, который был отвергнут автором в 1972 году при просмотре данного стихотворения»; или «Варианты приводятся по одному из первых экземпляров и являются первой редакцией поэмы (речь идет о „Петербургском романе“. — М. М.)». И т. д. и т. п.

26 мая и сам Иосиф подключился к поискам: я уговорил его пойти к Раде, у которой было большое собрание Осиного самиздата. Несмотря на наши добрые отношения, я не был уверен, что она согласится даже на время расстаться с собранным. Мы с Иосифом зашли сначала на Московский вокзал за билетом

в Москву, куда он отправился на следующий день, затем пришли к ней на Гончарную. Для Рады появление Иосифа был неожиданным: она знала лишь о моем приходе и потому была удивлена и обрадована одновременно. На просьбу же, поддержанную автором, вынуждена была ответить согласием.*

Ранним утром 4 июня в аэропорт Иосиф, Ромас и я ехали от дома на Пестеля в одной машине такси (с родителями он простился дома). Когда садились, кто-то пошутил: «Наверное, из гаража Большого дома». По дороге остановились на минуту, чтобы опустить в почтовый ящик «прощальное» письмо Брежневу (оно теперь опубликовано), на которое Иосиф, естественно, никогда не получил никакого ответа. Некоторые из провожавших приехали в аэропорт прямо. Приехали несколько раньше времени, и вдруг Володя Марамзин вспомнил, что так и не мог найти стихотворения «К Цинции». Иосиф присел на скамейку рядом с Яшей Виньковецким и записал его по памяти (этот момент запечатлен на моей фотографии**). По этому последнему автографу, сделанному в Ленинграде, оно и вошло в собрание.

Из аэропорта часть провожавших вернулась на Пестеля. Долго сидели в осиротевшей комнате Иосифа. Расходиться не хотелось, но когда все ушли, я начал подробно снимать комнату, чтобы оставить ее на память себе, а также чтобы помочь будущим реставраторам в создании музея. Сегодня многие из этих снимков уже опубликованы.

Конечно, до отъезда не удалось собрать всего: тогда руки не дошли до переводов, детских стихов, стихов на случай. Поэтому после 4 июня работа продолжалась, хотя опасения, что все это

* Об этом эпизоде см.: *Рада Аллой*. Воспоминания об Иосифе Бродском. СПб., 2008. С. 72.

** См. с. 103 настоящего издания.

будет накрыто КГБ, конечно, были. К моменту обыска у Марамзина 1 апреля 1973 года, когда все находившиеся у него рукописи (главным образом машинописные копии) конфисковали, полностью были готовы и розданы «подписчикам» три тома (всего делали четыре закладки пишущей машинки, то есть тираж, таким образом, был 20 экземпляров). Близилась к завершению работа над 4-м томом и в самой начальной стадии находился 5-й (проза и то, что не успело войти в предыдущие тома). К счастью, Володя предусмотрительно продублировал основные материалы, и потому то, что попало в лапы КГБ, у меня в основном сохранилось. Правда, в ту первоапрельскую ночь с немалыми предосторожностями мы с женой их, а также хранившиеся у меня рукописи Иосифа и кой-какой самиздат переправили к друзьям. Однако с обыском, который мы ждали на следующее утро, к нам так и не пришли.

Памятником той эпохи осталось четырехтомное, не вполне завершённое собрание сочинений в 900 с лишним машинописных страниц (в моем экземпляре даже с иллюстрациями, как то и было задумано), созданное в кратчайший срок при участии автора и к тому же по всем основным академическим канонам. Аналогов тому в нашей культуре, кажется, нет.

ТОМАС ВЕНЦЛОВА

О последних трех месяцах Бродского в Советском Союзе

Более сорока лет я веду дневник, заполняя его практически ежедневно. Это я делал и в Советском Союзе, что было рискованным предприятием; дневник я усиленно прятал, он, к счастью, никому не попался на глаза, и в 1977 году мне удалось его вывезти из СССР. Многие записи в дневнике связаны с Иосифом Бродским, которого я знал с лета 1966 года до его смерти. Здесь публикуются отрывки, относящиеся к марту—июню 1972 года: от времени, когда Бродский еще не знал о предстоящем ему отъезде на Запад (хотя об этом и задумывался), до дня, когда он покинул Ленинград.

Дневник писан по-литовски, хотя многие разговоры записаны на том языке, на котором они происходили. Перевод сделан мною, причем я стремился к полной точности. Публикуется только то, что непосредственно связано с Бродским или его ближайшим кругом. Пропущены также некоторые моменты, о которых, на мой взгляд, рано говорить. Пропуски отмечены многоточиями в квадратных скобках.

Текст дневника хранится в: Tomas Venclova Papers, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University.

1972. III. 16. В три часа после полудня оказался в Ленинграде. Пошли вместе с Эрой [Коробовой] на просмотр «Матери Иоанны» (этот фильм был когда-то запрещен местными властями, так что здесь никто его не видел, и теперь на просмотре, в Доме культуры имени Кирова, собралась вся городская интеллигенция). Встретил Иосифа, Кэрл [Аншютц], Шмакова, Цехновицеров. [...]

У Дома имени Кирова устроены аттракционы — просто уголок Америки. Я: «Чего доброго, Союз понемногу возьмет и превратится в Соединенные Штаты». Иосиф: «Так долго ждать я не согласен».

III. 18. Две выставки — лубок времен Петра I и новгородские иконы. [...]

Вечером то ли омовение [моего] сборника, то ли просто выпивка — Иосиф, Чертков, Ромас [Катилюс], Кэрл. Все веселились, знакомя Кэрл с русской алкогольной терминологией: она заполнила полтетради синонимами — «дербалызнуть, набудыряться, надраться, сообразить...».

Иосиф: «Марамзин мне принес мои собственные стихи, писанные перед арестом — „Песни счастливой зимы“. Раньше я на них и смотреть не мог, а теперь вижу, что здорово».

И сегодня он пришел с большой кипой стихов. Два стихотворения [«Набросок» и «Одиссей Телемаку»] переписываю. Первое — как бы из только что виденной выставки. Второе несомненно принадлежит к десятку лучших работ Иосифа: напоминает Кавафиса, но его превосходит. Даже ирония по адресу греков — как бы ирония грека, Кавафиса.

[...]

Надо полагать, в «Телемаке» есть нечто автобиографическое. Но в общем стихи Иосифа интерпретировать трудно.



Рис. Иосифа Бродского

Есть еще стихи «Одному тирану» — я заподозрил, что это В[ладимир] И[льич], Эра — что Гитлер, но И[осиф] сказал, что тиран абстрактен. «Похороны Бобо» — об Ахматовой (?).* [...]

III. 19. Мы обедали с Иосифом в ресторане «Ленинград». В окно там видна огромная Нева и крейсер [«Аврора»]. И. был сравнительно весел, декламировал лимерики и рисовал, спрашивал о Чеславе Милоше («До сих пор я думал, что лучший польский поэт — Херберт»).

«А „Ноябрьскую симфонию“ [Оскара Милоша] я до сих пор не перевел, хотя очень хочется; но мне это трудно, потому что там совсем нет мысли — одна пластика».

Говорил, что ему надо бы сочинить трактат «Philosophy of endurance» (о том, как вести себя в тоталитарном мире).

* Иосиф эту гипотезу отверг.

По поводу «Бобо» я ошибся («Бобо — это абсолютное ничто»).

Немало говорили о мифе Телегона [Телегон — сын Одиссея от Цирцеи] — и, наверно, зря, потому что для Иосифа это очень личный миф.

А все кончилось тем, что И. поведал «top secret» [«нечто совершенно секретное»]:

[...] [Речь шла о мысли вступить в брак с западной женщиной.]
Последствия достаточно однозначны — отъезд «more or less forever» [«более или менее навсегда»].

Не знаю, удастся ли это ему и захочет ли он этого в конце концов. [...]

нв. Еще кое-что из разговора. «„Один тиран“ может случиться „где угодно на восток от Гринвича“». «„Письма римскому другу“ — во многих местах просто переводы Марциала».

«В моих стихах нет иронии. Есть только *rage* [«гнев, бешенство»]. Иронию я ненавижу — это способ заглушать чувство вины».

III. 26. [...]

Вчера по приглашению были у Миши Мильчика: в его квартиру на Выборгской стороне собралось двенадцать человек, включая Иосифа. Слушали стихи — «Памяти Т. Б.» и несколько новых, которые я уже знаю. Наиболее серьезным мне на этот раз показался «Натюрморт». Сказал это Иосифу. «Да, пожалуй, это лучшие стихи, какие я написал».

Говорили много: записываю то, что интересно.

Н.: «Что бы ты включил в свое избранное?» И.: «В основном длинные стихи. До 1963 года почти все — лажа. Включил бы „Ты поскачешь...“ как пример ранних, „Большую элегию“, „Авр[аама]

и И[саака], „Стансы к Августе“, „Прощайте, мадемуазель Вероника“, „Пенье без музыки“, „Натюрморт“». Н.: «А „Памяти Элиота“?» И.: «Ну да». Я.: «А „Одиссей Телемаку“?» И.: «Да, и еще „Энея и Дидону“. И „Рождественский романс“».

И.: «Стих, в общем, то же, что и проза; есть, правда, различия, но стих пишется, а не произносится. И все же ямб или другой размер задает круг интонаций. А мои стихи надо бы читать с абсолютно белой интонацией, без окраски. Я этого не умею, к сожалению».

О своих стихах «Памяти Т. Б.»: «В них абсолютно отсутствует чувство. То есть дана ситуация, где адекватная реакция невозможна. Адекватную реакцию заменяет *знак*. Ну, как в живописи: в ногах фигуры ставится череп. Потом уже не череп, а вензель: художник еще понимает, что это череп, а зритель перестает понимать».

(Стихи эти посвящены Тане Боровковой — она утонула рядом со своей лодкой, но не погрузилась на дно, и осталось неясно, то ли это самоубийство, то ли сердечный удар, то ли что иное. Впрочем, факты можно понять и по стихотворению.)

Кто-то: «Собственно говоря, ты первый выпрыгнул из русской поэтической традиции, между которой и западной — пропасть». И.: «Это не совсем так. Русская поэтика действительно тормозит развитие мысли, и в России есть установка на маленький шедевр. Но началась русская поэзия с Кантемира. А у него была, грубо говоря, диалектика, изложение разных точек зрения, затем — своей. Подобные каркасы умели строить еще Баратынский и Цветаева. У нас, у русских поэтов, популяция огромная, и кое-чего мы достигли. А на Западе есть свои эмоционалисты, их больше, чем нужно».

Опять И.: «Вообще-то поэт не должен быть объектом наблюдения — он должен давить аудиторию, как танк. Но от

людей примерно одного со мной возраста, у которых то же experience [«опыт»], которые жили подобно мне и думали на те же темы, я жду не просто восторженного молчания. Скажем, я говорю: „У лошади морда как флаг“. На это мне могут сказать: „Дурак ты, ведь погода безветренная“. Или: „Ничего себе, в этом что-то есть“. Но не молчать».

Когда зашла речь об Элиоте, И. неожиданно сравнил его с [литовским поэтом] Людасом Гирой: «Оба они хотели власти вне поэзии — Гира пошел служить в полицию, Элиот стал писать статьи и создал крайне сомнительную теорию элиты».

Потом мы ехали домой на трамвае. И. стал хвалить мои стихи — «Холод сумерек встретил меня...», которые ему без моего ведома дословно перевел Ромас. Я: «Геометрические образы вроде циркуля, меняющего радиус, украдены у тебя». И.: «А мной — у Донна».

Трамвай до Литейного тащился долго. Мы успели поговорить даже о Бетаки [...]. Запомнились еще две фразы: «Общество кое-что должно поэту, но никто не должен персонально»; другая фраза касается недавних стихов: «В строках о Посейдоне — пока мы там теряли время, растянул пространство, — имеется в виду мифическое время». — «По Элиаде?» — «Да».

III. 27. [...]

Читал «Мастерство Гоголя» и снова удивлялся, как близок Бродскому «тип гениальности» Белого: слова несут — и все время идут попытки уточнить, расширять каждый намек. И прозрения иной раз не хуже, чем у Иосифа.

Переписал «Натюрморт» и испугался, ибо это стихи самоубийцы.

[...]

У Черткова. Был еще Бобышев. [...]

Бобышев: «Мы были у Самойлова вчетвером — Иосиф, Рейн, Толя [Найман] и я. Как раз в этой точке времени мы сошлись ближе всего — потом стали расходиться из нее в разных направлениях, как всегда бывает (показал руками, как это бывает). Самойлов прочел стихи об Алике Рывине (Ривине. — *Ред.*) — «никто не помнит о поэте, как будто не было его». Мы единодушно стали его лажать: если что *было*, значит, оно и *есть*. Самойлов нас не понял — наверно, потому, что получалось: его-то, Самойлова, нет».

Чертков: «Я чувствую, что живу контрабандой: по всем правилам давно должен был сгнить, а вот живу».

III. 28. [...]

И.: «Я впервые попал в валютный бар: после этого спал не более часа, и разбудили меня какие-то два типа, прибывшие с добрыми пожеланиями от Одена. И даже от Бретона. Несомненные гомосексуалисты».

III. 29. У Иосифа; была и Кэрл. И. показывал только что написанные стихи — «Сретенье». Четыре дня тому назад он еще собирался их делать. Стихи несколько пахнут поздним Пастернаком, хотя, видимо, лучше его. По словам И., «это о встрече Ветхого Завета с Новым».

Долгий и довольно серьезный разговор. Я говорил о том, как понимаю «Натюрморт»: мы живем уже *после* мировой катастрофы, может быть, даже после Страшного суда, по ту сторону, оказавшись в пустоте, которую должны заполнять хотя бы словами, если ничего лучшего нам не дано. Есть выбор только между разными видами смерти: «смерть в качестве *red* [„красного“]», «смерть в качестве *dead* [„мертвого“]» и так далее. Может, это

своеобразное чистилище. И. сказал, что на сто процентов согласен: «и особенно это касается „Бобо“».

Я: «Тебе не кажется, что ты в стихах можешь одновременно говорить противоречащие друг другу вещи?» И.: «Нет. В одном и том же стихотворении, в один и тот же период — нет».

Просматривали недавние переводы И. из Уилбера: ирония в оригинале, чего доброго, торжественнее, у И. — будничнее (он согласился и с этим). Поспорили об Архилохе (Афродита или Необула?) и о гомеровских эпитетах. Получил от него в подарок Сильвию Плат.

Кое-что, услышанное в этот вечер от И.:

«Черткова я полюбил тогда, когда он сказал мне в пьяном виде: „Старик, я решительно не понимаю, о чем ты пишешь“».

«Если бы я составлял антологию русской прозы, туда бы вошла „Капитанская дочка“, „Записки сумасшедшего“, „Записки из подполья“, „Севастопольские рассказы“, что-либо из Платонова и „Приглашение на казнь“. Зоценко и Булгаков не нужны. „Петербург“ Белого — замечательная вещь, но я не люблю писателей одной книги. Книги в литературе, может, и не столь существенны, но существенна работа».

«Мелвилл дал набор персонажей для американской литературы на сто лет вперед. Например, Старбек — это Гэвин Стивенс [герой Фолкнера] и многие другие».

III. 30. *Escriture* [«способ писания»] Иосифа — наверно, прозаичность; превращение перифразы, инверсии и переноса в норму. Это выбрано исходя из темы, времени, традиции, и это лучший выбор. Все другое — стиль, который сам выбирает человека, и с которым спорить нельзя.

Боюсь за И. и за его довольно катастрофический образ жизни. Сегодня возвращаюсь в Вильнюс. [...]

III. 31. В Вильнюсе. [...]

С Натальей [Трауберг] читали «Натюрморт»: оба в один голос сказали, что это та же «Бесплодная земля» [Элиота], только короче и лучше. Конец понимаем по-разному: она — «оптимистичнее» («типичные иезуитские медитации»), я — как выражение «героического агностицизма» (И. скорее на моей стороне).

IV. 4. [...]

Иосиф общается с астрономом Козыревым и очень им очарован.

Усиливающееся одиночество, комплексы И. Желание поощрений («Вот это место — ведь замечательно?»), словно бы он не верил, что умеет писать. НВ. Его идея изготовить серию стихов-икон, таких как «Сретенье», охватывающую весь цикл Христа.

IV. 29. [...]. [28-го автор приехал в Москву.]

И еще — Эра встретила Рейна. Тот вчера видел Евтушенко, только что вернувшегося из Америки (таможенники раздели его догола и шмонали как Ворошильского). Евт. заявил: «Дела Бродского в порядке — он сможет уехать».

Надо порадоваться за Иосифа — здесь он близок к смерти. Но какая пустота возникнет с его отъездом!

В общем — в этой стране скоро не останется никакой «соли земли». И тогда каторга станет всего безнадежнее.

V. 1. Звонил Бродскому [из Москвы] в Ленинград. Услышав мои намеки, он расхохотался: «У меня нет никаких дел, и поэтому они не могут быть в порядке. Сiju и честно зарабатываю свою пайку, переводя рабби Тагора — дерьмо отменное». Рейн,

конечно, мог и приврать. Евтушенко — тоже. А может, тут и что иное.

v. 7. [...]

Зашел Рейн с женой — он опять заявлял, что Иосиф уезжает. [...]

v. 15. [...]

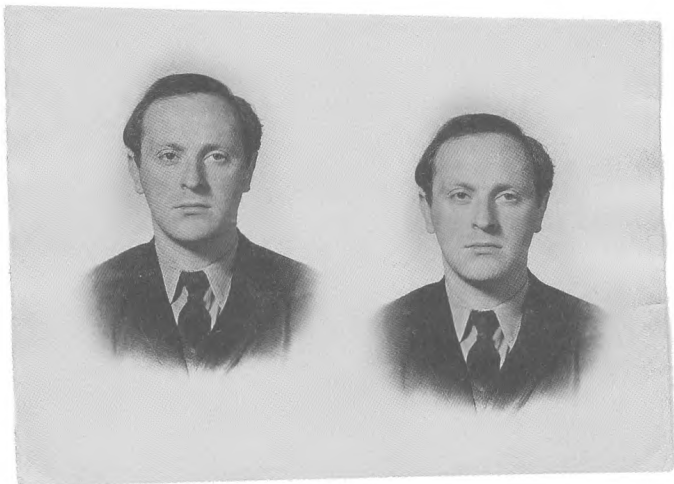
Созвонился с Иосифом — он, как из «конспиративного» разговора кажется, действительно едет.

v. 17. [...]

У Людэ Сергеевой. Недавно — три недели назад — ее посетил Бродский [...]. [Обсуждались возможности отъезда и препятствующие этому причины.] Плюс — ностальгия, может, и невозможность приспособиться: вряд ли он повторит «казус» Набокова (Набоков выучил английский, так или иначе, в раннем детстве.) Другие обычаи: у нас все решает дружба, такая, что возникает в концлагере — делятся последней папироской. На Западе этого, несомненно, нет. И все-таки, если бы он (или кто-то другой) попросил бы у меня совета, мне бы осталось только процитировать известный рассказ Джерома. То есть выбирай любимую красотку, а не гнусную старуху и никаких советов не слушай.

v. 19. Встретили Профферов — Карла и Эллендею. Наконец-то все выяснилось.

Первого мая, когда я звонил Иосифу, он еще ничего не знал. А девятого [на самом деле, видимо, двенадцатого] мая его вызвали в ОВИР и спросили: «Вас же приглашают в Израиль — почему



Фотографии для документов на эмиграцию. Май 1972 года

не подаете заявление?» Опасаясь провокации, И. около часа ничего ясного не говорил, потом отрезал: «Я думал, это не имеет смысла». — «Почему не имеет? Заполните форму, и мы дадим время на сборы до конца месяца».

Разумеется, И. поедет не в Израиль: вначале из Вены в Англию, оттуда в Энн-Арбор, где Профферы издают журнал, посвященный русской литературе (по этому случаю я видел два [его] номера). Станет «университетским поэтом».

Эллендея: «Ностальгия — это ведь такая прекрасная тема».

[...] В целом все выглядит оптимально: Иосиф получит американское гражданство, сможет пригласить родителей, может быть, даже приехать. Э[ллендея]: «Так или иначе, вы когда-нибудь встретитесь в Польше».

В Ленинграде, по слову Профферов, — цирк и похороны. Многие, прежде всего родители, Иосифа отговаривают, хотя

власти ясно дали ему понять, что его ожидают беды, если он останется. [...]

Из государства выходит воздух, как из шины с отвернутым вентилем.

Позвонил Иосифу. [Иосиф:] «Настроение у меня совершенно никакое — пусто, да и только». С собой он возьмет лишь пишущую машинку.

Еду в Ленинград.

v. 20. День с Иосифом.

Несколько часов ходили по набережной Невы, между Литейным и Смольным, вдоль заборов и по пустырям, глядя то на Большой дом, то на «Кресты», которые Иосиф называет «тюрьма в мавританском стиле». Сидели под мостом, курили. Говорили о предметах, о которых я умолчу даже в этом дневнике — слишком многих людей они касаются [...]. [Речь шла о том, что ряд друзей Иосифа мог бы переселиться в США и создать там «колонию».]

Все это уже похоже на прощание. Осталось несколько дней — видимо, И. будет выслан перед визитом Никсона в Ленинград.

От Ал[ександра] Ив[ановича] [отца Иосифа] слышал, что [...] И. написал заявление в Верховный Совет [по поводу нарушений его прав] и вскоре после этого получил приглашение зайти в ОВИР.

Теперь он пишет письмо К[осыгину] — просит, чтобы ему разрешили исполнить договоры, кончить переводы Норвида и английских метафизиков. «Хотя я уже не советский гражданин, я остаюсь русским литератором». Бессмысленно ожидать, что из этого письма что-либо получится, но принципиальное значение оно имеет.

«В ОВИРе — политес [вежливость], в Союзе писателей характеристику мне выдали в пять минут — бежали, прыгая через ступеньки. А я все-таки думал, что представляю для них хоть потенциальную ценность». — «Ну, знаешь ли, представлять для них ценность — невелика честь». — «Ты прав».

«Кстати, я сочинил песенку на мотив Пиаф:

Подам, подам, подам,
Подам документы в ОВИР,
К мадам, к мадам, к мадам
Отправляюсь я к Голде Меир.

Я не Конрад и не Набоков, меня ждет судьба лектора, возможно, издателя. Не исключено, что напишу „Божественную комедию“ — но на еврейский манер, справа налево, то есть кончая адом».

«Во всяком случае, пребывание там для меня — просто новая духовная задача». — «Написал ли ты что-либо после „Сретенья“?» — «Нет, следующая вещь будет уже „Симфония из Нового света“, как у Дворжака». (Смех.)

Зашли в треугольный двор недалеко от Литейного, и Иосиф показал мне окно в самом узком месте, обращенное к глухой стене. «Здесь я писал „Авраама и Исаака“, хорошее это было время. У двора замечательный периметр, да и вообще периметр во дворах — главное».

Встретили Уфлянда (И. очень его любит, особенно строки «Мы светила заменим темнилами, сердцу нашему более мильми».) Как ни странно, он еще ничего не знал. Прошли мимо афиши «Пушкинские празднества», вывешенной на дверях Союза писателей. И.: «Ну, это уж извольте без меня».

Потом долго сидели в темной комнате Иосифа. Как всегда, пошел разговор о его любимых авторах — Сильвии Плат, Плущике («Noratio»), Дилане Томасе («Рассказ о Рождестве в Уэльсе — это стихи, и я пробовал переводить его стихами»). Сен-Жон Перса И. считает «zéro» [«нулем»] — правда, читал его только по-русски и по-польски. «Analecta» Паунда — «полное дилетанство».

И.: «Читал ли ты книжку Горбаневской?» — «Да, читал — на пятнадцать стихотворений одно очень хорошее». — «Помо-ему, больше».

«Сергеев — не поэт, но видно по его последним вещам, что он *живет*, а не обретается в nothingness [„ничто“]. [...] N — плохой человек, и при этом он неталантлив. Талантливый человек не может быть плохим». Я: «А Блок?» — «Знаешь, я всегда подозревал, что он был бездарен».

Около четвертого часа зашло несколько ребят — Иосиф раздает свою библиотеку (мне достался словарь сленга, двухтомник Клюева — это новое поэтическое открытие и радость И. — и еще кое-что). Взял книги с условием, что буду хранить их до возвращения И. Комнату его Ал. Ив. хочет превратить в «мемориальную». Но И., как всегда, по-королевски дарит драгоценности другим.

Потом с Чертковым и Эрой мы были в ресторанчике «Волхов», где И. пил за «family reunion» [«семейную встречу»].

«Через две недели после визита Н[иксона] выяснится, что будет с отъездами вообще».

Я: «Не хотелось бы сдохнуть, не повидав мир». И.: «Да, у всех у нас ощущение, что нас объ...ли».

Все же сегодня — очень улучшившееся, даже приподнятое настроение.

Вечером — у Ромаса, который рассказывал, как Иосиф пишет. «То, что он сразу стучит на машинке — это, вероятно, легенда. Если начинаешь критиковать какую-либо его строчку, он долго ее защищает, а несколько дней спустя приносит новый вариант стихотворения. Иногда строчка даже остается, но в ее окрестностях обязательно появляются по крайней мере три строфы».

[...]

v. 21. Поездка с Ромасом и И. в Ушково, к Ефиму Эткинду. [...]

Проводили время на даче, обедали, потом гуляли и фотографировались на холме, с которого видна чуть ли не Финляндия. И.: «Вот еще один неплохо убитый день». Ощущение, что каждый день — последний.

Шел разговор о Лотмане. И. возмущен его последней книгой: «Он дошел до того, что „рифм сигнальные звоночки“ у Ахматовой объясняет как звонок пишущей машинки в конце строфы. И вообще все это похоже на магистра Ортуина Грация [герой „Писем темных людей“]. Подход не с того конца». Я: «Помо-ему, подходить надо с пятидесяти разных концов — тогда, может, что и получится». И.: «Ну, пожалуй, с этим я согласен». Я: «А можно ли, по-твоему, вообще вскрыть механизм стиха?» И.: «Несомненно, но только тогда, если исследователь стоит на одном уровне с автором. Я знаю только два таких случая — Тынянова и ахматовские статьи о Пушкине. Эйхенбаум вообще ничего не понимал».

Оказалось, что обыск у Лотманов — результат доноса [...]. Эткинд: «Хорошо бы написать книгу „Психология доноса“». Я: «Психология и поэтика доноса». И.: «Психология, поэтика и практика доноса».

[...] Потом перешли к Ходасевичу: Иосиф необычайно любит его «Обезьяну», особенно сравнение с Дарием.

«Спонда я, увы, уже не переведу — и не знаю, кто бы мог это сделать вместо меня. Но английских метафизиков обязательно кончу там».

Хватало и острот. И.: «Вот дом, который построил зэк». Кто-то рассказал историю о некоем В. Г., который просил своего знакомого американского стажера: «Джон, запишись, пожалуйста, на встречу с Никсоном». — «А на кой это мне?» — «Запишись, я пойду вместо тебя». — «Зачем?» — «Подойду и скажу: дяденька Никсон, усыновите меня к такой-то матери и увезите отсюда».

Я: «Кстати, Иосиф, на тебя клонут разные левые во главе с Кон-Бендитом [...]». И.: «Что ж, открою дверь, скажу: „А-а, Кон!“ — и двину его в пах. [...]». Ромас: «И автоматически станешь главой маоистов».

Конечно, многие (и сам Иосиф) подозревают, что его отъезд может не состояться: возьмут и скажут ему на аэродроме: «It's a practical joke» [«Это розыгрыш»]. И все же любимая фраза И. сейчас — «Передайте: будет в Штатах — пусть заходит».

Отлично, что он вполне спокоен и готов ко всем возможным вариантам.

Вернулись на поезде с ассириологом Дьяконовым, тоже милым человеком.

Что еще записать? Был разговор о [польском поэте] Грохвяке (И. хвалил его [стихотворение] «Банко», которое услышал от меня) и об Ионеско (И.: «Это едва ли не единственный умный человек на Западе, особенно в отношении к новым левым»). С Финляндского вокзала шли ночью, уже без Ромаса,



С Рамунасом Катилюсом, Эрой Коробовой, Ефимом Эткиндом, Томасом Венцловой. Пос. Ушково. 21 мая 1972 года. Фото Марии Эткинд

но с Машей [Эткинд]. И.: «А в общем, зачем мне отъезд? У меня была работа, появились деньги, к тому же — вот, белая ночь...»
Маша: «...или утопленница».

Шли как раз мимо Большого дома (и, кстати, к нам пристроилась — за несколько или десяток с лишним шагов — пьяная либо изображающая таковую парочка). И.: «Вот чем кончился мой поединок с этим домом». И еще его слова: «Самое оскорбительное занятие — искать в человеческой жизни какой-либо смысл».

[...]

v. 22. [...]

Недолго был у Иосифа. Ему удалось добиться продления [срока отъезда] до десятого июня. Видел новые его переводы из Марвелла: самому И. больше всего нравится «Фавн» [«Нимфа,

оплакивающая смерть своего фавна» — в названии ошибка Бродского, *fawn* означает «оленок»], мне — «*Сoy Mistress*» [«Застенчивой возлюбленной»]. И.: «Но это же легкий жанр». Я: «Примерно такой же легкий, как „Блоха“ — сиречь, не легкий». И.: «В общем, да».

Вечером — Чертковы и Рейн. Об Иосифе, словно сговорившись, не беседовали. Зато Чертков был в очень «хорошей форме» и рассказывал множество лагерных историй, с большим почтением упоминая литовцев.

v. 23. Вдали от центра разыскал А[гнессу Чернову] с Андрюсом [сыном автора дневника] [...]. Повез его в город; так как в четыре мы договаривались ехать с Иосифом в Петергоф, оставалось их познакомить. Может, это ошибка — я зря напомнил Иосифу о его собственных проблемах. А он и так был в скверном настроении — по случаю выписки и подобных дел. («Когда имешь дело с ГБ, все же чувствуешь нечто европейское; но ЖАКТ и милиционеры — это уже свыше человеческих сил. Страшный суд им, по-видимому, не нужен»). Все-таки играл с Андрюсом, носил его на шее и превосходно объяснял, что такое фотография и адаптер. «Приятно слышать русский язык из уст такого вот человечка».

В Петергоф мы не поехали. Оставив Иосифа в покое, с Эрой повели Андрюса к памятнику Крылова и покатали на пароходе. [...]

v. 24. Сегодня день рождения Иосифа — последний в этой стране.

Утром по просьбе Ал. Ив. мы с Эрой и Лорой Степановой переставили его библиотеку. Не будет больше комнаты, где

столько всего происходило. Дело в том, что иначе у родителей ее могут просто отобрать. [...]

Пыли — словно в «Натюрморте».

Иосиф немедленно ушел. Час спустя позвонил мне и пригласил вместе пообедать. «Я получил свой последний гонорар — сто семьдесят рублей от кино за перевод текста — и поэтому угощаю».

Ели — и немало выпили — в ресторане «Универсаль», вдвоем. Разговоры были чисто личными, и записывать их бессмысленно. [...]

«Ну, вот я и начал свой день рождения».

Потом Иосиф зашел к нам с Эрой. Несколько часов спал — вчера ночью у него были какие-то приключения, а дома отдохнуть он не мог из-за дурацкого ремонта. Спал до тех пор, пока около десяти не стали звонить гости, уже пару часов тому назад собравшиеся у него.

В автобусе. Эра: «Что будем делать завтра?» И.: «Ну, теперь программа-минимум — дожить до следующего дня. — Слегка помолчав: — Страшно подумать, сколько стукачей бродит вокруг дома, не говоря уже о тех, что внутри».

Внутри было около тридцати человек, среди них Еремин, Охапкин, Битов (я видел его впервые [...]), ну, разумеется, еще Ромас, Чертков, Рейн, Маша Эткина. Я избрал компанию дальше от Иосифа. Он, кстати, сразу присел к телевизору и стал смотреть какой-то матч. А после шума и тостов, около двух ночи, несколько из нас вышло погулять по Ленинграду — Маша, Ромас, Эра, Иосиф и я.

Только сегодня я услышал о каунасских событиях (Ромас — пару дней тому назад). [14 мая в Каунасе совершил самоожжение школьник Каланта, которого после смерти объявили

психически больным. Его похороны превратились в демонстрацию и столкновение с властями.] Хотя известия неясны, кажется, это уже очень серьезно. Да и вообще нет ничего серьезнее смерти.

Ромас: «Мы превратились во второй народ этой страны. После евреев». И.: «Вскрытие, конечно, показало, что он сумасшедший».

Правда, это уже поколение, с которым у нас нет контакта.

Об отъезде Иосифа. Я[ша] В[иньковецкий]: «Они наши-таки у нас самое большое место». Тут же возник и грустноватый полуанекдот: Пушкина вызывают в III отделение и говорят, что ему прислан вызов из Эфиопии.

Немного говорили о Ключеве. И.: «Он здорово похож на позднего Мандельштама».

И.: «У Рейна — не остроты, а монстроты. А вот еще хорошее слово: „монстранство“». «К открытию Суэцкого канала была написана „Аида“, а к закрытию надо бы написать „Аид“».

v. 25. Эра просмотрела весь свой архив, касающийся Иосифа, и сделала конкордансы. [...]

Вечером говорил с И. по телефону — он был на концерте Волконского. «Концерт вполне цивилизный, но я ушел после первого отделения, ибо во втором — Бетховен».

«Том, я в свое время послушался тебя и полечился. Теперь твоя очередь».

С моим здоровьем действительно что-то странное — может, сердце сдает?

Кстати, И. немало говорил о двух людях, которых любит, — Мике Гольшewe и Семененке («Поэт он посредственный, а человек милейший»).

[...]

v. 26. Иосиф пришел уже без паспорта — с выездной визой. «Когда мне ее выдали, я сказал: „Спасибо“. Они говорят: „Не за что“. — „Действительно не за что“, — ответил я».

Пообедали у нас — втроем с Эрой.

Прояснилось стихотворение «Открытка из города К.» (Кёнигсберга). Иосиф когда-то задал мне задачу — понять, что в этих стихах означают «пророчества реки». «Рябь на воде разрушает отражение здания, которое вскоре будет разрушено». Я: «А я думал, что вода напоминает о законе Архимеда — в стихах он переформулируется». И.: «Несомненно, можно и так».

И.: «„Погорельщина“ Клюева — превосходная поэма, хотя и непонятно почему». «В последнее время мне стал нравиться Шелли. Это — как Лермонтов». Я: «А Лермонтов так уж хорош?» И.: «Перечти „Валерик“ — и убедишься. Это — огонь. Будь моя воля, я издал бы Лермонтова объемом с «малую серию» — туда входили бы стихотворений сто, „Мцыри“ и „Демон“; и было бы изумительно. В последнее время вообще я сдвигаюсь в сторону романтизма. Кстати, Некрасов тоже прекрасный поэт».

В списках Эры И. нашел «Увы, не монумент» и еще одно стихотворение; он о них запомнил (кажется, нигде больше они не сохранились) и очень обрадовался, когда увидел.

v. 27. Вильнюс. [...]

vi. 2. Прилетел в Ленинград.

Видел Иосифа, у которого были Кушнер и Марамзин. Опять обедали в «Волхове». Иосиф в очень плохом состоянии — на грани нервного срыва.

Он только что вернулся из Москвы, где бегал по посольствам и учреждениям. В посольстве Нидерландов менял сто рублей на сто восемь долларов. «Лестница напоминает черный ход любого московского дома; потом холл, как в коммунальной квартире, и окошечко. Кто-то, кому разменяли меньше, чем ему хотелось, разбил стекло, поэтому окошечко закрыто фанерой. За ним сидит российская дама и фанеру время от времени приподымает. Тут же — разговоры моих соотечественников. Хочется выйти на улицу и сблевать у столба от всего этого».

[...]

Говорили о Каунасе.

Несколько острот И., которые записываю: «Nabeas coitus act» [в названии закона «Nabeas corpus act» слово «corpus» («тело») заменено на «coitus» («совокупление»)]. «Domus mea domus tolerantiae est» [«Дом мой дом терпимости наречется»].

Не пугайся с немцем встречи —
Вот урок немецкой речи.

Восклиция «гутен таг»,
Коммунист поджег рейхстаг.

Птичка выпала из брюк —
Мальчик, спрячь ее цурюк.

«Господа» звучит «геноссен»,
А компартия — «гешлоссен».

Повара не прячут тайн:
Немец — перец, русский — швайн.

Всего десять таких двестишты: не все из них И. припомнил, не ясен и порядок, но вот последнее:

Череп катится по плахе,
Восклиция «дойче шпрахе».

Общими силами собрали (прежде всего М[арамзин]) почти все сочинения И.: вышло около пятидесяти тысяч строк. Были и курьезы — И. признал своим стихотворение «Этот прекрасный мир, этот роскошный пир», которое на самом деле принадлежит Найману. Когда столько написано, нетрудно и ошибиться, тем более что стилистика там достаточно бродскианская.

И.: «Донжуанский список я тоже составил: примерно восемьдесят дам».

Разговор с матерью И. Марией Моисеевной. Ее истории: И. научился читать четырехлетним и, когда его начали про- верить, принес книгу «Так говорил Заратустра» и почитал из нее. Вечно ее мучил, спрашивая о звездах и об их именах. А однажды в пятилетнем возрасте, плывя с ней на лодке через Волгу, спросил: «Мы ведь уже далеко уплыли: когда же мы потонем?»

vi. 3. Самый последний день с Иосифом.

Фотограф Лева Поляков повел нас к церкви на улице Пестеля. Во время войны И. с матерью, бывало, лежали в подвале этой церкви, когда Ленинград обстреливался. Она видна с балкона Бродских, и когда я ходил к Иосифу, всегда проверял время по циферблату на ее башне.

Лева тоже уезжает — и, по словам Иосифа, «ведет себя так, как будто уже оттуда приехал». У него пара любимых

присказок: «Как здесь, так и там убить меня может только одно — смерть», «Советский человек с бомбой — плохой советский человек; советский человек без бомбы — хороший советский человек».

Сегодня он надеялся отвезти И. в Комарово — но тот уже был там три дня назад. Все кончилось снимками у церкви.

Потом мы остались одни. Дворами, дабы избежать возможных «хвостов», пошли к Неве. Спеша вскочили в отплывающий пароходик у Летнего сада и около Медного всадника опять оказались на суше.

[...]

«Там я не буду мифом. Буду просто писать стихи, и это к лучшему. Впрочем, хочу получить должность — пускай бесплатную — поэтического консультанта при Библиотеке Конгресса, чтобы досадить здешней шайке».

«Надежда Яковлевна [Мандельштам] мне сказала: „Что ж, Цветаева все лучшее написала в эмиграции“. Люблю Надежду — не за ее заслуги или ум, а за то, что она человек нашего с тобой поколения».

В ответ на некоторые мои жалобы: «Человек время от времени должен чувствовать к себе ненависть и презрение — так и приобретается человечность. Впрочем, так она и теряется. Но всегда надо помнить, что уровень, на котором мы [...] уже находимся, абсолютно недоступен для огромного большинства». Я: «Это как слова Феокрита у Кавафиса». И.: «Конечно».

«Оказалось, что я написал пятьдесят тысяч строк. Хороших — думаю, от двух до четырех тысяч. В прошлом году не смог выдать из себя больше трех или четырех стихотворений».

[...]

Мы плыли мимо лучшей ленинградской набережной. «Вот этого я нигде не увижу. В Европе города рациональны; а этот построен на реке, через которую, в общем, невозможно мост перекинуть». Я: «И все-таки есть похожая набережная». И.: «Во Флоренции. Я угадал?» Он действительно угадал, что я имел в виду.

Ни с того ни с сего разговорились об Антониони. И.: «„Забриски-пойнт“ — страшная дешевка: сдув сцену у Боттичелли, он думает, что он уже Боттичелли. А тут еще эти взрывы». Но «Блоу-ап» ему по душе.

«Ты умеешь водить автомобиль? Это к тому, что у нас похожая психическая структура — рассеянность и так далее». Я: «Ты рассеян за письменным столом?» И.: «Ну нет». Я: «Так вот, автомобиль — примерно то же самое. Тебя не шокирует аналогия?» И.: «Разумеется, не шокирует».

Наконец дошли до почтового отделения на Невском; И. заказал разговор с Веной [...]. И оба ощутили, что уже пора.

Дал ему бутылку «Мельника» [крепкого литовского напитка] — чтобы распил ее с Оденем. [...]

А потом показали друг другу знак [победы] «V» — два пальца, — и это было все.

VI. 4. Договорились, что провожать не буду — «чтобы избежать лишних душераздирающих ситуаций». На аэродром поехала только Эра.

Теперь, когда пишу эти слова, он летит.

Вечером. Эра вернулась около полудня. Пошли с ней к родителям Иосифа.

Провожало всего семнадцать человек. Чертковы, Охалкин, Яша Гордин, Ромас, Поляков, Марамзин... Родителей и Марины не было.

Таможня не пропустила рукописи Иосифа — дескать, «физически не успеем их просмотреть». Ромас привез их в дом на Литейном. Там на короткое время собрались все провожатые.

И. шутил и держался хорошо, но после таможни вышел на пять минут попрощаться совершенно белым. Показал «V» — только Эра его поняла и ответила.

В пять часов пошли вдвоем на польский фильм «Эпидемия». С его окончанием И. должен спуститься в Вене; летит он через Будапешт и там в аэропорту ждет четыре часа. Вернувшись позвонили его родителям: да, он уже дал знак, что на месте.

Кстати, может, все это и не «отрублено топором». Кто знает, где будет эта страна и мы сами спустя несколько лет. Есть «закон природы», который сдвигает края и континенты, и, возможно, советская власть против него не устоит.

ДЕНИС АХАПКИН

Архитектор Кошкин и Вильнюс

Когда мы задумываемся об истоках поэзии Бродского и обращаемся к его поэзии, прозе, интервью, мы видим, что часто поэт предпочитает не говорить о конкретных литературных влияниях, а указывает на то, что он учился у музыки, живописи, архитектуры. Архитектура в этом списке занимает важное место. Она зачастую оказывается важнее литературы, потому что способна определять развитие последней, и в частности поэзии. В одном из интервью Бродский так говорит об этом влиянии: «Любой автор, берущийся за перо в Ленинграде, сколь бы молод и неопытен он ни был, так или иначе ассоциирует себя с гармонической школой, имя которой дал Пушкин. Возможно, дело не только в ассоциации с гармонической школой Пушкина, но и в самой архитектуре, в самом чисто физическом ощущении города, в котором воплощена идея некоего безумного порядка. И когда ты оказываешься среди всех этих бесконечных, безупречных перспектив, среди всех этих колоннад, пилястров, портиков и т. д. и т. д., ты вольно или невольно пытаешься перенести их в поэзию...»*

* Бродский И. Европейский воздух над Россией: Интервью Анни Эпельбуэн // Иосиф Бродский. Большая книга интервью. М., 2000. С. 133.

Поэзия строится по законам архитектуры, более того, сам язык может описываться с использованием архитектурных аналогий. Темы языка и архитектуры часто тесно переплетаются в творчестве Бродского. Не случайно под своим ранним манифестом (а мне кажется, что можно рассматривать текст о проекте реформы русской орфографии, публикующийся под заголовком «Неотправленное письмо» именно как манифест) поэт ставит подпись «Кошкин, Иосиф Александрович, архитектор» (см. факсимильное воспроизведение подписи*). И в тексте письма лингвистические и архитектурные термины тесно переплетаются: «Манеж, лишенный колонны, превращается в сарай; колоннада функциональна: она играет роль, подобную фонетике. А фонетика — это языковой эквивалент осязания, это чувственная, что ли, основа языка. Два „н“ в слове „деревянный“ неслучайны. Артикуляция дифтонгов и открытых гласных даже не колоннада, а фундамент языка».** Из подобных переплетений часто возникают сюжеты стихотворений, насыщенных архитектурными образами.

Конечно, главным из городов, об архитектуре которых упоминает Бродский, оказывается его родной Петербург: «Петербург — это школа меры, это школа композиции».**^{***} Однако это не единственный город, архитектура которого повлияла на творчество поэта. Как мне кажется, Вильнюс тоже входит в число таких городов — ведь вильнюсские впечатления Бродского отразились не только в нескольких стихотворениях

* Гордин Я. А. Переключка во мраке. Иосиф Бродский и его собеседники. СПб., 2000. С. 139.

** Там же. С. 140.

*** Бродский И. Европейский воздух над Россией: Интервью Анни Эпельбуэн // Иосиф Бродский. Большая книга интервью. М., 2000. С. 579.

о Литве, написанных поэтом, но и в общем строе его поэтики, в том, что часто называют «барочностью» Бродского.

Действительно, поэтика Бродского часто характеризуется как барочная. Вот что пишет об этом Томас Венцлова: «Причудливость мысли Бродского, его ироническая риторика, острота и остранимость образов, культ приема и концепта — черты скорее барокко, чем „нормального классицизма“». * Один из исследователей творчества Бродского выделяет «барочную стадию» в его поэтике (1972–1979), отмечая целый ряд текстов, которые в трактовке пространства/времени, слуха/зрения, формы/содержания, тела/души оказываются близки эстетике барокко. ** Можно отметить также насыщенность поэзии Бродского деталями, резкую контрастность его словаря в пределах одного произведения, мощную геометрическую образность — понятно, что влияние барокко здесь не подлежит сомнению. Но откуда приходит это влияние? Не является ли вильнюсская архитектура одним из его источников?

Конечно, начинается это все еще до приезда поэта в Вильнюс. Первое известное упоминание барокко как архитектурного стиля мы находим в «Петербургском романе»:

...из незнакомой подворотни,
прижавшись к цинковой трубе,
смотри на мокрое барокко
и снова думай о себе.

Ближайшие к дому героя «Петербургского романа» памятники барочной архитектуры — это церковь святого великомученика

* Венцлова Т. Статьи о Бродском. М., 2005. С. 11.

** MacFadyen D. Joseph Brodsky and the Baroque. Montreal: McGill University Press, 1998. P. 95–127.

и целителя Пантелеимона (И. К. Коробов, 1735–1739) и церковь святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы (М. Г. Земцов, 1731–1734). Обе они построены в стиле так называемого аннинского барокко. Стоит заметить, что барочными в чистом виде эти церкви назвать сложно. Фасады первой церкви декорированы довольно скупо, основное внимание привлекает к себе фигурный фронтон над апсидой, а во второй чувствуется влияние русской допетровской архитектуры (главный объем, решенный как восьмерик на четверике, и т. д.). Кстати, упомянутый фронтон прекрасно просматривается в перспективе улицы Пестеля (быв. Пантелеимоновской) с балкона «полутора комнат» Бродского, что дает возможность считать Пантелеимоновскую церковь (как и Спасо-Преображенский собор) практически «домашней» церковью Бродского.

Отметим, что архитектура в процитированном тексте оказывается поводом для мыслей о себе, таким образом становясь внешним отражением внутреннего мира героя. И здесь очень важно, что это именно барочная архитектура (равно как и то, что памятниками являются церкви). С церковью Симеона и Анны связан сюжет «Сретенья» — можно предположить, что само обращение именно к этому сюжету навеяно тем, что церковь находится в пяти минутах ходьбы от дома Бродского.

Для любителя архитектуры очевидно, что вильнюсское барокко существенно отличается от петербургского. Его особенности прекрасно подчеркнул в письме к Чеславу Милошу Томас Венцлова: «Вильнюсское барокко — это барокко на средневековой канве; ведь сама сеть улочек средневекова, все здесь криво, стиснуто и запутано. Над этим лабиринтом вырастают мощные купола и башни родом из совершенно другого столетия. Ничто здесь не является в целостности: какие-то

части костелов, косые крепостные стены, перерубленные пополам силуэты маячат из-за угла; среди сырых и грязных коридоров вдруг устремляется в небо великолепная белая колокольня Св. Иоанна, либо открывается небольшая классическая площадь».* Бродский любил противопоставлять аналитическое и синтетическое развитие (мысли, языка, поэзии). Ср. его слова о Цветаевой: «Фраза строится у Цветаевой не столько по принципу сказуемого, следующего за подлежащим, сколько за счет собственно поэтической технологии: звуковой аллюзии, корневой рифмы, семантического enjambement, etc. То есть читатель все время имеет дело не с линейным (аналитическим) развитием, но с кристаллообразным (синтетическим) ростом мысли». Если мы сравним таким образом города, то легко заметим, что родной город поэта скорее линейен, а Вильнюс тяготеет к противоположному полюсу. Точно так же, как тяготеет к «кристаллообразному» росту поэзия самого Бродского. Физик может заметить здесь неточность метафоры, однако для Бродского, как и для Манделштама, из «Разговора о Данте» которого эта метафора заимствована, важнее не физическая точность, а ощущение свободного роста в условиях, когда все «стиснуто и запутано». Не таков ли сам синтаксис Бродского — приведу пример из цикла «Часть речи» (1976):

Через тыщу лет из-за штор моллюск
извлекает с проступившим сквозь бахрому
оттиском «доброй ночи» уст,
не имевших сказать кому.

* Милош Ч., Венцлова Т. Вильнюс как форма духовной жизни // Старое литературное обозрение. 2001. № 1. [Электронный ресурс]. URL: <http://magazines.russ.ru/slo/2001/1/mv4.html>.

Это совершенно не похоже на «петербургскую поэтику», и этому нельзя научиться у петербургской архитектуры или Моцарта. Мощная инверсия уводит читателя куда-то вбок, как вильнюсский переулочек Св. Игнатия или барочные волюты на церквях по соседству. А рядом с этим синтаксическим лабиринтом, как мощные купола и башни, четкие и чеканные формулировки пушкинской гармонической школы:

Север крошит металл, но щадит стекло.
Учит гортань проговорить «впусти».
Холод меня воспитал и вложил перо
в пальцы, чтоб их согреть в горсти.

Классическая и барочная традиции сосуществуют в поэзии Бродского так же, как сосуществуют в ней, накладываясь друг на друга, образы разных городов. Особенности поэтики становятся важнее конкретных упоминаний о памятниках, и говорят чуть ли не больше их.

Однако есть и упоминания, которые на слуху у читателей. Хотя Бродский не много пишет об архитектуре Вильнюса, вильнюское барокко важно для него — мы это видим, и когда он описывает конкретные памятники (церковь Святого Духа или костел Святой Екатерины), и когда он строит свои тексты по его стилистическим законам.

Вильнюсская церковь Святого Духа в доминиканском монастыре — один из наиболее впечатляющих памятников высокого барокко. Насыщенный деталями интерьер церкви, необарочная многофигурная композиция «Апофеоз Святого Духа» в куполе как нельзя лучше заставляют посетителя ощутить себя «деталью местного барокко». Вспоминая район улицы Лейккелс, Томас

Венцлова пишет: «Слово „Лейиклос“ означает „Литейная“, то есть улица как бы повторяла Литейный проспект, вблизи которого Бродский жил в Ленинграде, и это нам казалось неслучайным. Рядом с улицей стоят два костела, они не принадлежат к числу знаменитых, но это все же настоящее вильнюское барокко — провинциальное, позднее, прелестное. Ближе двубашенный белый костел Св. Екатерины; чуть далее круглый купол Доминиканцев, изнутри странной на вид и как бы неправильной формы — „ушная раковина Бога“ из последнего стихотворения цикла [„Литовский дивертисмент“]».* Венцлова прекрасно написал о «Литовском дивертисменте», остается добавить, что по воспоминаниям других литовских знакомых Бродского, Доминиканцы были местом, которое не только отразилось в стихах Бродского, но и слышало их. Из рассказа Ины Вапшинскойте следует: «Мы вышли с Лейиклос, сделали круг и зашли во внутренний дворик Доминиканского монастыря. Сейчас туда входа нет, а тогда в этот дворик можно было попасть через второй этаж монастырского корпуса, выходящего на улицу Св. Игнатия [...]. Там лежали какие-то доски, на которых мы и просидели достаточно долго. Удивительное место, с особой аурой: классический квадратный двор, посередине колонна со статуэткой (вероятно, святого Доминика). На этих досках во дворе костела Иосиф мне читал стихи».** Атмосфера монастыря настолько нравилась Бродскому, что в один из приездов в Вильнюс он, по словам Р. Катилюса «зажегся идеей снять там комнату на подольше».**

* Венцлова Т. Статьи о Бродском. М., 2005. С. 9.

** Клоц Я. Иосиф Бродский в Литве. СПб., 2010. С. 135.

*** Катилюс Р. Интервью Валентине Полухиной // Полухина В. Бродский глазами современников (2006–2009). СПб., 2010. С. 225.

Здесь, с возможностью взгляда на себя, на свою культуру со стороны, начинается создание биографии. Это и попытка — оставшаяся неоконченной — привязать себя к личным, семейным корням, и попытка, ставшая поэтикой, увидеть себя и свое возможное прошлое в деталях и завитках местного барокко.

Это происходит в неоконченном стихотворении памяти деда:

Дорогой дед, дорогой дед.
Потому что ты умер и тебя нет.
Потому что в Вильне идет всю ночь
сильный дождь. Потому что дочь
твоя родила меня это мать моя.*

Это продолжается в «Литовском дивертисменте», где Бродский моделирует свою возможную судьбу, которая в одном из ее вариантов заканчивается тем же, что произошло и в реальной судьбе, — переездом в Америку, «в чужие края». Вариант перенесения биографии семьи (и дед и мать были связаны не с Вильно, а с Двинском) в Вильнюс четко просматривается в «Литовском дивертисменте». Очевидно, что Вильнюс и Литва в целом важны как места, которые Бродский воспринимает как возможную родину и одну из возможных моделей рая:

Осень выдалась теплой. Я жил в Литве,
словно грешник, украдкой проникший в Райский
заповедник.**

* ОР РНБ. Ф. 1333. Ед. хр. 139. Л. 1.

** ОР РНБ Ф. 1333. Ед. хр. 61. Л. 17.

Они могут быть важны еще и как места, повлиявшие на формирование поэтики Бродского. Ведь, как заметил Мандельштам, на вопрос, что хотел сказать поэт, мы можем не ответить, но на вопрос, откуда он пришел, — ответить должны. Бродский, если мы поверим его словам о влиянии архитектуры на поэзию, пришел не только с песков Санкт-Петербурга или каналов Венеции, но и с холмов Вильнюса. Это, конечно, до некоторой степени преувеличение — учитывая влияния литературные, музыкальные и т. д., — но преувеличение, вполне допустимое при разговоре о творчестве поэта, который одно из своих писем о языке подписал «архитектор Кошкин». И хотя архитектор Кошкин не построил в Вильнюсе ни одного здания, он связан с этим городом прочно и навсегда.

Яков Клоц

Письма Томаса Венцловы Иосифу Бродскому

14 сентября 1966 г. Вильнюс¹

Вильнюс, Цвиркос 24, кв. 1, Т. Венцлова

Ленинград Д-28, Литейный 24, кв. 28, Иосифу Бродскому

Иосиф,

спасибо, что Вы позвонили из Паланги.² Очень жаль, что я не смог туда приехать (доктора замучили). И очень жаль, что я не сумел сказать Вам как следует — по причине моей дурацкой необщительности, или начальной скованности, или еще какой-нибудь причине — что такое для меня Ваши стихи и Вы сами.

Приезжайте сюда почаще.³ Хотя мне и не пристало это говорить, Литва страна хорошая.

Ваш Томас

25 сентября 1972 г. Вильнюс⁴

USSR, Lithuania, Vilnius, Cvirkos 24, bt. 1, T. Venclova

Mr. J. Brodsky, The University of Michigan,

Милый друг,

письмо твое пришло позавчера, сиречь двадцать третьего.⁵ Надеюсь, и мое получишь скоро. [...] Недавно мне исполнилось тридцать пять лет, и это я весьма сильно ощущаю.⁶ [...] Сочинил стихи под украденным у W. H. названием — «Щит Ахиллеса» (он тоже украл у Гомера, так что ничего; суть же стихов общего с ними не имеет, да и щита нет, просто нечто под влиянием твоего лондонского письма).⁷ Перепер четыре рассказа Борхеса с испанского, что оказалось простым занятием.⁸ [...] С книжкой же переводов, естественно, ничего не получилось.⁹ Посему вперые в жизни служу. Правда, это синекура: завлит театра в Шяуляе, буду туда ездить раза полтора в месяц на полтора дня.¹⁰ Театр худший в Литве (и, вполне возможно, во вселенной), город же есть скрещение Энн-Арбор и проспекта Обуховской обороны.¹¹ Буду делать вид, что улучшаю репертуар, и толкать актерам лекции — не знаю про что. [...]

Никуда из Литвы все это время не выезжал — и, увы, никого не видел. Ромас в Питере.¹² Вчера здесь мы обедали с Северином Поляком — поболтали по-польски, что всегда приятно.¹³

Насчет семинаров, по-моему, тебе волноваться нечего: все эти тридцать тысяч ни про какое сенчури¹⁴ понятия не имеют, особенно же про двадцатое. Хоть я их и не видел, но догадаться об этом нетрудно. С тобой — заимеют; ну, не все, а человек шесть-семь.¹⁵

Кого ты там переводишь — дядю или племянника?¹⁶ Очень советую почитать второго. Впрочем, ты его наверняка увидишь (он в Беркли). Скажи ему, что один тип в Вильнюсе его любит

и знает наизусть его «Mittelbergheim». Ситуация у вас сходная, отношение к Вильнюсу сходное, да и стихи не без аналогий.¹⁷

Правда, наизусть я чаще читаю (в уме) твое. Если тебе от этого лучше, я рад.

Целую

Паны и пани кланяются.¹⁸

Все в порядке.

Книжки мне разные тут присылают тоннами и ничего не надо.

6 июля 1973 г. Вильнюс¹⁹

*USSR, Lithuania, Vilnius, 232000, Poželos 38, bt. 60, T. Venclova
Mr. Carl Proffer, 615 Watersedge, Ann Arbor, Mich. 48105, U.S.A.*

Дорогие друзья²⁰ и самый дорогой друг,

обширное письмо пришло в день рождения Анны Андреевны.²¹ Надо полагать, тут есть смысл. Тем более что я в тот день писал о ней статью для здешней энциклопедии.²² Сейчас энциклопедия — едва ли не главное мое занятие, я стал литовским анти-Дидро и анти-Д'Аламбером. Вообще, не пора ли издать отрицание той, французской?²³ Есть крепкое подозрение, что от ней все качества.²⁴

Но поскольку это сложно, пока я занимаюсь расширением мозгов читателя, дабы со временем мог вместить.²⁵ Сочиняю статьи о разных лицах от Анненского до Жарри, попутно оных читаю.²⁶ Недавно стал листать Дикинсон: к стыду своему должен признаться, что понятие о ней, как почти обо всем, имел малое, ну там, естественно, Амхерст, «Ай фелт э фьюнерел ин май брейн» и т. д., в пределах ликбеза. Начал отмечать стихи, которые по нравились, и скоро бросил, потому что много.²⁷ Нечто похожее, хотя

и не совсем, получилось с мужем Баррет.²⁸ По-видимому, до старости чтения «не забракнет», как говорят наши друзья поляки.²⁹

Временами сам пишу вирши, даже чуть больше, чем обычно. На следующий день после письма изобразил разговор с птицами, 12 строк.³⁰ Но это так себе, а хорошо получился — уже около года тому назад — «Щит Ахиллеса», довольно пространное сочинение.³¹

Сейчас июль, сорокаградусная жара, стучу на машинке — принадлежащей Пранасу — в своей новой квартире, с видом на реку и костел Св. Рафаила.³² В соседней комнате спит паняле, которая через два месяца собирается меня одарить вторым потомком.³³ Дом тот же, что у Пранаса, Пожелос 38 кв. 60. Можно писать и на прежний адрес.³⁴ Словом, перемены есть. [...] Никого, кроме виленских, не вижу, да и тех мало. В «Литгазете» паршивые, надо сказать, переводы Сергеева и какого-то Кистяковского.³⁵ Витек Ворошильский прислал толстенную биографию Есенина, рассчитанную на потребителя ниже чем «мидл-броу».³⁶ Но так как все мы таковы — или такими бываем, — то интересно.

О тридцати трех годах.³⁷ Как сказал я, а до меня Остап Бендер, к этому возрасту просто надо что-то сделать в меру своих сил.³⁸ Накормить хлебами, если крестьянин, или там кого-нибудь поставить на ноги, если, положим, врач. А для нашего брата — нечто произнести, необязательно с горы.³⁹ Если оно сделано — а это в твоём случае, несомненно, так, — в чем-то можно быть спокойным. Бендер не авторитет, быть может, но полагаю, нечто подобное можно прочесть и у моего тезки Кемпийского.⁴⁰

Нота бене: не можешь ли прислать книжку Брук-Роуз «ЗБЦ оф Паунд»?⁴¹ А то я все принимаюсь его читать и минут через пять, глядя в книгу, вижу рифмующееся слово. В смысле прямом и всех фигуральных.

Все знакомые процветают, и все поклоны переданы. Со своей стороны кланяюсь всем, кто прочтет это письмо.

Целую всех

Томас

Жду ответа

27 апреля 1974 г. Клайпеда⁴²

Дорогие друзья и самый дорогой друг,

сейчас я сижу в Клайпеде, в холле гостиницы, где некогда были беседы зимой. Тут подают отличный коньяк.⁴³ А впрочем, город мало изменился.⁴⁴ Я тоже. Служу сейчас сразу в двух местах — в Шяуляйском театре и в местной Академии наук, в секторе философии (не филологии).⁴⁵ Изучаю классиков. Театр под моим руководством процветает как никогда. Надеюсь, академия тоже процветает. Сочиняю всякие стишки, но мало, перевожу Фроста (будет книжка)⁴⁶, для театра Жарри (кстати, как будет «merdre» по-русски?)⁴⁷ и Гольдони с кьоджинского диалекта.⁴⁸ Моей дочке семь месяцев⁴⁹, и она уже познала прелести горшка. Постоянно смеется, но вскоре перестанет, ибо если вдуматься, то зачем? В Москве и Ленинграде бываю редко. Очень скучаю по знакомым лицам. По письмам, кстати, тоже. Прочее — как всегда.

Кланяюсь всем

Томас

25 октября 1976 г. Москва⁵⁰

Дружище,

я писал тебе раз пятнадцать — похоже, ничто не дошло, хотя каналы были вроде надежные.⁵¹ Кстати, прилагаю интересную

бумажку с печатью Энн-Арбора. Проверьте, кто эту печать соорудил и каким способом (из картошки, что ли, вырезали?).⁵² Повторяю надоевшие сведения о себе: хочу отсюда уехать (времена тут сравнительно вегетарианские, но очень гнусные) и заявил об этом публично [...].⁵³ [Д]ела достаточно плохи, хотя нет никаких заметных неприятностей. Ты-то знаешь, как это бывает. В этой ситуации я решил пробиваться на Беркли — больше просто нечего делать, а там видно будет.⁵⁴ «Континент» объявил о публикации моих виршей и правильно сделал (хотя не знаю, что это за вирши — посылаю в свое время, но дошли ли?).⁵⁵ Здесь я — уже законченный и явный диссидент, терять мне нечего и отступить нельзя; власти не трогают — но, разумеется, это может и измениться. Очень тебе благодарен за паблисити — это в полном смысле слова во спасение, хотя чувствую себя при этом донельзя глупо.⁵⁶ Твоя радиопередача вызвала в Литве наибольшую сенсацию со времен Грюнвальдской битвы.⁵⁷ Надеюсь на (безнадежное, вероятно) Беркли [...], пока буду существовать как существуется (жили же так и живут многие). Что мне, пожалуй, еще помогло бы — прием в ПЕН-клуб, так что прошу об этом со всей официальнойностью (Чеславу я это передавал). «Пингвин» наполняет меня и всю нацию законной гордыней — но наберете ли вы виршей на мало-мальскую книжку?⁵⁸ Кстати, у меня есть и свое предложение: издать книгу в оригинале, если найдется меценат. Туда вошла бы существующая книжка 72-го года⁵⁹, разные другие вирши и переводы (больше переводов, чем своего, ибо я ими больше и занимался, а собрать надо); м. б. еще и кое-какая публицистика. Если нетрудно, обсуди эту идею с двумя моими знакомыми: Mrs. A. Jurashas [...] (пиши по-русски, это моя бывшая сокурсница)⁶⁰ и, пожалуй, еще с Mr. L. Mockunas [...] (он из общества, в коем ты выступал, пиши на английской фене; а если

не ему, то кому-либо из оного общества).⁶¹ Если получишь это письмо, на что я надеюсь, позвони и сообщи, как обстоит дело (тогда тексты будут); можешь не звонить, а как-нибудь передать письмо мне через людей.

Целую — Т.

- 1 Архив Иосифа Бродского в Российской национальной библиотеке (РНБ. Ф. 1333. Ед. хр. 480). Дата и место установлены по почтовому штемпелю. Письмо написано вскоре после первого посещения Бродским Литвы, когда он и познакомился с Томасом Венцловой в доме Рамунаса и Эли Катиласов в Вильнюсе.
- 2 Проведя несколько дней в Вильнюсе, Бродский уехал в Палангу, где пробыл около недели в начале сентября 1966 г. и откуда вернулся в Ленинград.
- 3 После первого посещения Литвы до отъезда из СССР в июне 1972 г. Бродский приезжал сюда не менее десяти раз.
- 4 Архив Иосифа Бродского в Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University (Gen Mss 613. Box 15. Folder 414; далее — Beinecke 613). Место написания установлено по содержанию и почтовому штемпелю.
- 5 В архиве Томаса Венцловы в Институте литовской литературы и фольклора (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, F95; далее — LLTI F95) сохранился пустой конверт от Бродского, полученный 22 сентября 1972 г. (по почтовому штемпелю). Само письмо не найдено.
- 6 Томас Венцлова родился 11 сентября 1937 г.
- 7 Стихотворение Венцловы «Щит Ахиллеса» (13–17 июля 1972) посвящено Бродскому. Если в одноименном стихотворении У. Х. Одена («Shield of Achilles», 1952) щит отсылает к «Илиаде» Гомера (см. описание щита в песне 18, стихи 478–608), то у Венцловы он обозначает лист бумаги. «Лондонское письмо» — письмо Бродского Венцлове и другим литовским друзьям, посланное из Лондона 21 июня 1972 г., через две недели после отъезда в эмиграцию, копия письма хранится в архиве Томаса Венцловы в Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University (Uncat Mss 732. Box 6. Folder 1; далее — Beinecke 732). В нем Бродский подробно описывает свои первые дни на Западе, в частности встречи с Оденем, с которым 20 июня 1972 г. он вылетел из Австрии в Лондон, чтобы принять участие в поэтическом фестивале в Лондоне (International Poetry Festival).
- 8 Переводы рассказов «Круглые руины» и «Тайное чудо» были опубликованы в журнале «Pergalė» (1973) (с 1991 г. журнал выходит под названием «Metai»), но «Библиотека» и «Мотив героя и предателя» были отвергнуты редакцией. «20 июля (1972 г. — Я. К.) я получил от Наташи Трауберг испанский текст, с 22 августа по 13 сентября перевел и правил, 18 сентября отнес в редакцию» (из электронного сообщения

- Томаса Венцловы Я. Клоцу от 21 декабря 2008 г.; точные даты приводятся по Дневнику Томаса Венцловы; далее — ДТВ). Наталья Трауберг — известная переводчица, эссеистка и мемуаристка, близкая знакомая Венцловы, в 1960–1980-е гг. (с перерывами) жившая в Вильнюсе.
- 9 В это время Венцлова планировал издать книгу своих поэтических переводов на литовский, однако 4 сентября 1972 г. рукопись была возвращена редакцией (ДТВ) по причине «слишком одностороннего» подбора авторов: «Там были сплошные Элиоты и Мандельштамы, но не было ни одного соцреалиста. Могу сказать, что для меня это было едва ли не последней каплей, и я уже собрался было эмигрировать, потому что, думаю, если уж это нельзя напечатать, то что же тогда можно?» (из беседы Я. Клоца с Томасом Венцловой. 1 ноября 2008. Нью-Хейвен, США).
 - 10 В Шяуляйском драматическом театре Венцлова работал с середины октября 1972-го до 1976 г.
 - 11 Энн-Арбор — университетский город в штате Мичиган, где Бродский жил и преподавал в первые годы эмиграции. Проспект Обуховской обороны — улица в Невском районе Санкт-Петербурга.
 - 12 Ромас (Рамунас) Катилиус — об авторах см. настоящее издание.
 - 13 Северин Поляк — польский поэт и переводчик.
 - 14 Century (англ.) — «век».
 - 15 Речь идет о курсах по литературе, которые Бродский должен был читать в Мичиганском университете. Университет в то время насчитывал около 30 тысяч студентов и аспирантов.
 - 16 Оскар Милош (фр. *Oscar Venceslas de Lubicz Milosz*; лит. *Oskaras Milašius*) — французский поэт и литовский дипломат, двоюродный дядя Чеслава Милоша по линии отца. Родился в имении Черей под Могилевом, с 1889 г. во Франции. В 1920 г., когда Франция признала литовскую независимость, был назначен официальным представителем Литвы. До эмиграции Бродский не был знаком с творчеством Чеслава Милоша, но читал и даже собирался переводить стихи Оскара Милоша. См. дневниковую запись Венцловы от 6 апреля 1971 г.: «Перевел ему (Бродскому. — Я. К.) „с листа“ [Оскара] Милоша и пообещал прислать подстрочный перевод „Ноябрьской симфонии“ — он сказал, что попытается воспроизвести ее по-русски» (ДТВ). 27 апреля Венцлова отправил подстрочный перевод этого стихотворения Бродскому в Ленинград, о чем существует дневниковая запись за этот день (ДТВ). Листы с переводом Венцловы сохранились вложенными во второй том собрания стихов Оскара Милоша (*Milosz de L.O.V. Poesies. Vol. 2. Paris: Editions Andre des Silvaire, 1960*) из домашней библиотеки Бродского (Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Санкт-Петербург). Уже в эмиграции Бродский перевел шесть стихотворений Чеслава Милоша (см.: *Иосиф Бродский. Изгнание из рая. Избранные переводы. СПб., 2010. С. 119–128*). Через несколько дней после приезда в США, 12 июля 1972 г., Бродский получил от Милоша письмо с предложением перевести несколько его стихов на рус-

- ский (Beinecke 613. Box 10. Folder 263). Милош стал вторым (после Одена) старшим поэтом, поддержавшим Бродского в первые дни жизни на Западе.
- 17 Уроженец Вильно, Чеслав Милош преподавал в Университете Калифорнии в Беркли с 1960-х до 1990-х гг. Об общении Венцловы с ним в Беркли весной 1977 г. см.: *Tomas Venclova. Spring in Berkeley // An Invisible Rope: Portraits of Czeslaw Milosz. Columbus, OH: Ohio UP, 2011. P. 128–137.* «Mittelbergheim» — стихотворение Чеслава Милоша, которое уже в эмиграции Венцлова перевел на литовский (первая публикация в журнале «Metmenys» (1979. Nr. 37). В эссе «Чеслав Милош: отчаяние и благодать» Венцлова пишет: «[У] каждого читателя есть *свои* стихотворения, важные для него, но необязательно отмеченные всеобщим выбором (для меня, например, у Милоша это „Mittelbergheim“ — изумительная кода сборника „Дневной свет“)» (*Tomas Venclova. Czesław Miłosz: Despair and Grace / Tr. from the Russian by Alexandra Karriker // World Literature Today. Vol. 52. Nr. 3. (Summer 1978)*); цит. по русскому оригиналу в архиве Венцловы (Beinecke 732. Box 3. Folder 1).
 - 18 Речь идет об общих вильнюсских друзьях Бродского и Венцловы: Ине Вапшинскайте, Ромасе и Эле Катилюсах, Иде Крейнгольд, Пранасе Моркусе и др.
 - 19 Beinecke 613. Box 15. Folder 414. Место написания установлено по почтовому штемпелю и содержанию.
 - 20 Карл и Элендея Профферы, основатели издательства «Ардис» в Энн-Арборе и преподаватели Мичиганского университета, общие друзья Бродского и Венцловы, на адрес которых отправлено это письмо.
 - 21 Анна Ахматова родилась 23 июня (11 июня по старому стилю) 1889 г. Речь идет о письме Бродского Венцлове от 12 июня 1973 г., в котором он описывает свою жизнь и настроение в Энн-Арборе, планы на лето, состояние современной американской поэзии и академии, которая «выглядит на „крепкую тройку“, как говорила А. А. А[хматова]», а также сообщает, что накануне написал рецензию на книгу ее переводов (см. оригинал письма в архиве Томаса Венцловы в LLTI F95; опубликовано с комментариями Донаты Митайте в журнале «Baltos lankos» (1999. Nr. 11. P. 269–276). См. рецензию Бродского «Translating Akhmatova» в «The New York Review of Books 20» (1973, August 9).
 - 22 Статью Венцловы об Ахматовой см.: *Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 1. Vilnius: Mokslas, 1976. P. 29.*
 - 23 Дени Дидро и Жан Лерон Д’Аламбер — основатели французской «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел» (1751–1780), памятника культуры эпохи Просвещения. 6 июля 1973 г., т. е. в день написания письма Бродскому, Венцлова записал в дневнике: «Работа для энциклопедии, она приучает стоически смотреть на жизнь, бренность и т. д.» (ДТВ, пер. автора).
 - 24 Для изобличения идейных предпосылок Великой французской революции здесь используется заглавие пьесы Льва Толстого о вреде алкоголизма «От ней все качества» (1910).

- 25 «Кто может вместить, да вместит» — строка из Евангелия от Матфея (Мф. 19:12).
- 26 В литовском алфавите буква «Ж» («Ž») — последняя. Таким образом, «от Анненского до Жарри» — «от „А“ до „Я“». Пьеса Альфреда Жарри «Ubu Roi» («Король Убу») в литовском переводе Венцловы была опубликована в 1973 г. (см.: XX a. pradžios dramaturgija. Vilnius: Vaga, 1973. P. 79–125) и шла в Каунасском и других театрах (после эмиграции Венцловы в 1977 г. имя переводчика не указывалось). Первая любительская постановка пьесы на литовском языке состоялась в Вильнюсском университете 6 апреля 1974 г. См. энциклопедические статьи Венцловы об Анненском (Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 1. P. 223.) и Жарри (Там же. Т. 13. P. 473).
- 27 Статью Венцловы об американской поэтессе Эмили Дикинсон, родившейся и прожившей почти всю жизнь в городке Амхерст в штате Массачусетс см.: Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 3. P. 85. «I felt a funeral in my brain...» («Звук похорон в моем мозгу...», 1861) — одно из наиболее известных ее стихотворений. Ср. дневниковую запись Венцловы от 25 июня 1973 г.: «Пробовал отмечать те вещи Дикинсон, которые мне нравятся, и вскоре спохватился, что отмечаю практически все» (ДТВ, пер. автора).
- 28 Элизабет Баррет Браунинг — английская поэтесса Викторианской эпохи. Ее муж — поэт и драматург Роберт Браунинг, которого в 1964 г. совместно с Андреем Сергеевым Бродский намеревался переводить на русский (см. их переписку об этом в кн.: Андрей Сергеев. Omnibus: Альбом для марок. Портреты. О Бродском. Рассказки. М.: НЛО, 1997. С. 427). Ср. дневниковую запись Венцловы от 2 июля 1973 г.: «Скрываюсь от призыва в армию (четвертого июля забирают большой контингент) и читаю Браунинга, восторгаясь [стихами] „Fra Filippo Lippi“, „Abt Vogler“», а также запись от 5 июля того же года: «Браунинг имеет точки соприкосновения с Бродским» (ДТВ, пер. автора).
- 29 Nie zabraknie (польск.) — «хватит, будет достаточно».
- 30 В письме Венцловы от 12 июня 1973 г. Бродский писал: «Пытаюсь сочинять стишок про Ассизи, пока впусую, — а в постскрипуме к этому письму добавлял: — Напиши стишок как св. Франциск разговаривает с птицами. Я не могу» (LLTI F955; см. публикацию этого письма и комментарии Донаты Митайте в «Baltos lankos» (1999. Nr. 11. P. 269–276). 25 июня Венцлова записал в дневнике: «Бродский в письме предлагал написать о разговоре св. Франциска с птицами. Как ни странно, сегодня я это сделал. Не знаю, получились ли стихи» (ДТВ, пер. автора). Речь идет о стихотворении Венцловы «Колодец крут, но в черноте его...», эпиграфом к которому служит постскрипум из письма Бродского: «Напиши стихи о разговоре с птицами. Из письма» («Parašyk eilėraštį apie pokalbį su paukščiais. Iš laiško») (Томас Венцлова. Негатив белизны = Negatyvu baltumas. Стихи разных лет / Пер. В. Куллэ и др. М., 2008. С. 52). Митайте справедливо отмечает, что «[э]то, по-видимому, редкий случай, когда Бродский пытался передать другому поэту свой нереализованный замысел» (Доната Митайте. Томас Венцлова. М., 2005. С. 84).

- 31 См. примеч. 7.
- 32 Костел Св. Рафаила (1702–1709) — вильнюсский памятник позднего барокко, расположен на правом (высоком) берегу р. Нерис (Вилия), недалеко от Зеленого моста. Венцлова жил на ул. Пожелос (теперь — A. Goštauto g.) с 1973 г. до эмиграции. Пранас Моркус до сих пор живет в этом доме.
- 33 Panelė (лит.) — «барышня». Дочь Томаса Венцловы и режиссера Шяуляйского драматического театра Натали Огай Мария Венцловайте (в замужестве Maria Chaffee) родилась 9 сентября 1973 г. Сын Венцловы и А. Ф. Черновой Андрей родился в 1968 г.
- 34 По адресу ул. Цвикрос, д. 24, кв. 1 (теперь ул. Паменкальнė, д. 34) Томас Венцлова жил с родителями с 1947 по 1970 г. Сейчас здесь находится Дом-музей семьи Венцлова.
- 35 Речь идет об Андрее Сергееве и Андрее Кистяковском — известном московском переводчике Фолкнера, Ф. О'Коннор, Артура Кестлера, Толкиена и др.
- 36 См. биографию Есенина, написанную Ворошильским: *Wiktor Woroszyński. Życie Sergiusza Jesienina. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973. Middlebrow (англ.)* — «среднего уровня».
- 37 24 мая 1973 г. Бродскому исполнилось 33 года. В письме Венцлове от 12 июня он писал: «Это странная вещь, и ты не согласишься, но есть какая-то оптимальность в этой цифре, потому что возможны только повторения» (LLTI F955).
- 38 «Мне тридцать три года, — поспешно сказал Остап, — возраст Иисуса Христа. А что я сделал до сих пор? Учения я не создал, учеников разбазарил, мертвого Паниковского не воскресил...» (*Илья Ильф, Евгений Петров. Золотой теленок. Глава XXXV*).
- 39 То есть необязательно Нагорную проповедь.
- 40 См. трактат Фомы Кемпийского «О подражании Христу». Фома — русифицированная форма имени Томас.
- 41 *Christine Brooke-Rose. A ZBC of Ezra Pound. Berkeley: University of California Press, 1971* (название книги — не «ABC», а «ZBC» — вероятно, отражает модернистский предмет исследования). Эту книгу позднее прислал Венцлове его московский друг, художник и поэт Олег Прокофьев, к этому времени уже эмигрант.
- 42 Beinecke 613. Box 15. Folder 414.
- 43 Насколько известно, Бродский не бывал в Клайпеде и мог лишь проезжать ее, например, по пути из Вильнюса в Палангу. Скорее всего, речь идет о стихотворении Венцловы «Диалог зимой» (1971), отсылающем к стихам Бродского (особенно к «Горбунову и Горчакову», 1968) и упоминающем автору о личном общении в Литве до 1972 г. Возможно также, что под «холодом гостиницы» — тоже в расширительном смысле — имеется в виду ресторан гостиницы «Rajūris» в Паланге, где Венцлова и Бродский встречались в 1968 г. Так, комментируя стихотворение Бродского «Подруга милая, кабак все тот же...», написанное в 1968 г. в Паланге, Венцлова отмечает, что «„пилот почтовой линии [«один, / как падший ангел, глушит водку»]” — это русский летчик, встреченный Бродским в Паланге, в ресторане гостиницы „Rajūris“, а сам ресторан и есть „кабак“, упомянутый в первой строке» (*Томас Венцлова. Статьи о Бродском.*

- М., 2005. С. 45). См. также первое стихотворение литовского цикла Бродского «Коньяк в графине — цвета янтаря...» (1967), написанное в Паланге на год раньше.
- 44 Строка из стихотворения Ахматовой «Предыстория» (1945) о Петербурге XIX в. и одновременно о послевоенном Ленинграде.
- 45 26 февраля 1974 г. Венцлова подал документы в сектор философии Академии наук, куда 11 апреля был принят на место младшего научного сотрудника. «Перейдя на статус „открытого“ диссидента, ушел. Реальной работы там не было» (из электронного сообщения Томаса Венцловы Я. Клоцу от 21 декабря 2008 г.; ДТВ).
- 46 В феврале—марте 1974 г. Венцлова перевел на литовский около десяти стихов Роберта Фроста, в т. ч. «Пастбище», «После сбора яблок», «Березы», «Огонь и лед», «Остановка в лесу вечером в снегопад», «Ручей, текущий на запад». Ср. дневниковую запись Венцловы от 27 февраля того года: «Немало труда с Фростом. Стихи очень хороши» (ДТВ, пер. автора). Книга, однако, так и не вышла. Поэтические переводы Венцловы, в т. ч. из Фроста, собраны в кн.: *Tomas Venclova. Kitair. Poezijos vertimų rinktinė*. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006.
- 47 О ранних постановках пьесы Жарри «Король Убу» в переводе Венцловы см. примеч. 26. В оригинале пьеса начинается словом «Merdre!» (*от фр. merde* — «говно»). «По-литовски — получается: в слово „šūdas“ (литовский эквивалент. — Я. К.) подставить „г“, и получится „šgūdas“. [...] На этот вопрос Бродский не ответил. Неологизм вошел в литовский язык — его до сих пор можно услышать» (из беседы Я. Клоца с Томасом Венцловой. 1 ноября 2008. Нью-Хейвен, США). По подсказке Пранаса Моркуса заглавие пьесы Венцлова перевел как «Karalius Juoba», специально для непристойности: «juoba» (*лит.*) означает «тем более», но звучит как русское, всем известное в Литве слово. Пьеса была напечатана и шла в театре под замененным редакцией названием «Karalius Ūbas», но в переводе, переизданном отдельной книгой в 1998 г., Венцлова восстановил свое название, см.: *Alfred Jarry. Karalius Juoba / Vertė Tomas Venclova*. Vilnius: Baltų lankų klasika, 1998.
- 48 Пьесу венецианского драматурга Карло Гольдони «Кюджинские перепалки», написанную на кюджинском диалекте итальянского, Венцлова перевел с 18 по 4 мая 1974 г. (ДТВ). Напечатана она не была, но шла в Шяуляйском театре с 1974 г. (постановка восстановлена в 1991 г.).
- 49 См. примеч. 33.
- 50 *Weincke* 613. *Vox* 15. *Folger* 414. Письмо написано в Москве, в доме профессора-кибернетика Александра Лернера, многолетнего «отказника», имевшего связь с Западом и эмигрировавшего в Израиль в 1988 г. (из беседы Я. Клоца с Томасом Венцловой. 1 ноября 2008. Нью-Хейвен, США).
- 51 Писем Венцловы Бродскому, написанных после 27 апреля 1974 г., до этого момента, не обнаружено.
- 52 К этому времени Венцлова получил приглашение на работу в Мичиганский университет в Энн-Арборе с печатью, имевшей как будто фальшивый вид (из беседы Я. Клоца

- с Томасом Венцловой. 1 ноября 2008. Нью-Хейвен, США). Само приглашение не найдено.
- 53 9 мая 1975 г. Венцлова написал открытое письмо в ЦК Литвы, в котором, в частности, заявлял о собственной несовместимости с коммунистической идеологией и просил выпустить его за границу (Томас Венцлова. Свобода и правда. М., 1999. С. 11–12). Этот документ впервые появился в печати на литовском в эмигрантском журнале «Draugas» (1975. № 12. Р. 15), затем на английском в журнале «Lituanus» (1976. № 3. Р. 76–77), где Бродский и мог его прочитать (журнал выписывала приятельница и соседка Бродского по Нью-Йорку Маша Воробьева). В ноябре 1976 г., т. е. через месяц после написания этого письма Бродскому, Венцлова вступил в Литовскую Хельсинкскую группу, активным членом которой оставался и в эмиграции. См., например, его очерки: О Литовской группе содействия выполнению Хельсинкских соглашений // Хроника защиты прав человека в СССР. 1977. Вып. 25. С. 31–34; Хельсинкская группа в Литве // Вильнюс. 1997. № 5. С. 130–148; и др.
- 54 Первое приглашение из Университета Калифорнии в Беркли было организовано Чеславом Милошем и отправлено Венцлове еще 25 июня 1975 г. Повторное приглашение, по которому Венцлова и получил выездную визу, было отправлено 8 октября 1976 г. (архив Томаса Венцловы. Weinecke 732. Box 12. Folder 5). В Беркли Венцлова преподавал в течение одного семестра весной 1977 г.
- 55 В сентябрьском номере журнала «Континент» за 1976 г. вышло стихотворение Венцловы «Памяти поэта. Вариант» в русском переводе Бродского. Сам Венцлова тоже посылал свои стихи в редакцию журнала, в частности через режиссера Йонаса Юрашаса, эмигрировавшего в 1975 г. Этот номер «Континента» Венцлова видел перед самым своим отъездом из Литвы в январе 1977 г. (из беседы Я. Клоца с Томасом Венцловой. 1 ноября 2008. Нью-Хейвен, США).
- 56 Речь идет о выступлениях Бродского о Венцлове в американской печати: 1 апреля 1976 г. газета «The New York Review of Books» опубликовала его письмо в редакцию под названием «Fate of a Poet» («Судьба поэта») (Vol. 23. №5). Номер газеты был доставлен Венцлове в Вильнюс через литовских эмигрантов: «Это был кто-то из „Сантары“, т. е. окружения будущего президента Адамкуса. Когда я открыл дверь на звонок, человек без слов вручил мне вырезку и исчез. Таковы тогда были нравы (американцы боялись слезки больше, чем мы)» (из беседы Я. Клоца с Томасом Венцловой. 1 ноября 2008. Нью-Хейвен, США). Об обществе «Сантара-Швиеса» см. примеч. 61.
- 57 О какой именно передаче на русскоязычных радиостанциях США идет речь, установить не удалось. Грюнвальдская битва (1410) — решающее сражение в истории «Великой войны» (1409–1411), увенчавшееся разгромом войск Тевтонского ордена армией Великого княжества Литовского и Польского королевства под предводительством Витовта.
- 58 Бродский пытался организовать издание книги стихов Венцловы в престижном издательстве «Penguin», однако из этого замысла ничего не вышло.

- 59 Первый сборник стихов Венцловы «Kalbos ženklas. Eilėraščiai» (Vilnius: Vaga, 1972). Сохранился экземпляр этого издания с дарственной надписью Венцловы Бродскому на литовском: «Josifui Brodskiui — perskaityk ir suprask. 72. III. 17. Tomas» («Иосифу Бродскому — прочитай и пойми. 17. III. 1972. Томас») (домашняя библиотека Бродского в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Санкт-Петербург).
- 60 Аушра Слуцкайте-Юрашене — писательница и критик; эмигрировала в США с мужем режиссером Йонасом Юрашасом в 1975 г.
- 61 Лютас Моцкунас — журналист и писатель, по образованию инженер, деятель литовского эмигрантского движения в США; вернулся в Литву в 2005 г. «Сантара-Швиеса» (Santara-Šviesa; букв. «Согласие-Свет») — либеральное общество литовской эмиграции, основанное в 1957 г. социологом Витаутасом Каволисом. В сентябре 1976 г. Бродский посетил съезд «Сантара-Швиеса» в Табор Фарм под Чикаго, где говорил о Венцлове и читал посвященный ему «Литовский дивертисмент» (первый перевод этого стихотворения на литовский был выполнен Юргисом Блакайтисом именно тогда). Президентом общества в то время был Валдас Адамкус, будущий президент Литвы в 1998–2003 и в 2004–2009 гг. См. интервью Бродского Альгирдасу Антанайтису и Лютасу Моцкунасу «Rašytojas uga kalbos įrankis» («Писатель — орудие языка»), опубликованное в журнале «Akiračiai» (1976. Nr. 10. P. 15–16; русский перевод Рамунаса Катилюса-младшего в кн.: *Иосиф Бродский. Книга интервью*. М., 2006. С. 41–45).

Диана Абаева-Майерс

Разговоры с небожителем

С Иосифом меня ранней осенью 1966 года в Ленинграде познакомил мой друг Ромас Катилюс сразу по возвращении из Литвы, куда он ездил на каникулы со своей красивой женой Элей. У него в конце августа в Вильнюсе гостил Иосиф. Ромас в Ленинград приехал переполненный Иосифом — было ясно, что встреча с Иосифом стала для Ромаса не просто знакомством, а необычайным событием. Как я убедилась позже, не только для него. Иосиф налетел на Вильнюс, как вихрь, сбив с привычной колеи всех так или иначе причастных к его приезду, закрутив в водовороте, который всегда и везде вокруг него образовывался. Одним словом, в Вильнюсе произошло то, что происходило везде, где Иосиф появлялся. В него влюблялись, на него обижались, от него были в восторге или могли невзлюбить, но волны, которые он распространял вокруг себя, поглощали всех, и все заражались и заряжались энергией, которая от него исходила. Когда я несколько месяцев спустя гостила в Вильнюсе, о нем говорили так, как будто он только что вышел из комнаты. Я остановилась в старинном, с покосившимися полами доме Катилюсов,

который находился на улице Лейиклос, в самом центре старого Вильнюса, где незадолго до меня жил Иосиф. В августе 1966 года Иосиф приехал в Вильнюс, его пригласили братья Катилюсы пожить в доме на Лейиклос.

Катилюсы обменяли этот прекрасный, но запущенный дом на новую бесхлопотную квартиру в новом районе для родителей, а Ромас с Элей получили большую комнату в коммуналке в Ленинграде. В их вильнюсском доме поселились Виргилиус Чепайтис с женой Натали Трауберг. Из Катилюсов в старом доме остался жить только очаровательный брат Ромаса Адас. Интеллигентная Натали, принявшая католичество, взяла на себя роль Павла и прозелитствовала, посвящая по вечерам местную молодежь в жития святых, в Библейские таинства и Деяния апостолов.

Будучи в гостях у Натали, Иосиф оскорбил ее тем, что демонстративно оборвал свой визит в середине вечера. Позже она мне поведала, какой он невоспитанный, и обозвала его биндюжником. Надо сказать, что вид у Иосифа не был хрупкий, но на биндюжника он все же никак не тянул. В те времена он любил эпатировать родную интеллигенцию и резко обрывал общение, если ему что-то не нравилось или он чувствовал себя неуютно при ком-то. Причиной могла послужить претенциозность, чопорность, самодовольство или тупость тех, с кем он общался. Так, в свое время скандалом закончилось одно из его немногих публичных выступлений, где его попросили прочитать старые, знакомые стихи вместо недавно написанных, неизвестных, а потому требующих некоторого умственного напряжения.

В Вильнюсе началась дружба Иосифа с Томасом Венцловой и Ромасом Катилюсом, которых он нежно любил до конца своей жизни. (Много лет спустя Толя Найман мне сказал, что он невзлюбил Ромаса, потому что Иосиф, знакомя Ромаса с людьми, приговаривал: «Его надо любить».)

Итак, в один прекрасный день, вернее вечер, Ромас ко мне в ленинградское общежитие привел Иосифа. Он вроде бы отнекивался, мол, «еще одна филология». Однако он пришел, вошел в мою жизнь, как в комнату, и остался в ней навсегда. Иосиф не так давно вернулся из ссылки, за ним следили, телефон его прослушивался, на его имени был запрет. Я помню, в один из первых ко мне визитов он блаженно сказал: «Самое замечательное то, что никто не знает, где я». Я автоматически выглянула в окно и увидела возле подъезда в свете фонаря человечка, топчущегося на месте на обледенелом, покрытом снегом дворе, похлопывающего себя руками, чтобы не заоченеть окончательно — было градусов 20 мороза и часа 4 утра. Он, безусловно, был на работе, и работа у него была тяжелая и весьма неблагодарная. Мы между тем сидели в волшебном тепле и из английских полосатых кружек попивали старку и наслаждались стихами.

Иосиф одобрительно изучал стоявшие у меня на полке книги — то были тамиздатские тома Мандельштама, Цветаевой, Ахматовой, Гумилева, Кузмина, Клюева... Трудно сказать, почему они так спокойно покоились на полке в общежитии, так как это была запрещенная литература и подобные вещи при попытке провоза через границу конфисковывали.

Потом он читал стихи, написанные на Севере — «в деревне», как он говорил, — стихи для меня новые, спрашивал: «Ну как?» — я как-то комментировала. Помню, меня поразило, с каким интересом он прислушивался к моим замечаниям и насколько равнодушен был к похвале. Когда же я обращала внимание на что-то, чем он и сам был особенно доволен, он расплывался в своей невероятно детской, какой-то беспомощной и обезоруживающей улыбке, как бы выражающей смущение и удивление, что из-под его пера вышло такое. Я иногда спраши-

вала: «Откуда это? Как это тебе пришло в голову?» — на что он с растерянным видом отвечал: «А я и сам не знаю».

Мы как-то сразу сблизились. Мне особенно запомнилась прогулка зимой по заснеженному Летнему саду, голос Иосифа и стихи, звонко звучащие в холодном морозном воздухе. Бывали у Катилуосов. Еще ходили в Дом кино на просмотр фильма «Красный шар», с которого он решил уйти. Я успела увидеть Иосифа в незнакомой мне тогда ипостаси. К нему подошел молодой господин с серьезным сосредоточенным лицом и завел какой-то серьезный разговор. Меня поразило то, с каким пиететом он смотрел на Иосифа и каким важным и значительным выглядел Иосиф. Это был не Ося и даже не Иосиф, а Иосиф Бродский.

Тогда я была аспиранткой с временной пропиской в общежитии, и, когда эта злополучная прописка кончилась, Иосиф пригласил меня пожить у него.

Иосиф с родителями жил в «полутора комнатах» в знаменитом доме Мурузи, с балкона которого недовольная поворотом событий Зинаида Гипшиус выкрикивала антисоветские речи.

Большая комната с огромной красивой голландской печью служила гостиной, столовой и спальней родителей, а «половина» была разделена на две части двумя огромными шкапами. В темной части за шкапами располагалась фотолаборатория Александра Ивановича, отца Иосифа, а во второй, с высоченным окном, стояли большой письменный стол и потрепанный диван, или станок, как его называл Иосиф.

В квартире царствовал черный кот с белой мордочкой, белым воротничком и белыми лапками.

В квартире царила атмосфера тревожного покоя и обожания. Родители души не чаяли в сыне, он тоже их обожал и обращался к ним Кот и Киса, они же его звали Осей. По возвращении Марии Моисеевны, мамы Иосифа, с работы все садились за стол.

Эти обеды достойны того, чтобы их воспеть, ибо Мария Моисеевна готовила отменно. Иосиф обожал ее котлеты и уплетал их с заразительным аппетитом. Второй его слабостью были пельмени — обычные магазинные замороженные пельмени.

Уже в Лондоне я часто жарила ему нечто, что я называла люля-кебабами, так как котлеты мне не удавались. Тем не менее он их ел с большим удовольствием и, когда я однажды спросила: «За что ты их любишь? Что, они тебе мамыны котлеты напоминают?» — он признался, что да. Однажды он пришел ко мне, когда я отдыхала у себя в саду, и написал экспромтом стишок:

Эту песню соловья
Написал Иосиф, я.
Песню слышно издаля:
«Ляля, Ляля, где люля?»

Тревога и напряжение в квартире были вызваны тем, что Иосифа нигде не печатали, ему не давали даже подработать переводами и вынуждали вести тот самый «тунеядский» образ жизни, за который его судили: то есть он не зарабатывал, жил за счет родителей, сочинял стихи и вообще занимался всякой метафизикой — переводил Джона Донна, например. Иногда родители попрекали Иосифа, почему он не может жить по-человечески, как Евтушенко, например.

В связи с моментальной славой за границей, вызванной арестом, судом и ссылкой, по поводу чего Ахматова сказала: «Какую биографию делают нашему рыжему!» — или что-то в этом роде, власти даже готовы были позволить издать Иосифа с условием, что сборник откроется «паравозиком», то есть приемлемым для властей, «идейным» стихотворением, как это было принято. У Иосифа таких, конечно, не было, и кто-то предложил

в качестве «паровозика» стихотворение, написанное еще в ссылке, с фразой «народ мой судия». Упоминание слова «народ», узурпированное официозом и совписами, вроде бы делало стихотворение советским, но его напечатание выглядело бы как сдача позиций, и Иосиф отказался.

Денег у него совсем не было, и я помню как неловко он себя чувствовал в кафе «Север», куда я его пригласила. Друзья сильно помогали ему: подбрасывали работу, переводы. При мне Сергей Юрский приносил деньги.

Все это, мягко выражаясь, раздражало власти, что понять было можно. Они работали, но работа их помимо запугивания имела своего рода благотворный эффект. Она лишала жизнь рутины, внося в нее напряжение и состояние ожидания. Завтра всегда могло оказаться не таким, как сегодня. Жизнь заполнялась слухами: кого-то откуда-то исключили, а кого-то и посадили. Для некоторых все это служило неисчерпаемым источником вдохновения, а иногда кого-то печатали, что уже было настоящим событием. Тогдашняя жизнь кажется теперь ненормальной, но ее можно назвать и необыкновенной. Необыкновенным было, когда вдруг печатали Мандельштама или Платонова, ставили «Горе от ума» с Юрским и сенсационной, крупными буквами цитатой на занавесе: «„Черт догадал меня родиться в России с душою и талантом“ А. С. Пушкин», показывали фильм Бергмана или устраивали выставку живописи XX века. Все это создавало иллюзию напряженной интеллектуальной жизни.

Когда я из Ленинграда уехала в Тбилиси, где родилась и была постоянно прописана, чтобы подать на визу в Англию, началась наша с Иосифом переписка, которая продолжалась до 1972 года, когда, к сожалению, стало возможно звонить, просто набрав номер, и мы, увы, стали перезваниваться.

То, что я вдруг получила визу и реально собралась в Англию, было даже чудом.

В те времена поездки на Запад были крайне необычны и расставание всегда могло оказаться последним. Я вылетала в Лондон из Москвы, и Иосиф специально приехал из Ленинграда попрощаться со мной. Прощание было грустным, казалось, что мы прощались навсегда. Оставлять его было особенно тяжело, потому что в то время он жил в состоянии постоянного напряжения, даже отчаяния, как будто жить на родине ему было невозможно. Он вручил мне букет осенних цветов, и я пообещала возложить их к надгробию Джона Донна, которого он только что перевел.

Мы с моим мужем Аланом понеслись прямо из Хитроу в собор Святого Павла и положили цветы у ног изваяния Джона Донна, стоящего в белом саване и смиренной позе в узенькой нише собора. Места для цветов было мало, они все падали на пол, и я с тревогой смотрела на приближавшихся к нам двух женщин с венками, и, чтобы они не вымели цветы Иосифа, я стала объяснять им, что это цветы от поэта из России. К нам подошел священник, внимательно выслушал и понимающе расплылся в приветливой улыбке.

Году в 19 68-м я совершила тур по городам, в которых я в разное время обитала: Ленинград—Тбилиси—Цхинвали—Москва. К моей великой досаде, в Ленинграде Иосифа не оказалось, так как он гостил у Томашевских в Крыму. К моей радости, он заехал ко мне в Тбилиси. Мы бродили по городу и то и дело заходили в хинкальные (хинкали — это грузинский вариант обожаемых Иосифом пельменей, только покрупнее и с начинкой из баранины, но ел он их с неменьшим наслаждением). Я сводила его в небольшую забегаловку на взбирающейся в гору улочке, где за металлическими стояками водители междугородних автобусов

самозабвенно уплетают лучшие хинкалы в мире, запивая их пивом. Ходили мы и в менее колоритные и более уважаемые, даже шикарные хинкальные, и хотя хинкалы везде были вкусны, те хинкалы были непревзойденными.

Провел Иосиф в Тбилиси всего несколько дней. Он побывал в гостях у группы грузинских поэтов, и ко мне домой, помнится, привел его поэт Отар Чиладзе, которого в свое время Иосиф переводил. Позже мне мой грузинский знакомец рассказывал, что нечаянный визит Иосифа событием не стал, так как в те годы его в Грузии почти не знали, а привечали там Евтушенко, который часто бывал в Тбилиси, писал о нем и дружил с тамошними поэтами. Тут можно провести параллель с Пастернаком, дружившим с грузинскими поэтами, которых он переводил и которые его любили, и Мандельштамом, визит которого в Грузию тоже прошел незамеченным.

При всех радостях поездка моя не была безоблачной. КГБ тогда еще правил бал. И за мной по известной только им причине — подозреваю, ради галочек или для запутывания, чтобы было непонятно, — установили слежку. Началась она еще в Ленинграде, в гостинице «Европейская», где я покупала английские сигареты. Потом я встречалась с другом Иосифа Гариком Восковым на набережной Фонтанки, где за нами наблюдала грудастая блондинка в старомодной пышной прическе. Затем появился молодой человек, тот, что следовал за мной из гостиницы, или родной его брат. Все они были в синих плащах почему-то. Он стал меня теснить из очереди за такси, явно нарываясь на драку с Гариком, однако смекалистый Гарик вдруг сорвался с места, перебежал через мост и скрылся в подворотне на противоположном берегу канала, помавав мне на прощанье рукой. Гэбэшник ринулся было за ним, но за Гариком ему было не угнаться.

То же самое было в Тбилиси, где ко мне были приставлены два белозубых, нахально улыбающихся мне красавца, на что я во время регистрации пожаловалась работнику ОВИРа, и слежка прекратилась, во всяком случае явная. Там, правда, меня попытались завербовать в доносчики, но я так и не поняла, на кого я должна была доносить. А в Новосибирске в КГБ мою подругу спрашивали, что я из себя представляю как женщина. В общем, мною в органах интересовались, и, подозреваю, этот интерес был вызван моей дружбой с Иосифом. Хотя бес их знает.

Позже, начиная с какого-то момента, ездить в Союз я вообще перестала. Частично во избежание подобных неприятностей, в основном же из солидарности с эмигрировавшими оттуда друзьям, включая Иосифа, которым поездки домой были заказаны. Возможно, «там» как раз этого и добивались.

Где-то в 1968 году моя коллега и подруга Фейт Вигзелл ездила в СССР в научную командировку. Я ей дала телефон Иосифа, и они встретились. Красивая длинноногая блондинка Фейт полностью соответствовала женскому идеалу Иосифа, и он тут же в нее влюбился, был «овигзелен», как он позже это называл. Он посвятил ей «На Прачечном мосту» и ряд других стихотворений и даже сделал предложение. Она, однако, в последний момент смалодушничала и вскоре вышла замуж за смазливового американца.

Прошло несколько лет. И вот в 1972 году в мае КГБ сделал Иосифу великолепный, пусть и непрошенный, подарок — ему предложили уехать из страны. О том, как это именно произошло, существует несколько версий. Одна из них изложена Соломоном Волковым в «Разговорах с Бродским».

Мне Иосиф рассказывал, что решали его судьбу Евтушенко и Андропов, которые были между собой в дружбе со времен международного фестиваля молодежи в Москве. Они решили,

что Иосифу надо дать визу на постоянное жительство в Израиль. (В те годы, как известно, для простых смертных это был единственный путь на Запад.) Евтушенко об этом разговоре Иосифу не сообщил, чего Иосиф не мог простить Евтушенко до конца жизни. Иосиф утверждал, что, хотя он и непрочь был посмотреть на Европу, уезжать навсегда ему не хотелось. К тому же выезжать по еврейской линии, а не как полноценный гражданин, ему казалось унижительным. Однажды, еще в начальной школе, в годы сталинского антисемитизма в ответ на вопрос: «Кто ты по национальности?» — маленький Ося расплакался и выбежал из класса. Кем бы он ни был по крови, по умонастроению он был космополитом, по нравственным нормам — христианином, он был гражданином своей страны и желал невозможного — быть свободным в несвободной стране. Благодаря бесстрашию ему это удавалось — в нем всех поражало и восхищало чувство свободы и независимости.

Так или иначе, в середине мая с ним связались органы и поставили ультиматум, смысл которого заключался в том, чтобы он сделал выбор между Западом и Востоком, то есть свободой и новой ссылкой. Иосиф выбрал свободу и оказался в Вене. Бернард Мирс, наш общий знакомец, приехал к нему и сделал замечательные снимки Иосифа, лежащего на траве где-то под Веной.

И вот однажды рано утром раздался телефонный звонок, и я услышала в трубке голос Иосифа: «Привет, Киса. Проснулась? Жду тебя на Трафальгарской площади у левой лапы льва. Поскорее только». Я как могла быстрее — такси, поезд, такси — приехала на Трафальгарскую площадь. И я увидела идущего мне навстречу, улыбающегося Иосифа. Мы обнялись, и тут он мне шепчет на ухо: «Срочно — в нужник». Ближайшим оказался онный в Национальной галерее, куда я его и сводила. Выяснил он,

где справлял нужду, несколько позднее, когда попал в музей по назначению. Дело в том, что он провел ночь у Стивена Спендера, куда его привез из Вены Оден, и он по русской привычке постеснялся попроситься в туалет, промучившись целые сутки.

Вечером Оден представил Иосифа английской публике, когда они вдвоем читали стихи в Queen Elizabeth Hall, и мне посчастливилось быть представленной Оденом, чье потрясающее лицо, испещренное глубокими морщинами, и крупную сутуловатую фигуру в помятом мешковатом костюме мне никогда не забыть.

Тогда я жила в 30 километрах от Лондона, и ночевали мы у Наташи и Питера Норманов. Речь тут же зашла о Солженицыне, который еще находился в Союзе и был в немилости у властей. И Иосиф в ответ на восторги вдруг разразился антисолженицынской тирадой, утверждая, что никакой разницы в позициях между Солженицыным и властями нет, и что они стремятся к одному и тому же, и уж точно не к демократии. В общем, вечер закончился скандалом а-ля Достоевский — Наташа, для которой Солженицын был царь и бог, в ужасе хваталась за сердце, Питер не знал куда глаза деть, я пыталась примирить две непримиримые позиции. Утром мы отзавтракали в Хэмпстеде, где у Иосифа была встреча с Аль Альваресом, после чего поехали к нам в Welwyn Garden City, куда позже съехались слависты на прием, который я устроила в честь приезда Иосифа.

Хорошо помню, как я его повела на Пэлл-Мэлл, царство эксклюзивных клубов, в стенах одного из которых Филеас Фогг держал пари, что за 80 дней совершит путешествие вокруг земного шара. Целью нашего менее длинного путешествия был «Атенеум», клуб писателей, философов и прочих привилегированных гуманитариев, где у Иосифа была назначена встреча

с Исайей Берлиным. Исаяя вышел в торжественном костюме, с часами на золотой цепочке, которые он обычно носил. Иосиф был в джинсах, ничего другого у него тогда не было и быть не могло, ибо в те времена в Союзе джинсы были в моде, и молодежь ходила, как правило, не в фирменных, а в доморощенных джинсах. На Иосифе же были подлинные левайсы. Иосиф уверенно, словно завсегдатай, прошел с Исайей мимо важного портье и скрылся в прохладной сумеречной глубине знаменитого клуба. Несколько позже, в Ленинграде у Бродских, в присутствии Ромаса и Эли Катияусов, я рассказывала о пребывании Иосифа в Лондоне, о встрече с Исайей Берлиным и, чтобы подчеркнуть контраст, я употребила фразу: «И Ося в своих задрипанных джинсах так уверенно вошел в „Атенеум“...» Мария Моисеевна обиделась: «Как же так „задрипанные“?! Я же их только что ему справила!»

Некоторое время Иосиф жил в Camden Town в полуподвальной квартире Наума Габо, известного художника и скульптора, настоящая фамилия которого Певзнер, но он поменял ее, дабы его не путали со знаменитым братом. Туда к Иосифу приезжал из Италии его друг Джанни Буттафава, прекрасный человек, тоже умерший от инфаркта в 50 лет. Позже мне повезло познакомиться в Риме с его мамой, которая нас по-царски угощала знаменитым римским блюдом из телятины салтимбокка, что в переводе означает «прыгни в рот», и моими любимыми жареными кабачковыми цветами. Это была такая типичная итальянская мама, что, глядя на нее, казалось, что она только что сошла с экрана из фильма Витторио де Сика, и нигде мне Италия не казалась такой аутентичной, как в ее присутствии. Да и сам Джанни был такой же колоритный, и, видно, не случайно он занимался и даже снимался в кино. Джанни долго возился с

Серго Параджановым, знакомя его с Римом, а тот выискивал на барахолках и в антикварных магазинах необычную всякую всячину, которая могла бы пригодиться ему в фильмах.

А новый, 1974 год мы встречали в Венеции. ЭТО ОДНО ИЗ САМЫХ ВОЛШЕБНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ В МОЕЙ ЖИЗНИ. ОТЕЛЬ «Accademia», любимый постой американских ученых, Иосиф выбрал сам. Очаровательный дом, когда-то принадлежавший русскому посланнику в Венеции, с двором, окруженным металлической решеткой и воротами, откуда узкий проход вдоль канала ведет в Академию художеств. Кстати, набережная Неисцелимых находится тоже недалеко, но тогда мы о ней ничего не знали, и до нее предстояло еще пройти большой путь.

Встретили мы Новый год в ресторане на канале и почти под мостом недалеко от Академии художеств. С нами был Бернард Мирс, приехал Струоб Тэлботт со своей будущей женой. Позже он занимал должность Государственного секретаря в администрации Клинтон, с которым был дружен со студенческих лет. Но тогда он был просто большим любителем поэзии, и за столом шел разговор о поэзии и поэтах. Он спросил меня, кого из английских поэтов я люблю. Я назвала Одена. «А что именно?» — допытывался он как-то, как мне показалось, недоверчиво. От неожиданного вопроса ничего, кроме «I love you, dear, I love you... Till the salmon sing in the street», мне в голову не пришло, да и то только на лестнице, так что семга так и не запела и не разбила льда.

Потом мы с Иосифом бродили по ночной Венеции, и у Иосифа произошел забавный музыкальный диалог с группой студентов. Заслышав русскую речь, они запели нам вслед: «Выходила на берег Катюша...» — на что Иосиф, обернувшись,

своим рычащим голосом пропел им в ответ: «Очи черные, очи страстные...» — определив таким образом свою позицию в политическом противостоянии.

После этого последовательность событий у меня нарушается, так как приезжал в Англию Иосиф часто, несколько раз в год, на поэтические фестивали, выступления или просто так — повидаться и отдохнуть.

Помню, как в первый приезд в Лондон его пригласили на радио Би-би-си, после чего мы встретились в кафе неподалеку и выпили кофе. Он торопливо стал рыться в кармане, чтобы опередить меня в уплате, и у него из кармана на стол посыпались деньги. Меня это поразило, потому что я видела впервые Иосифа при деньгах, ибо в Ленинграде у него денег никогда не было. И позже, с кем бы мы ни ходили в ресторан, платил всегда Иосиф. Исключением были Буковский, после долгих споров, и Темирканов, который нас пригласил.

В Англии Иосифу нравилось все — климат, потому что в Америке он летом задыхался от жары, люди из-за размеренного темперамента и из-за английского (не американского) языка, нравилось, как говорят англичане. Однажды он попал здесь в кембриджскую больницу с одним из первых приступов сердца. Ему там понравилось все — обхождение, обращение, разговоры с врачами, уход за ним и то, что у врачей английские имена: «Так приятно, — говорил он, — что здесь врачей зовут Шелдон или Стюарт, а не Певзнер или Гринберг, как это бывает в Америке». Я даже ему однажды по другому, правда, поводу сказала, что если бы он не был евреем, то был бы фашистом. Это когда он ради красного словца назвал Израиль «Жидостан».

Останавливался он обычно у нас, хотя, когда бывала оказия, перебирался в какую-нибудь освободившуюся квартиру друзей,

но всегда где-нибудь поблизости. Тогда мы встречались где-нибудь на ланч. По старой ленинградской привычке он постоянно искал уединения, но одиночества не выносил.

Он часто эпатировал публику, с пиаром у него было слабовато. Выступая однажды в Королевской академии, он выбрал темой своего доклада идею красоты. Возможно, выбор этой темы был предопределен тем, что он недавно женился на красавице Марии Соццани, по материнской линии Бартеневой-Трубецкой. К возмущению социально прогрессивной публики, Иосиф говорил о первенстве эстетики над этикой, и какие-то слушатели обратились в поисках поддержки к присутствовавшему там Исайе Берлину, который, к их разочарованию, заявил, что ему нравится все, что говорит Бродский. Однако, надо сказать, Иосиф действительно не переносил уродства, действительного или воображаемого, не могу сказать, но я была свидетелем, как в присутствии дам, которые ему чем-то не понравились, он бледнел и ему становилось плохо. А когда он описывал этих уродин, мне казалось, что он описывает меня.

Он, вообще, был замечательным собеседником и рассказчиком, но в силу того, что мы проводили много времени вместе, мне доводилось выслушивать какую-нибудь историю или мысль не раз. Однажды я сказала: «Иосиф, ты повторяешься», на что он ответил: «Хорошая мысль достойна повторения». И действительно из этих повторов выкристаллизовывалось нечто замечательное.

Одно время его занимала идея креста. Крест виделся в крестообразной планировке римских городов, в частности Константинополя и, по утверждению Иосифа, крест, приснившийся его основателю, означал экспансию Римской империи, а не христианство, символом которого в то время была рыба. Он излагал

мне эту мысль, когда мы шли из одного университетского здания в другое на Russell Square в Лондоне.

Однажды Иосиф читал стихи в Stock Exchange в Кембридже. Мы пошли на выступление с Володей Буковским, и, когда мы стояли в ожидании начала выступления Иосифа, Володя отошел к находившемуся неподалеку книжному развалу и тут же купил мне «Часть речи». Иосиф нарисовал в ней забавного кота в позе знаменитого венецианского льва с фолиантом и надписью: «Diana tibi». Так мне досталась книжка со случайным автографом Иосифа, которой я весьма дорожу. Он хотя и дарил мне все свои книги, увы, надписывал их крайне редко. Впрочем, он мне однажды подарил сборник «Примечания папоротника» с нежной надписью: «Ляле, в чьем жилище написана и дописана была добрая треть стихотворений, вошедших в эту книжечку, от обожающего ее Жозефа, мужа Марии. С безграничной нежностью. 6-е октября 1990 г. Лондон. Иосиф Бродский». Под надписью нарисован замечательный вальяжный кот с пышным хвостом, лежащий на спине на исписанных листках бумаги, с приподнятой головой.

Однажды он попросил меня передать какую-то книгу, не помню какую, Исаяе Берлину и надписал ее двустушием:

Нет, я не еж, и не лиса я,
Я просто вас люблю, Исаяя

В 1989 году он выступал в Кембридже. В зале оказалась группа отвергнутых Иосифом переводчиков. Как правило, Иосиф требовал, чтобы в переводе сохранялись ритм и рифма оригинала. Они же утверждали, что он недостаточно знает английский язык и не чувствует, что английская поэзия давно не терпит рифму,

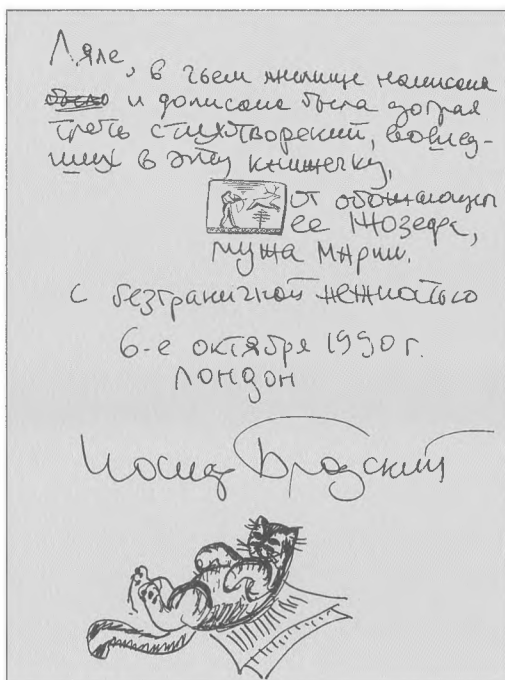


Рис. Иосифа Бродского

настолько она израсходована и банальна, и в общем в современном стихе рифмовать невозможно. Иосиф напомнил, что существует поэт по имени Оден, а потом рассказал анекдот, который кончался словами «Practice, practice, practice...»

Подобные споры происходили не раз даже при мне, так что можно представить себе, с каким упорством досаждали поэту противники рифмы. К сожалению, дело было не только в рифме — большинство этих переводчиков не знали русского и искажали до неузнаваемости смысл оригинала.

По окончании вечера мы поехали к Володе Буковскому, который увлекался тогда французскими винами, и, когда тот открыл бутылку Шато Лафит, Иосиф выпил, проверил марку и прокомментировал: «Не в коня корм». Но водку он пил с удовольствием.

Иосиф был очень дружен с Вероникой Шильц, и мы часто виделись в Париже или в Англии. Мы с ней познакомились у Иосифа в Ленинграде, сразу понравились друг другу и остались друзьями на всю жизнь. Иосиф тогда часто приезжал в Париж, и я обычно там к ним присоединялась. Вероника смеялась, что мы, гуляя, так медленно шли и так увлеченно разговаривали, что у светофора свет успевал поменяться трижды, пока мы переходили улицу. Иосиф обожал устрицы, приобщил меня к ним и возил куда-то к черту на кулички в ресторан около Лионского вокзала, считая, что там они особенно вкусны.

Летом 1976 года Вероника и Иосиф гостили у нас в Лондоне. Мы тогда жили в довольно просторном доме в Восточном Финчли, и в стихотворении «Ист Финчли» Иосиф удивительно точно описал атмосферу, предметы и обитателей нашего дома. Помню, какой-то дотошный критик придрался к словам «любимый Голсуорси пасьянс „Паук“», указав на то, что Голсуорси этого пасьянса не раскладывал. И в самом деле, как я вычитала в книге пасьянсов, по которой разучила «Паука», его любил не Голсуорси, а Сомерсет Моэм. Но мне кажется, что это вполне допустимая поэтическая вольность, тем более что Иосиф, перепутав имена писателей — любителей пасьянса, не перепутал их калибра.

То же можно сказать и о стихотворении «Три рыцаря». В Сити сохранилась круглая церковь тамплиеров XII века, куда я водила Иосифа. Среди прочих надгробий в ней прямо на полу лежит фигура одинокого крестоносца в кольчуге и шлеме. Рыцарь

в доспехах, вероятно, произвел незабываемое впечатление на Иосифа, и ему запомнилось, что их было три. А может быть, ему понадобилось «три» как символ веры, ради которой рыцарь отправился в поход.

Итак, вот мы вчетвером отправились в путешествие по Англии. Заехали в Бёрли-хаус, шедевр елизаветинской архитектуры, где подолгу жила королева Елизавета Первая, и посетили развалины другого дворца той же эпохи, Кирби-хаус, оттуда сохранилась чудная фотография Иосифа, стоящего в небольшой арочной нише стены с книгой в руках. Получилась эдакая живая скульптура смиренного пророка. Переехав через каменный средневековый мост через речку Неве, мы оказались у груды камней, окруженной железной оградой. Это все, что осталось от замка Fotheringay, места заключения, казни и первоначального захоронения Марии Стюарт. Там же родился и Генрих VIII.

По дороге постояли под яблоней, где в свое время Исаак Ньютон увидел падающее яблоко и вывел закон земного тяготения. По оборонительной стене мы обошли Йорк, где родился Оден, но не помню, как Иосиф восхищался готическим собором или городом. По стихотворению «Йорк» видно, насколько ассоциации с Оденем подавили все остальные чувства.

В Whitby, где когда-то высадился Дракула, мы распрощались с Аланом. Он поехал дальше в Ньюкестль, как этот город называл Платонов, а мы пошли искать гостиницу. Нашу поездку подробно описал Алан в своем эссе об Иосифе.

Ночевали мы в комнате на чердаке, где на крыше громко кричали чайки, не давая заснуть. Потом на улице мы прямо из газеты, как это здесь принято, ели fish and chips — рыбу с жареной картошкой. Рыба была явно только что выловлена и на свежем

воздухе так вкусна, что казалось, ни до, ни после я вкуснее рыбы не едала. И вдруг мы увидели сияющего Алана, который обнаружил, что прихватил с собой ключи от машины, на которой мы путешествовали. Найти нас ему помогали все жители Витби, а мы стали чем-то вроде местных знаменитостей. Нам улыбались, расспрашивали о жизни и желали всяческого добра. Такой удивительно доброжелательный народ живет в Витби.

Иосифу там настолько понравилось, что несколько позже он снял комнату в том районе на каком-то острове или полуострове, дабы поработать в уединении, но, как он потом рассказывал, там нечего было есть, и на острове, окруженном морем-океаном, продавалась только замороженная треска. Чему удивляться не приходится, ибо Англия вообще удивительно неприветливая, даже равнодушная в отношении еды страна. Я, однако, подозреваю, что одному ему там стало тоскливо.

Насытившись североморским воздухом, мы отправились обратно домой. Уже на подступах к Лондону наша машина вдруг заглохла. В летних потемках мы разглядели приближающуюся к нам фигуру пожилого мужчины. Он осмотрел машину, поставил диагноз и принес нейлоновый чулок, который он приспособил в качестве ремня передачи, порвавшегося у нас. Прежде чем распрощаться, он полюбопытствовал, откуда мы. Иосиф сказал, что из Америки, я — из России, Вероника, естественно, назвалась француженкой, на что англичанин отреагировал: «Ну вот, все союзники в сборе, теперь нам не хватает только немца». При всей своей сдержанности англичане отзывчивы, чувствительны, заботливы и в отношениях друг с другом бескорыстны, хотя и ценят проявление благодарности.

В эту поездку Иосиф впервые увидел «английские каменные деревни» и городки, построенные из местного серого или

желтого камня вдоль каменной полосы, протянувшейся дугой от северо-востока Англии до северо-запада Франции. Из него построены Йорк, Кембридж, Оксфорд и Бат, соборы и аббатства, а также Котсуолдс, объект нашей следующей поездки. Котсуолдс — это довольно обширный холмистый район, расположенный к югу от Оксфорда, по которому разбросаны очаровательные каменные городки и деревни, с речками, в которых можно наблюдать за форелью, которая там водится в огромном количестве. Ее можно ловить по лицензии, но, поймав, следует пустить обратно в реку. Тем не менее вдоль этих речек повсюду стоят рыболовы с удочками, которые ловят ее не чтобы съесть, а ради спорта.

В одной деревне мы остановились у изгороди, за которой мирно паслась лама. Она подошла к нам, и мы некоторое время стояли, умильно уставившись друг на друга. И тут лама вдруг смачно плюнула прямо в рот Веронике, после чего Вероника, захлебываясь вместе с нами от смеха, долго отплевывалась — мы тогда с удивительной готовностью смеялись по любому поводу.

Несколько раз мы ездили в Брайтон повидаться с приятельницей Иосифа Лиз Робсон и Татьяной Максимовной Литвиновой, которую Иосиф очень любил. С семьей Литвиновых-Слоним — с Татьяной Максимовной и ее мужем Ильей Львовичем, скульптуру которого Иосиф высоко ценил, их дочерьми Машей и Верой Слоним — он сблизился еще в Москве. Брайтон Иосифу пришелся по душе, и он дважды ездил туда на отдых. Первый раз он остановился в гостинице, где на второй день после его отъезда ирландские террористы взорвали ее, покушаясь на жизнь Маргарет Тэтчер, во второй раз его пригласила жить в своей квартире Татьяна Максимовна, где Иосиф просто блаженствовал. Он сделал ряд очаровательных рисунков углем интерьера квартиры и видов из ее окна — я помню, как он, выглядывая

из окна, блаженно улыбался от вида на море. Рисунки эти он оставил у меня. У него была привычка невзначай что-нибудь мне оставлять — рисунок, оксфордский диплом, первые переводы Кавафиса, разные тексты.

От составителя. С разрешения Дианы Абаевой-Майерс публикуем ее письмо от 5 ноября 1987 года из Лондона, адресованное Рамунасу Катилюсу (письмо получено в Ленинграде 9 декабря 1987 года), освещающее ее дальнейшее общение с Иосифом Бродским:

Ромас, вот отчет о Дне Великого Торжества. <...> Насчет премии я почти не сомневалась, особенно когда их двое осталось. (Сначала было шесть человек, потом накануне в газетах писали, что осталось двое.) Собственно, мне один швед еще летом сказал, что у него большие шансы. Я об этом не говорила даже самому Иосифу. В общем, это решалось в час в четверг, и я в час с чем-то позвонила с работы Алану, который мне сказал, что he's got it! и что об этом сразу же в час сообщили по радио, прервав концерт. В тот же день об этом было в газете «Evening Standard» с указанием на то, что он самый молодой нобелевский лауреат в истории (как оказалось, Камю был чуть моложе). «Evening Standard» — популярная, выходящая огромным тиражом, а не интеллектуальная газета. На второй день все газеты вышли с огромным портретом на первой странице, и в каждой газете по 2 статьи (а в одной даже 3) об Осе — одна о присуждении Нобелевской премии, о том, где он в это время был, как реагировал, что ел, с кем сидел, а вторая — о «жизни и творчестве». Самое приятное то, что все хором одобряли присуждение, т. е. считали его заслуженным, даже подчеркивали этот факт, противопоставляя его предыдущим «сомнительным» или

спорным решениям. В общем, настоящий праздник. Вечером мы обедали впятером у хозяев Иосифа; без конца звонил телефон, конечно, хотя «никто» не знал, где он живет. Днем, говорят, дом осадили журналисты, которые прямо на улице, на лужайке сидели и строчили свои статьи. Я, увы, была на работе и пропустила это зрелище. Мой приятель, сидя на вилле в Португалии, случайно включил радио и услышал интервью по-русски (BBC). Стал крутить ручку старинного приемника и услышал на всех языках — Хозе, Джузеппе, Жозéф, Джóзеф... Вообще забавно, что все рассказывают о том, при каких обстоятельствах они узнали эту новость, прямо как... Но лучше этих параллелей не проводить.

Сам Ося воспринял все это замечательно: «Смешно, правда?» или «Как тебе это нравится?» Он выразил опасение, что теперь ему придется взвешивать каждое слово, а же, наоборот, возразила, что теперь он может пороть любую чушь и люди будут искать в этом глубокий смысл. А вообще царил сдержанное возбуждение и веселие, похожее на грусть. За день до этого мы обсуждали грядущую перспективу, и он сказал, что он был бы по-настоящему рад, если бы папа и мама были живы, а теперь не то чтобы это было не важно, но смысл и значение совсем другие. Мне же, стыдно признаться, больше всего хотелось, чтобы он получил премию назло завистникам, ибо я и без того знаю, какой он замечательный. Однако после того, как это произошло, я забыла про завистников и прочих неприличных людей. Во мне проснулась гордость не только за Осю, но и за все наше поколение. Я вдруг поняла, что он выразил все лучшее, что было в этом поколении и что он сам лучшее, что в этом поколении было и что от него останется, что на фоне мирового одичания это последний живой всплеск того,

что он назвал прекрасной эпохой, и что если бы не его голос, то от нас вообще ничего стоящего не осталось бы. И что нам очень и очень с ним повезло — тебе, мне и всем.

Иосиф совсем не изменился. Постарел, конечно, но не изменился. Отношения наши тоже те же, так что вам не нужно никакого воображения, только память, чтобы представить его, меня, нас вместе. Несмотря на его чёрт знает какой (капризный?) характер, он оказался поразительно верным и постоянным в привязанностях и привычках. Видимся мы раз или два в год — он заезжает, когда бывает в Европе, иногда надолго, иногда на несколько дней. Раньше в Ист Финчли, где у меня был просторный дом, он останавливался у меня, но все время жаловался, что живу далеко от центра; да и район был безликий. Он не только уговорил меня сдвинуться с места, но и дал «подъемные», когда получил премию (не эту, а другую, поменьше). Ну, я и переехала в симпатичный район и шикарную квартиру о двух комнатах, но еще как-то не устроилась, даже лишней кровати нет. Так получилось, что когда он у меня, то ему негде работать и спать неудобно, потому он останавливается по соседству, в огромном доме, где ему выделяется фактически целая квартира. Это у пианиста Бренделя. К счастью, это совсем рядом. Сейчас он подумывает купить свою, о чем он давно мечтал. Впрочем, я всегда сомневалась в реальности его планов, помня истории с дачами и прочее. Ну что еще? Как всегда, у него много поклонниц, а о том, каким он пользуется успехом и признанием, писать сейчас уже нелепо.

Здоровье, увы, такое, что ощущение дамоклова меча постоянное. К тому же ему категорически нельзя курить, а он курит, притворяясь время от времени, что бросает или бросил. Время от времени попадает в больницу, хотя в этот приезд

выглядел получше и меньше за сердце хватался. Часто ему бывает страшно, даже иногда ночью звонит. В голове одно и то же, и разговоры часто сводятся к тому же, ибо я тоже думаю об этом.

<...>

И, тем не менее, если я как-то иногда чувствую, что живу, то это только благодаря Осе. Остальное все механистично и нереально. Нет, вру. Иногда со мной такое происходит в Италии. Т. е. вообще, когда там бываю, все вокруг оживает, а иногда перед картиной или фреской как будто пробуждаюсь, переносюсь в другое измерение. По интенсивности это чувство ни с чем нельзя сравнить, и я знаю, что это не из любви к живописи. Я ведь поэзию люблю больше, но эмоции она вызывает другие. Одним словом, в Италии реальным становится мир — камни, вода, стены, тепло. С Осей сама становлюсь реальной, начинаю испытывать чувство благодарности, любви, привязанности, не знаю даже, как это назвать.

В общем, письмо мое, кажется, получилось экзальтированным и малоинформативным, но ни менять, ни кончать я его не буду — иначе никогда не отправлю. Все же хоть немного, но представите наше житье. Особенного ажиотажа у нас не было, как будто так оно и должно было быть. Я думаю, это будет в Нью-Йорке. А здесь мы устроили небольшое собрание — не могу это назвать приемом. Были те, кто его знает и любит, но среди них «ценителей поэзии» практически не было. Среди них были Фейт, Пятигорский, а остальных, ты, наверное, не знаешь. Все хвалили мою еду, чуть было не запели «Лили Марлен», а потом почему-то не запели. Много фотографировались, все по очереди (снимала не я, у меня его, фотоаппарата, увы, нет).

КАМА ГИНКАС, ГЕНРИЕТТА ЯНОВСКАЯ

*Несколько рифм из поэзии и жизни**

Гета: Масса вещей сплетается в этой жизни. Понять это часто удастся лишь намного позже.

Кама: Под влиянием своей учительницы русской литературы Розы Глинтерщик и в особенности под влиянием Томаса Венцловы я был просто стукнут ранним Маяковским, Пастернаком, Цветаевой и Мандельштамом. Одно время — около 1960 года — у нас даже существовал неофициальный кружок самообразования. Естественно, все вертелось вокруг Томаса, хотя собирались не столько у него, сколько у братьев Катилюсов и у моей ныне уже покойной тети Сони. Доклады читал не только Томас. А какие темы! Дай бог каждому поколению молодых интеллектуалов пройти такую школу! Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Kafka, Saint-John Perse, конечно же, Пастернак, которого мы вослед Томасу называли «Классюша». Кто еще? Я подготовил доклад о Мейерхольде. Разумеется, через некоторое время нами заинтересовался КГБ, и мы замолкли.

* В разговоре принимал участие Рамунас Катилюс.

Когда же, оказавшись в Ленинграде, куда я приехал учиться режиссуре, меня познакомили со стихами какого-то Бродского (это были «Пилигримы», «Рыбы зимой», «Слепые, идущие через площадь»), мне они не показались «гениальными», как их рекомендовали. Да, это было своеобразнее, чем стихи популярных в то время Евтушенко, Рождественского и т. д. Но какое уж тут сравнение с вибрирующей на зубах оркестровкой Пастернака или с испугленностью Цветаевой... Только потом, когда познакомился с поэмами Бродского, я был навсегда оккупирован им. Такие дела...

Гета: Как я познакомилась с Бродским? Совершенно случайно. Мне было лет двадцать. Решила как-то пообедать днем в ресторане «Восточный». Как взрослая. И обедала. Одна. За соседним столом сидели трое, старше меня лет на пять. Подвалили со мной знакомиться. Один из них представился как Эдик Блюмштейн, второй оказался журналистом, как его звали, не помню. В него я влюбилась сразу и насмерть, потому что он был с палкой и хромотал. (*Смеется.*) Так мы сидели и общались. Видимо, я умела общаться, кроме того, общалась с удовольствием. Эдик тут же пригласил меня на свадьбу. «Легко», — сказала я. Так я попала на свадьбу Толи Наймана и Эры Коробовой, которая, кстати, потом была женой Томаса Венцловы... На этой свадьбе гуляла вся питерская молодая литература.

На следующий день Эдик повел меня к своему приятелю на улицу Пестеля. Когда мы входили в дом, я уже знала, к кому мы идем, потому что месяца за четыре до этого кто-то дал мне листочки с перепечатанными стихами какого-то Бродского. Там были: «Пилигримы», «Гладиаторы», «Рыбы зимой», «Еврейское кладбище», «Книга со счастливым концом». Про-

читав их, я стала потрясать этими листочками повсюду: «Ребята, он гений!» — «Ну, ты, как всегда... с перебором, — сказали ребята. — У тебя все гении».

И вот мы с Эдиком отправляемся к Бродскому, в квартиру, впоследствии прославленную как «полторы комнаты». Мама, папа, здороваемся и идем за шкаф, в его клетушку, где стоит койка, которую Иосиф называет «станок». Сидим и разговариваем весь вечер. Можете мне не верить. Но вот как я перед Товстоноговым потом потеряла дар речи (он, наверное, думал, что я тупая), вот так я потеряла дар речи в тот вечер, когда взглянула на этого веснушчатого мальчика, моего ровесника, который написал поразившие меня стихи. Он вдруг заговорил с Эдиком об одном недавно обнаруженном им греческом поэте, Яннисе Рицосе, прочел на память какие-то строчки, потом запнулся, а я... продолжила за него. Он удивился и уставился на меня. Ну никак не ожидал этого от девочки, которую привел Эдик, с таким большим декольте и наивными глазами. Но я уже тогда работала в книжном магазине, и книжка Рицоса мне попадалась, а память у меня, особенно на стихи, была всегда прекрасная. Я ему так и сказала, что маленькую книжку Рицоса уже видела. «Есть другая», — сказал он, достал с полки и дал мне почитать. Так она у меня и осталась.

Кама: Уже значительно позже, после нашей свадьбы, у Иосифа появилась привычка заходить к нам в гости. Читал стихи.

Иногда он врывался в нашу небольшую квартирку в Апраксином переулке эдак в полвосьмого утра. Мы, театральные люди, только заснули, проводив засидевшихся гостей. Не очень смущаясь, Иосиф проходил в комнату, где мы спешно прикрывали измятую постель, терпеливо ждал, когда кончим суетиться,

и начинал... кричать свои стихи. Кликушествовать, шаманить. Он начинал с высокой ноты, захлебываясь в конце строки, набирал воздух, чтобы взять еще выше, забирался, забирался, забирался вверх, чтобы потом упасть в конце строфы. Сейчас мне кажется, что этот ритм был связан с уже тогда проявившейся сердечной недостаточностью. Когда Иосиф заканчивал кричать, он несколько формально давал нам возможность сказать нечто благодарственное. Не знаю, нужна ли была ему наша благодарность. Главное уже было сделано: он прокричал, пропел то, что было внутри, и уходил быстро, возможно, даже не прощаясь. Мы оставались растревоженные, с его голосом в ушах...

Гета: У нас две книги из библиотеки Бродского. Вторая — «Часть речи», изданная «Ардисом», которую Иосиф прислал из Америки родителям. Там написано: «Дорогие мои коты!» Но пока книжка гуляла по миру, родители Бродского умерли, и она пошла по рукам дальше, пока не оказалась у Кости Азадовского. Когда Костя уловил первые признаки того, что его хотят арестовать, он отдал книжку нам: «Пусть побудет у вас».

Кама: Есть и третья книга. Иосиф подарил ее нам в день, когда ему приказали сваливать. Мы случайно встретили его на Литейном. Он как раз возвращался из Большого дома. Сообщил, что согласился уехать. Был хмур, бледен, казался очень усталым... Но пригласил нас к себе домой. Не помню папу, но маму помню отчетливо. Она подавала нам чай, а может быть, кофе, какое-то печенье и все повторяла одну фразу. Гета, напомни, как она звучала.

Гета: «Мытарства, мытарства!» Это не она, это папа говорил. А мама все говорила: «У него здесь мытарства, — показывая

себе на голову, — и здесь мытарства!» — показывая пальцем себе на грудь.

Кама: Да, «иллюзия и дорога», как сказано в одном из стихотворений Бродского. Тогда, в день, когда, оказывается, решила его судьба, он и подарил нам эту книжку, вышедшую за границей. Названия не было. На обложке — только его портрет.

Гета: «Texts and documents». Она больше была похожа на блокнот. С двумя его правочками. Ручкой сделанными. Его подписью и датой. День, когда ему велели эмигрировать.

Кама: Потом мы этот портрет с книжки увеличили и повесили на сцене МТЮЗа, когда на сороковой день в театре поминали Иосифа.

Гета: С тех пор он висит у меня в кабинете...

Рамунас Катилиус: Около 1984 года, когда Иосиф уже давно был в эмиграции, а вы, Гинкасы, уже довольно долго жили в Москве, я часто ездил в Москву по своим связанным с диссертацией делам. Мы всегда встречались, вы приглашали меня на свои спектакли. И не только это. Хорошо помню себя в просторном Гетином кабинете, удобно сидящим на низкой кушетке у стены и раскладывающим перед собой на ковре листы бумаги со стихами — видимо, еще не переплетенные страницы нового сборника Бродского, издаваемого Профферами в Энн-Арборе, кем-то привезенные нам с Элей в Ленинград. Гета же, как обычно, за своим огромным — главного режиссера Московского театра юного зрителя — столом. Мы вслух читаем стихи Бродского.

В кабинет заходят двое немолодых мужчин в комбинезонах, может быть, рабочие сцены, хотят обратиться к «главрежу» по рабочим вопросам, но Гета довольно строгим тоном им говорит: «Позже, мы работаем». Прекрасно! Чтение стихов Иосифа Бродского — это РАБОТА! Почувствовал, что нахожусь в истинном храме искусств.

Кажется, в один из этих моих приездов в Москву Гета упомянула, что тогда, несмотря на еще действующие запреты, в одном из ею поставленных спектаклей звучали стихи Иосифа. Помню, Гета этим немножко гордилась.

Кама: Всегда, даже в советское время, пытались воткнуть хоть что-нибудь из Бродского в свои спектакли или интервью. Особенно сильными и близкими нам казались строчки:

Поскольку боль — не нарушение правил:
страдание есть
способность тел,
и человек есть испытатель боли.
Но то ли свой ему не ведом, то ли
ее предел.

Гета: Бродский когда-то, еще в Ленинграде, принес мне свой перевод пьесы Биена «Смертник» и не очень терпеливо ждал, когда мы ее поставим.

Кама: Как-то встретив случайно меня на улице, долго и почти раздраженно допрашивал, почему до сих пор я не поставил эту замечательную пьесу. Он не понимал, что мы — хронически безработные и что нам даже приличную советскую пьесу не

дают поставить, не то что западную, да еще про тюрьму и про смертника в ней.

Гета: Смешно...

Когда наш сын, маленький Даня, ложился спать, он очень крутился. Как все евреи. Не мог спокойно лежать даже в кровати. И, чтобы он уснул, я клала руку ему на спинку и все время читала стихи. И он под это замечательно засыпал.

Позднее Данька маленький, бывало, выходил перед гостями и с моими интонациями читал Бродского...

И, значит, не будет толка
от веры в себя да в Бога.
И, значит, остались только
Иллюзия и дорога.

Это было очень смешно!.. Музыка языка, его стихия, его богатство были «взяты» Данькой из хороших рук.

Кама: Как и «иллюзия и дорога».

* * *

Кама: А теперь я хочу представить выдержки из моего вступительного слова к публикации Кристины Ручирк «Иосиф Бродский. Голос. 1987».* В основе публикации лежит интервью моей знакомой финской журналистки, взятое у Иосифа в 1987 году, вскоре после операции на сердце. Мне она подарила

* Московский наблюдатель. Театральный журнал № 1 (69). Январь—февраль, 1998. С. 91–97.

запись через десять лет, уже после смерти Иосифа. Я в это время сам лежал в больнице в Хельсинки после похожей операции. Может быть, она почувствовала какую-то связь между событиями? Цитирую это свое вступительное слово:

«Иосиф в нашей с Гетой жизни — это так много, притом что общались мы не очень долго и не очень близко. Последние годы меня не покидает ощущение: то ли он так тонко, так адекватно смог выразить наше поколение, то ли мы воспринимали жизнь словно с его голоса, в его ритме, с его интонацией.

Мы не смогли бы своими словами передать наше тогдашнее двухжанровое существование: ироническое, даже резко-саркастическое и одновременно склонное к патетике. За ритмом его стихов всегда слышится гекзаметровый гул, поступательное движение к гармонии и — вдруг — обязательное снижение жанра.

Нет в поэзии более близкого мне человека и — посмею сказать — в судьбе.

Я слушал кассеты не останавливаясь. Это очень сильный документ. Слышен не только голос Иосифа, но и его квартира — звонит телефон, наливается вино, вдруг Иосиф обрывает интервью и говорит, что пойдет к соседке за сигаретой... Он уходит, а пленка крутится, крутится — минута, вторая, третья...

И вот на пленке опять эта знакомая картавость, это упорное, почти занудное подыскивание слова, эта ухмылка или тихий смешок, когда удается сказать нечто неожиданное или парадоксальное (а случается это часто). Опять эти настойчивые вопросительные „да?“ посреди фразы (в смысле „понимаешь?“ „согласен?“), это обилие придаточных предложений; опять это тонко спародированная наукообразность слога, это петербургское (не московское!) твердое „ч“ — все это пришло из той давней, почти потусторонней жизни. Передо мной был его голос, его

манера, его шокирующие мысли — уже не интервью, данное случайной корреспондентке из далекой ледяной Финляндии, а „письмо ниоткуда“, „нечто посмертное“, как говорил Иосиф. Меня взволновали эти рифмы жизни: его интервью после операции на сердце десять лет спустя вдруг попадает ко мне в послеоперационную палату; упоминание Вильнюса и особенно возникновение имени Томаса Венцловы, в знакомстве Иосифа с которым я принимал участие».

Здесь я ненадолго прерву цитирование своего вступительного слова и представлю соответствующую выдержку из текста интервью:

КОРРЕСПОНДЕНТКА: Я недавно была в Вильнюсе...<...>

И. Б.: Я литовцев знаю довольно хорошо.

КОРРЕСПОНДЕНТКА: Я потом прочитала ваши стихи о Вильнюсе. Это очень, очень мне понравилось.

И. Б.: Почему бы нет. Самый крупный литовский поэт живет в Эйвоне. Томас Венцлова. Мы с ним очень большие друзья.*

Кама: Продолжу цитировать свое вступительное слово:

«На пленке шаги Иосифа. Он вернулся с сигаретой. И снова заговорил, интонация знакомая, захлебывающаяся, но в ней больше покоя и ощущается метр. Когда читает стихи, подъемы и спады лишь намечаются голосом. Другой человек».

Гета: В последний раз мы виделись с Бродским почти перед самой его смертью, столкнулись в Финляндии, совершенно

* Эйвон находится недалеко от Нью-Хейвена, где расположен Йельский университет, профессором которого является Томас Венцлова.

случайно. Был фестиваль искусств. Наш театр показывал «К. И. (Катерина Ивановна Мармеладова. — *Ред.*) из „Преступления“», Иосиф открывал поэтические чтения. Мы, естественно, пришли его послушать. К сожалению, это одно из самых страшных воспоминаний. На набережной залива в ряд были поставлены несколько гигантских шатров «шапито», могущих вместить, может, с тысячу зрителей каждый. В одном из них, стоя на эстраде, Иосиф «кричал» свои стихи, как когда-то у нас по утрам. А из соседнего шапито гремела музыка; зрители входили и выходили, покупали пиво прямо в зале, живо интересовались бутербродами. Конечно, было много и заинтересованных людей — знающих русский и просто русских, но многие из пришедших просто увидеть знаменитого Джозефа Бродского почему-то считали возможным вести себя так, как вели. Чего ему это стоило, можно только догадываться.

Р. К.: В подтверждение этого рассказа о том вечере привожу цитату из книги бесед Валентины Полухиной с Южкой Маллиненом, переводчиком поэзии Бродского на финский язык:

24 августа — поэтический вечер Бродского и Шеймаса Хини на открытом воздухе в Хельсинки для 3000 человек. Переводы читали актеры.

*«Он нервничал: огромная черная палатка, он не видит лица людей и их реакции». Кривулин потом попрекал: «Какой провал! Как он мог забыть строчку из стихотворения „Письма римскому другу“».**

* Валентина Полухина. Иосиф Бродский: жизнь, труды, эпоха. СПб., 2008. С. 463.

Кама: После окончания вечера мы с Гетой, с трудом уговорив охрану, прошли на задворки, где Иосиф терпеливо, хотя чувствовалось, что он в бешенстве, давал автографы. Лицо было бледное, в испарине, и казалось, что он на пределе.

Гета: Мы позвали его с Камой на наш спектакль, сказали, что автор пьесы — Данька. Он удивился: «Вот этот мальчик?»

Тогда же я ему сказала, что у меня осталась его книга, та самая, родительская. «Хорошо», — сказал он. Перекинулись еще несколькими словами, сразу ощутив, что в сложившихся обстоятельствах наше присутствие ему в тягость. Может быть, ему не нужны были свидетели этого трудного чтения. Мы постарались поскорее уйти. На наш спектакль он не пришел.

Это неудачное выступление Иосифа и последовавший за ним очень короткий, очень неуютный разговор и стали нашей последней с ним встречей.

Р. К.: Как свидетельствует Юкка Маллинен, через день, на литературном фестивале в Тампере, все было иначе:

«Они туда поехали опять с Шеймасом (Хини. — Р. К.). Зал традиционной гостиницы на 150 человек, хотя пришло около 200. Бродский видел все лица, их реакцию, глаза, наблюдал, как работают переводы. Я их сам читал. И он успокоился, стал очень добрым, ответил на массу вопросов, стал по-отцовски объяснять народу, кого надо читать из современных поэтов. Было мило глядеть на Бродского и Хини, как они шутили, перебрасывали друг другу вопросы и реплики. Финской публике было поучительно и интересно наблюдать, насколько

*глубокая связь, поэтическая и человеческая, существует между ирландским и питерским великанами».**

Иосифу оставалось жить менее полугода. Хотя до самого конца он оставался активным, сердце тянуло с трудом. В письме Андрею Сергееву в декабре 1995 года он писал: «Трудно стало одолеть расстояние этак в длину фасада...»

Иосиф покинул нас слишком рано. Мы пока здесь. Но Томас Венцлова в своих стихах уже решается обобщить суть и смысла жизни всего нашего поколения, веря в то, что

[...] Ir vis dėlto mokėjom
tarytum dovaną priimti karčią tiesą.
Negarbinom mirties. [...]

([...] Но умели
принять как дар глоток из чаши горьких истин.
Не восхваляли смерть.**)

* Валентина Полухина. Иосиф Бродский: жизнь, труды, эпоха. СПб., 2008. С. 463.

** Перевод с литовского Виктора Куллэ. См.: Томас Венцлова. Стихи разных лет // Старое литературное обозрение. 2001. № 1. [Электронный ресурс]. URL: <http://magazines.russ.ru/slo/2001/1/ven777.html>.

МИХАИЛ ПЕТРОВ

О похоронах Иосифа Бродского в Нью-Йорке

Эти заметки я пишу по просьбе журнала «Звезда» сразу после похорон Бродского с намерением побыстрее зафиксировать все детали и передать как можно скорее текст в Россию. Поэтому прошу прощения за некоторую небрежность и необработанность выражений.

Его смерть была здесь для всех неожиданной. С лета он очень плохо себя чувствовал, временами не мог пройти двух кварталов, подняться по лестнице. Планировалась операция на сердце, уже третья. Но появлялись все новые и новые стихи, он очень много работал, собирался в понедельник 29 января ехать в свой университет начинать семестр. Так что никто, честно говоря, всерьез не думал, что дело вот-вот кончится трагедией. Верили в его живучесть и в американскую медицину. Весть о его смерти вызвала у всех шок.

Теперь собственно о похоронах. Круг русских поклонников и друзей Бродского в Нью-Йорке стали волновать соображения о том, где он должен быть погребен. Мнения, естественно, разделились. Одни считали, что непременно в России (и их было,

пожалуй, большинство), другие — что ни в коем случае не в России. Пронеслись слухи, что от имени мэра Петербурга Собчака вдове Бродского уже предложили похороны в России, но она предложение не приняла. Дело в том, что Бродский, по-видимому, не оставил никаких указаний на этот счет.

Он написал когда-то: «На Васильевский остров я приду умирать». Но говорил он и иное: нашей с ним общей знакомой он как-то сказал в живописной деревушке South Hadley, где он месяцами жил при университете, в котором преподавал, что вот, дескать, хорошее место, вот тут бы и лечь. При мне он тоже один раз высказался относительно своей смерти, и весьма своеобразно. Это было на его последнем дне рождения 24 мая прошлого года. Ему кто-то подарил фуражку американского летчика времен Второй мировой войны. В этой фуражке он ходил весь вечер и требовал, чтобы его в ней похоронили.

Так или иначе, его родственники склонились сначала в пользу South Hadley, но потом переменили свои намерения на этот счет.

Доступ к гробу был открыт два дня, 30 и 31 января, в Greenwich Funeral Home — довольно скромном, но весьма приличном похоронном заведении вблизи предпоследней квартиры Бродского, где он прожил, кажется, восемнадцать лет. В заведении общий вестибюль и три небольших зала, человек на тридцать-сорок, один из которых был снят для Бродского. В двух других залах стояли другие гробы.

Иосиф лежал в своем любимом рыжем твидовом пиджаке, в светло-коричневой рубашке с коричневым же галстуком. Элегантный, как всегда... Странно было видеть его с гладко причесанными волосами и без очков...

Никакой давки и ажиотажа не было. Люди приходили по одному и парами, стояли несколько минут у входа в зал в ожидании

своей очереди, затем подходили к гробу и задерживались ненадолго. Некоторые плакали. Многие были с цветами, но по здешним правилам не полагается приносить цветы на похороны, их надо присылать заранее. Цветы класть было некуда, и их складывали под гроб, где быстро накопилась порядочная груда букетов. Родственники Бродского здесь не присутствовали. Не было ни речей, ни музыки. Мы с женой пробывали там во вторник вечером часа полтора, при нас прошло человек двести. В основном были русские. Там я встретился с только что прилетевшими из России А. Кушнером и Е. Рейном с женой. Кстати, Рейны прибыли сюда за счет владельца московской бензиновой компании Ильи Колерова, оказавшегося поклонником Бродского. Он и сам прилетел на похороны.

Вот так скромно и без помпы русский Нью-Йорк прощался с великим русским поэтом. Движение по улице не перекрывали, оркестры не рыдали. Вообще буквально в двух шагах от входа в похоронный дом не было ни малейших признаков того, что здесь происходит что-то необычное. Между прочим, вечером в среду 31-го после встречи с американскими бизнесменами в отеле «Уолдорф-Астория» в это неприметное похоронное бюро попрощаться с Бродским заехал премьер В. Черномырдин.

Вечером во вторник русские приятели Бродского были приглашены Романом Капланом в его знаменитый ресторан «Русский самовар» выпить за упокой души Иосифа. Иосиф любил здесь бывать. В последний раз он был тут в декабре. Он взял тогда у Романа альбом и занес туда следующую запись:

Зима. Что делать нам в Нью-Йорке?

Он холоднее, чем луна.

Возьмем себе чуть-чуть икорки

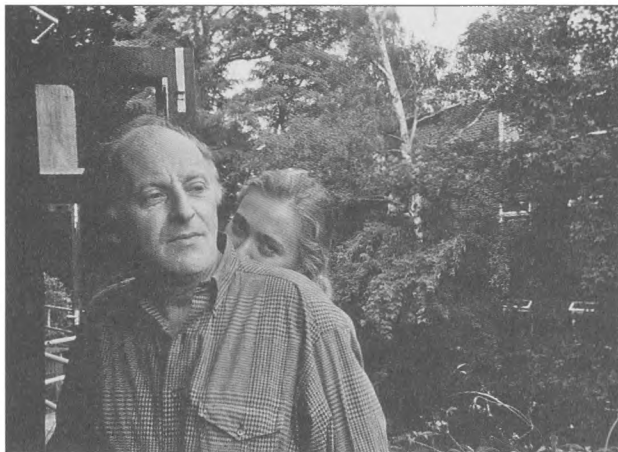
И водочки на ароматной корке,
Погреемся у Каплана...

Среди приглашенных был и вышеупомянутый Илья Колеров. Оказалось, что он предлагает перевезти тело в Петербург за счет своей компании и организовать там погребение. Он просил меня посодействовать, и я по телефону из ресторана передал его предложение вдове Иосифа, с которой я знаком. Она поблагодарила, но предложение не приняла.

Завершающая часть траурных мероприятий прошла в четверг 1 февраля. В 11 часов утра в Grace Church в Бруклине вблизи последней квартиры Бродского состоялась траурная церковная служба, заказанная по желанию его вдовы. Надо сказать, что Бродский не был приверженцем какой-либо конфессии, хотя, судя по рождественским стихам, которые он ежегодно писал, христианство его глубоко захватывало.

Это мероприятие носило сугубо приватный, полусветский характер. Было распространено 40–50 приглашений. Я получил приглашение и присутствовал на службе и затем на кладбище при помещении гроба в склеп.

Церемония в церкви произвела на меня сильное впечатление. Небольшая снаружи церковь в готическом стиле, зажатая между особняками конца прошлого века наподобие петербургских на Сергиевской или Фурштатской, оказалась изнутри просторным собором с витражами, статуями в нишах и пр. Народу было немного, сидели только в первых рядах. В основном были американцы. Из мне известных личностей были Чеслав Милош, Марк Стрэнд и Пол Малдун (знаменитые поэты), Джордж Клайн, Сьюзен Зонтаг, из наших — Барышников (ближайший друг Бродского), Юз Алешковский, Лев Лосев, Рейн, Кушнер.



Иосиф и Мария Бродские у Михаила и Майи Петровых
Оксфорд. 14 июня 1991 года. Фото Михаила Петрова

В проходе у алтаря стоял закрытый гроб. Священник прочел несколько псалмов и обратился к присутствовавшим с кратким словом об усопшем. Затем Марк Стрэнд, высокий, седой и красивый, как Грегори Пек, прочел стихотворение Томаса Гарди «Afterwards», а неизвестный мне, тоже очень красивый и элегантный человек прочел стихи Эдварда Томаса. Читали и по-русски. Лосев прочел «Сретенье» Бродского, а А. Сумеркин — «Бегство в Египет». В заключение Мария, вдова Иосифа, прочла по-английски его замечательное стихотворение «To My Daughter», посвященное двухлетней дочери Бродского Анне Марии Александре, находившейся тут же на руках у чернокожей няни. Ранее во время службы она вдруг громко расплакалась, и ее пришлось на несколько минут вынести из церкви.

Глядя на присутствовавшую публику весьма элитарно-академического вида, столь отличавшуюся от нашей, привычной,

прощавшейся с Бродским в похоронном доме, я подумал, что, наверное, американские почитатели Бродского ценят в нем не столько поэта, сколько мудреца, умницу, каким он, несомненно, и был. Кроме стихов он, особенно в последнее время, писал массу статей, эссе, предисловий — в основном на английском. Как говорил мне Пол Малдун, которого я немного знаю по Принстону, это всё образцы высочайшей эрудиции, потрясающего проникновения в суть предмета, да еще и в сочетании с весьма элегантным стилем. Одного этого было бы достаточно, чтобы в Америке стать знаменитостью.

После церковной службы, которая длилась чуть более часа, немного поредевшая группа провожающих двинулась на кладбище Trinity Church Cemetery в верхнем Манхэттене. Я был в ее составе. На этом весьма живописном кладбище, расположенном на крутом берегу Гудзона, есть нечто вроде пантеона с нишами для гробов, закрытыми гранитными плитами.

День был ясный и очень холодный. С Гудзона сильно дуло. Приехавший с нами из церкви священник объявил, что церемония будет короткой. Стоя над гробом в пальто, накинутом на облачение, он прочел несколько молитв, и гроб вдвинули в нишу.

В приглашении на похороны было написано, что впоследствии Бродский будет похоронен в Венеции. Я слышал разговоры о том, что Мария, по происхождению полурусская, полуитальянка, намеревается с дочерью вскоре переехать из Нью-Йорка к себе на родину, в Италию. По-видимому, именно этим мотивировано ее желание перезахоронить там в будущем прах мужа.

Принстон, 4 февраля 1996 г.

ТОМАС ВЕНЦЛОВА

На окраине империи

С материнской стороны род Бродского был связан с Литвой. Я слышал об этом и от него самого, и от его матери Марии Моисеевны. Они упоминали два местечка — Байсогалу и Рокишкис. В Байсогале, неподалеку от Шяуляя, по их словам, родилась бабушка Иосифа, мать Марии Моисеевны, и долго жила тетя, которая, кстати, знала литовский язык; в Рокишкисе родился дед. Я как-то спросил у Иосифа, повлияло ли это на его отношение к Литве. «Ни в малейшей степени, — ответил он. — Мое отношение к Литве — прежде всего отношение к моим литовским друзьям». Что ни говори, Литва сыграла в его жизни — во всяком случае, до эмиграции — примерно ту же роль, что Грузия в жизни Пастернака или Армения в жизни Мандельштама. Я даже не говорю о стихах: Литве их посвящено немало, и каждый, кто читает Бродского, их знает. Как и его предшественникам — тут можно вспомнить и Пушкина и Лермонтова, — Бродскому было важно просто пожить на окраине империи, где нравы и сам воздух все же несколько иные.

Он впервые приехал в Вильнюс в конце августа 1966 года, вскоре после возвращения из ссылки. Дела его складывались далеко не лучшим образом, и московский друг, поэт и переводчик Андрей Сергеев предложил отдохнуть от тревожений в Литве, где сам успел завести близких друзей. Бродский остановился в квартире Катилюсов, у двух братьев — Рамунаса и Аудрониса. Первый — физик, второй (младший) — архитектор. Имена их, кстати, более или менее соответствовали характерам: Рамунас означает «спокойный», Аудронис — «бурный». Оба отлично разбирались в литературе — Рамунас мог стать филологом, но пошел на физический факультет, ибо советское литературоведение его как-то не вдохновляло. Имя Бродского братьям было знакомо. Я с ними дружил уже много лет — с Рамунасом, в просторечии Ромасом, учился в одном классе, а с Аудронисом, или Адасом, однажды проплыл вдвоем на байдарке по Неману от истоков до устья. У нас была своя компания: о каждом ее участнике стоит сказать несколько слов. Пранас Моркус — «умница, тончайший человек, поклонник де Кюстина и де Сада», как определил его в стихах Евгений Рейн, — учился в Московском университете, но был оттуда отчислен за явно несоветские взгляды и знакомства. Позднее он стал киносценаристом. Юозас Тумялис, знаток литовской истории и литературы, да и многого другого, «вылетел» из Вильнюсского университета за те же несоветские взгляды и долго перебивался с хлеба на воду. Сейчас, в независимой Литве, он редактирует энциклопедию. Виргилиус Чепайтис был переводчиком (вся Литва до сих пор читает его перевод «Винни-Пуха»), писал самиздатские рассказы и пьесы в духе то ли Хармса, то ли Ионеско. Тогда он был женат на москвичке Наталье Трауберг, специалистке по Честертону и вообще, как она сама любила говорить, по «католическому мракобесию».

В этой компании Бродский и оказался и большинство этих людей считал близкими себе всю жизнь.

Обо всем этом уже немало написано, но что-то стоит и повторить. Квартира Катилюсов (позднее там, обменявшись с ними, поселился Чапайтис) была на улице Лейиклос, в Старом городе, а точнее на его краю, как бы у входа в него. Название «Лейиклос» означает «Литейная» — то есть улица была как бы двойником Литейного проспекта, рядом с которым Иосиф жил в Питере (на Лейиклос некогда были мастерские по отливу церковных колоколов). Впрочем, кроме названия, она не имела с Литейным ничего общего — узкая, слегка искривленная, мощенная булыжником, круто спускалась с горки по направлению к дворцу Наполеона (сейчас Президентскому дворцу) и Кафедральному собору. Ее перспективу замыкали зеленые вильнюсские холмы. Один по традиции назывался горой Трех Крестов, но белые кресты, которые все мы еще помнили, были взорваны в сталинское время (сейчас они опять стоят). По левую руку, если встать лицом к холмам, был обширный пустырь, а за ним, в некотором отдалении, начинались центральные улицы, тогда еще вполне неказистые. По правую руку были «желтые переулки гетто» из «Литовского дивертисмента», но не только они, а и монастырские ограды, дворы, сады, несколько костелов: совсем близко — «двуглавая Катарина», то есть позднебарочный костел Св. Екатерины, дальше — собор Доминиканцев, того же времени, но совершенно другой, с мощным куполом вместо двух башен. Это было только начало: старый Вильнюс простирался далеко к востоку и югу.

Друзья уже успели показать все это Иосифу, когда я вернулся в Вильнюс из Эстонии. Насколько помню, как раз тогда мы с Натальей Трауберг ездили на «летнюю школу» к Юрию

Лотману. В деревушке Кязэрику неподалеку от Тарту собрались филологи, интересующиеся семиотикой. Дело было интересное и не вполне благонадежное — под крылом семиотики читали доклады о Пастернаке, Мандельштаме, о том же Честертоне и даже о католицизме и буддизме. Едва ли не первыми словами Бродского, которые я услышал у Катилюсов, были: «Зачем вы этим занимаетесь? Это же нехорошо». Тогда он относился к семиотике вполне отрицательно — считал ее одним из «модных поветрий». Впрочем, позднее смягчился, но это отдельная тема, и не буду здесь ее касаться. Затем разговор зашел о польском поэте Галчинском, в тридцатые годы жившем в Вильнюсе и о нем писавшем. «По-моему, плохой поэт», — заметил Бродский. Я опешил, потому что знал и любил прекрасные его переводы из Галчинского, да и самого Галчинского уважал. Так что разговор у нас поначалу не складывался. Кажется, вечером того же дня мы оказались у Чепайтисов, где Бродский по поводу Честертона повздорил с Натальей Трауберг. Сейчас мне кажется, что многое тут было нервной защитной реакцией — заносчивость Иосифа объяснялась и его питерскими бедами, и некоторой растерянностью среди незнакомых людей, и попросту ранимостью. Кстати говоря, тем же вечером это стало проходить и совершенно прошло, когда мы вчетвером, с Ромасом и женой его Элей, съездили в далекое предместье Вильнюса — Судерве.

После Судерве Иосиф читал у Катилюсов стихи — кажется, уже не в первый раз, но именно тогда я впервые его слушал. Людей было немного — Катилюсы, Чепайтисы, Ина Вапшинскайте, знакомая учительница русской литературы Роза Глинтерщик с одним-двумя учениками и два молодых режиссера — Кама Гинкас и Гета Яновская. (Кама родом из Литвы, в те годы мы часто виделись — он, как и Ина, входил в нашу тесную компанию.)

Иосиф стеснялся и долго не решался начать, но потом читал безостановочно несколько часов, по памяти. Читал свои главные стихи того времени — «Ты поскачешь во мраке...», «На смерть Элиота», «Два часа в резервуаре», «Одной поэтессе» и многое другое. Я записал в дневнике: «Голос был ошеломляющим — даже более, чем стихи: монотонный, ритмичный, безумный крик во все горло; окружение не существовало — но, закончив стихотворение, Иосиф вдруг очень застенчиво и робко, хотя и приняв независимый вид, спрашивал: „Ну как?“ [...] Было трудно: действительно „рупор“, по его же стихам — а ведь ангела или музу долго слушать невозможно. Расходясь, мы разговаривали тихо. Чепайтис сказал: „Когда он читает эти стихи, он пишет их заново“».

Помню, одно стихотворение Иосифа я тогда получил от него в машинописном виде — это было только что написанное «Подражание сатирам, сочиненным Кантемиром» («Зла и добра, милый Дамон, грань почто топчешь?»). Тогда (или в следующий приезд Иосифа?) мы побывали в Тракае. Шла речь о том, что поедем в Каунас и к морю, но я заболел и остался дома. Не могу вспомнить, как и когда Иосиф уехал, но с тех пор связь с ним уже не прерывалась: мы обменивались письмами, да и рукописями, часто виделись в Питере, а несколько раз снова в Литве.

Иногда с трудом, но все же удается восстановить даты этих приездов. Я много лет веду дневник, но в нем есть пробелы — как назло, они иногда касаются важных дней и дел. Зимой 1968 года, в раннем январе, Иосиф был в Паланге — уже не первый раз: тогда, съездив к нему из Вильнюса, я ночью слушал новые, очень личные и очень резкие его стихи — насколько знаю, они никогда не были напечатаны и, скорее всего, не сохранились. Русский летчик, которого мы тогда встретили в по-зимнему

пустом ресторане гостиницы «Паюрис», поселился в одной из элегий Бродского («Пилот почтовой линии, один, как падший ангел, глушит водку...»). Видимо, в том же 1968 году (или это было летом 1967-го?) Иосиф с Чепайтисом, при малом моем участии, сочиняли в Вильнюсе нечто вроде стенгазеты под названием «Правда-матка». Шрифт заглавия приводил на мысль «Правду», а сам текст состоял из стихов и прозы, без излишних прикрас изображавших родную советскую (впрочем, не только советскую) жизнь. Было это ничуть не хуже Алексея Константиновича Толстого: даже в эмиграции Иосиф вспоминал и цитировал «Правду-матку» с удовольствием. Увы, она до сих пор недоступна читателю, хотя, как я слышал, сохранилась в архиве Чепайтиса — а отчасти и в нашей памяти.

В апреле 1971 года произошла вильнюсская встреча Бродского с Виктором Ворошильским, о которой написал сам Виктор. В том же году Иосиф приезжал в Вильнюс и второй раз — на мой день рождения, 11 сентября. Явился он неожиданно, из Таллина, куда был командирован — вероятно, журналом «Костер» — переводить эстонские стихи для детей. Тогда подарил мне большой том Уоллеса Стивенса и английскую книгу своего любимого Кавафиса, которую добрый час читал вслух и переводил с листа, — я же снабдил его номером журнала «Encounter», который мне незадолго до этого привез знакомый литовец, живший в Чикаго. На следующий день Иосиф улетел, но до этого успел в одиночку погулять по своим любимым улочкам вблизи Св. Екатерины. В ожидании его я прочел им же привезенный сборник «Остановка в пустыне» и несколько новых текстов, напечатанных на машинке. «Очень замечательный это город», — сказал Иосиф, вернувшись в мою квартиру. В аэропорту мы по нашей тогдашней привычке обменялись «жестом Черчилля» — подняли два

пальца в виде буквы «V» («victory»). Это были последние два дня Иосифа в Вильнюсе: никто из нас еще не знал, что остается всего несколько месяцев до его отбытия в Вену. Кстати, и тогда, в ленинградском аэропорту, он повторил тот же жест. И вернулся в ту вильнюсскую квартиру в «Литовском ноктюрне».

Но я, собственно, пишу не воспоминания. Мне скорее хочется подумать, чем Вильнюс и Литва привлекали Бродского.

Уже тогда мы все понимали, что Вильнюс — единственный в своем роде город, и с гордостью водили по нему приезжих. Лучшей помощью в этом была довоенная книга Николая Воробьева «Искусство Вильнюса», написанная по образцу муратовских «Образов Италии» и, пожалуй, им не уступающая. (Николай Воробьев, или Микалоюс Воробьевас, учился в Германии, где слушал лекции Хайдеггера и прочих; писал он на литовском, в 1944 году эмигрировал, оказался в Америке, не нашел в ней применения своим способностям и покончил с собой. По удивительному совпадению дочь его Маша жила в Гринвич-Виллидже, в том же доме, где много лет прожил эмигрировавший Бродский, и стала одним из его близких друзей.) Так что и Иосифу мы старались показывать вильнюсские костелы и переулки «по Воробьеву», рассуждая о готических арках и барочных волютах в искусствоведческом духе. Но это его сравнительно мало интересовало: туристом, изучающим «памятники прошлого», он себя никогда не ощущал. Как он сказал однажды, у него не было комплекса зеваки: он любил не глазеть по сторонам, а выбрать себе близкое место, будь то Рим, Венеция или что-либо другое, и в нем осесть. Из таких мест — до эмиграции — Вильнюс для него был, пожалуй, важнейшим. Хотя приезды его были сравнительно короткими, он стремился стать «нормальным» вильнюсским (да и каунасским, да и палангским)

жителем, быть частью ландшафта, — и это ему, в общем, удавалось. Тонкости архитектуры ему отнюдь не были чужды. Напротив, в этой области у него были прекрасный вкус и интуиция: помню некоторые неожиданные, но меткие его замечания — так, он сравнил скромный, компактный костел Бонифратров с часовней Корбузье в Роншане. Но главное было не в этом, а в сложном самоощущении «чужого» и «своего» одновременно. Как-то он заметил: «Удивительно приятное ощущение — отсутствие права и смысла находиться в этом городе». Имелось в виду то, что Литва — отнюдь не Россия и отношение к России в ней, мягко говоря, амбивалентно. Однако для него было не только возможным, но и радостным принять литовскую точку зрения, взгляд изнутри.

Бродский был западником — хотя, как любая попытка подвести его под общий знаменатель, это упрощение, — и Литва для него, как для большинства тогдашних русских интеллигентов, была вкраплением Запада в Советский Союз. «Литва для русского — это всегда шаг в правильном направлении», — он любил говорить. «В Вильнюс я въезжал с востока. И когда впервые оказался в Вене, ее холмы для меня совпали с вильнюсскими». Впрочем, таким же или даже более явным вкраплением Запада были Латвия и Эстония, к которым он (в отличие от многих) особых чувств не испытывал. Дело в том, что Латвия и Эстония — страны северного, германско-скандинавского стиля; а Бродского, как когда-то Манделштама, притягивало Средиземноморье.

Я как-то уже говорил, что он всерьез любил три места на земном шаре — Италию, Польшу и Литву (любил и Россию, и Америку, но тут отношение было сложнее). При этом Польша для него была, так сказать, паллиативом Италии, а Литва паллиативом Польши — и тем самым Италии. В Вильнюсе было то же

католичество и то же барокко, что в Риме. Был явный оттенок юга, особенно если сравнивать Вильнюс с Ригой и Таллином. Было предвестие и привкус Италии — королева Бона Сфорца, родившаяся в Ломбардии и похороненная в Бари, когда-то насаждала в Литве нравы и вина своей родины, а большинство вильнюсских архитекторов, скульпторов и живописцев были итальянцами.

Вильнюс вообще похож на любимые Бродским итальянские города. Как Венеция (а впрочем, и Петербург), он находится на стыке Востока и Запада. По величине похож на ту же Венецию и на Флоренцию. «Плотность искусства на квадратный сантиметр», по формуле Бродского, конечно, не та же, но в какой-то степени приближается к тамошним образцам. Купола и колокольни среди холмов, над небольшой рекой способствовали тому, что Вильнюс называют «северной Флоренцией»; порой сравнивают и с Римом — река Нерис напоминает не только Арно, но и Тибр. Другая речка, Вильня, или Вильняле, — чуть ли не горная, ее нетрудно вообразить в Апеннинах. Из-под христианского слоя, как в Риме, проступает язычество — в Литве оно господствовало до конца XIV века, дольше, чем где бы то ни было в Европе. Итальянской кажется хаотичная, но по-своему последовательная композиция Вильнюса: костелы, монастыри, порою церкви суть как бы ядра, вокруг которых располагается остальное, и все это нанизано на две большие искривленные улицы (проспект Гедимино, прямой, николаевских времен — уже на отшибе). Переулки — венецианский лабиринт, только что без воды: впрочем, не каменный, а кирпичный. Даже гетто слегка напоминает венецианское гетто. В советское время Вильнюс был одичавшим и заброшенным, но это придавало ему тайное очарование: осыпавшаяся штукатурка, покосившиеся стены,

тусклые краски. Что до красок, они тоже были итальянскими — желтая, беловатая, красные черепичные крыши, зелень глухих садов и крутых порою склонов. Бродский любил города, в которых можно выйти на улицу и по-прежнему ощущать себя в доме: Вильнюс этому вполне соответствовал. Разве что на Кафедральной площади открывалось пространство, как на площади Сан-Марко. По ней ходили такие же — чуть ли не те же — голуби, что в Венеции; но в отличие от Венеции на ее плитах был след, который оставил советский танк.

Конечно, дело не только в итальянских подтекстах Вильнюса. Его текст не сводится к какой бы то ни было одной линии. Его создает и единственное в своем роде Средневековье — которое Бродский часто, иногда с юмором вспоминает в стихах, — и поразительное разнообразие построек, отнюдь не только барочных, и величелие университета, и традиция «волнений Литвы» (в этом страна была сходна не столько с Италией, сколько с Ирландией). Бродского занимала борьба за право писать латиницей, сформировавшая современный литовский народ, — о ней мы ему немало рассказывали, и отсылки к ней легко заметить в «Литовском ноктюрне». Ему была интересна межвоенная литовская независимость, следы которой сохранились скорее не в Вильнюсе, а в Каунасе, и тем более восхищала упорная война «лесных братьев» со сталинским режимом. Переулки гетто говорили и о еврейской жизни города, и о ее уничтожении — эту тему Бродский не педалировал, но в его сознании и подсознании она всегда была.

Вильнюс, да и вся Литва хранили память о нормальном миропорядке, которая уже выветрилась в большинстве местностей Советского Союза. Эта память присутствовала и в Петербурге, по крайней мере в его архитектуре, а также в том кругу старых

петербуржцев, которых нам еще посчастливилось застать. Но мне кажется, что Вильнюс привлекал Бродского и своим резким контрастом с Петербургом. В Питере господствовала горизонталь, здесь — вертикаль; там были бесконечные перспективы, здесь — кривизна и многомерность; там — вода и воздух, здесь — земля холмов и обрывов, огонь кирпичных костелов. Там — XVIII и XIX века, здесь — более ранний пласт: XVI, XVII, порой и предшествующие времена. Там — столица империи, здесь — провинция (впрочем, у Литвы была своя имперская эпоха, но давно прошедшая и в отличие от русской имперской эпохи не пахнувшая угрозой). Было и то, что оба города объединяло: традиция тайной свободы — Пушкина и Мицкевича — и то, что Бродский называл традицией творческих всплесков.

Жители Вильнюса, да и Питера—Ленинграда не всегда соответствовали уровню, заданному прошлым своих городов. Все же среди вильнюсской богемы царил особая атмосфера, куда менее советская, чем среди российской. Думаю, Бродскому здесь было нетрудно найти людей, независимых внутренне, придерживавшихся того же этоса, что и он сам. В других местах Союза это было редкостью. Здесь был всего живее и контрабандный обмен культурными ценностями с Западом — Польша как-никак была рядом, да и литовские эмигранты посещали Вильнюс чаще, чем русские — Питер и Москву. Полагаю, мой рассказ и рассказ Виктора Ворошильского дают понятие о том, как это происходило.

В эмиграции Иосиф по-прежнему много общался с литовцами. Я уже упоминал об одном удивительном совпадении: еще более невероятным был факт, что первый его переводчик на литовский язык, ныне покойный Юргис Блекайтис, еще при царе родился в Келломяках, то бишь в Комарово. Близким другом Бродского стал виленчанин Чеслав Милош: оба они

не смолчали, когда литовское движение за независимость пытались подавить танки. Однажды — еще до начала этого движения — Иосиф сказал мне: «Было бы замечательно, если бы Польша и Литва вместе выпали из системы. А остальные — как они хотят». В дни, когда Литва совсем уже «выпадала из системы» — то ли в 1990, то ли в 1991 году, — я предложил ему съездить в Вильнюс и повидаться с тамошними друзьями (хотя и знал, что в Питер он не собирается). Мы рассматривали два варианта: поездка с литературными вечерами, на которые, естественно, приехали бы также люди из России (тогда виза еще не требовалась), и поездка инкогнито, в том же духе, что четверть века назад. Первый вариант был отвергнут, но второй обсуждался всерьез. Увы, не состоялся и он. Состоялись только стихи, в которых Иосиф, по своему собственному выражению, отплатил Вильнюсу и Литве искусством за искусство.

ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВА

Иосиф Бродский и Рамунас Катилюс

Рамунас Катилюс, физик-теоретик, профессор, близкие и друзья называли его Ромас, а в звательном падеже по-литовски — Ромай, умер 5 октября 2014 года, не дожив десяти дней до своего 79-летия. Ромас умер спокойно, без мучений, просто заснул и не проснулся. Такую смерть надо заслужить. Ромас заслужил.

Мы с Ромасом ровесники, оба старше Иосифа Бродского на пять лет. Я дружила с Ромасом радостно и взахлеб более 50 лет, при встречах мы не могли наговориться. Иосиф Бродский и Андрей Сергеев, не дожившие до нулевых годов, дружили с Ромасом короче, но тоже крепко, верно, по-мужски, ибо для всех нас Ромас был непререкаемым моральным авторитетом, человеком ясного ума, интеллигентным, основательным в своих суждениях, к которым все, даже Иосиф, прислушивались.

Все началось в далеком 1963 году. Мы с Андреем Сергеевым впервые попали тогда в Палангу, в Литву. Для нас Литва оказалась первой заграницей, хотя формально был все тот же Советский Союз. В действительности мы увидели поразительно другую страну — не совсем советскую, все еще сохраняющую

следы своей предвоенной независимости, крепко держащуюся за католическую веру, хотя Литва одной из последних в Европе приняла христианство.

И в первый же день приезда мы, к счастью, познакомились с Томасом Венцловой. Нам друг о друге в Москве много рассказывал и все хотел нас познакомить Ленья Чертков, который знал почти всех. Томас был высок, красив, чем-то внешне напоминал князя Мышкина, а его одаренность и образованность, доброжелательность и чудный юмор сразу располагали и обезоруживали. Русскую литературу, особенно поэзию, Томас знал, как мало кто в России. Мы с Андреем Сергеевым полюбили Томаса сразу.

Буквально через пару дней, гуляя с Томасом по Паланге, мы встретили его лучшего школьного друга Ромаса Катилюса с женой Элей, они недавно поженились. Томас сразу сказал нам, что без дружбы с Ромасом он, Томас, был бы совсем другим человеком, намного хуже. И мы с Ромасом и Элей подружились мгновенно, это как любовь с первого взгляда. У нас с Томасом и четой Катилюсов не оказалось никаких мировоззренческих расхождений, что при советской власти было решающим в дружбе, зато были общие эстетические предпочтения, особенно в стихах. Это сразу определило наших новых друзей как «своих» людей, которым можно доверять. Ромас любил стихи Томаса, уверял нас, что Томас талантливый поэт. Позже в Вильнюсе, на горе Гедимина, Ромас читал Андрею Сергееву, Лене Чертковой и мне наизусть стихи Томаса Венцловы по-литовски и тут же переводил их на русский строка за строкой. Даже такой способ знакомства со стихами не оставлял сомнений, что Томас — Поэт.

Томас и Ромас щедро делились с нами Литвой и своими литовскими друзьями. Мы со временем поступали так же — познакомили литовцев с Иосифом Бродским, Томаса еще

и с Анной Ахматовой. В Москве я отвезла Томаса к Надежде Яковлевне Мандельштам. Томас однажды сказал мне: «Это хороший обмен — за Литву я получил двух живых классиков». Происходило все это еще при жизни Анны Ахматовой и Иосифа Бродского в «любезном Отечестве».

Ромас пригласил нас из Паланги приехать в Вильнюс к нему в гости. Потому что нельзя нам не увидеть их любимой с Томасом «Вильнюс — город в Европе». Жили мы у Катилюсов на улице Лейиклос, дом 1, несколько лет подряд перед отъездом в Москву, жили как у Христа за пазухой. Описание самим Ромасом их дома и квартиры в Вильнюсе есть в этой книге.*

Ромас вырос в особенной, интеллигентной семье: родители — педагоги, во времена нашего знакомства с Ромасом они преподавали в педагогическом институте. Папа — математик, мама — лингвист, окончившая Сорбонну, блестяще знавшая французский язык. Ее «уроки французского» позже достались Андриюсу, старшему сыну Ромаса, который благодаря бабушке знает этот язык. Ромас ребенком застал еще буржуазную независимую Литву. Ни у кого из людей нашего поколения такого опыта, пусть и детского, не было — мы все родились при советской власти. У родителей Ромаса богатая библиотека, много предвоенных книг на разных языках. Хранились и документы времен советской оккупации. Помню, Ромас, выказав нам особое доверие, дал посмотреть один такой документ, в котором органам НКВД предписывалось арестовывать всех контрреволюционеров, троцкистов, бундовцев. Длинный такой список! В конце этого списка изъятию подлежали нумизматы, филокартисты, филателисты, футуристы, коллекционеры. Андрей

* См. с. 30–31 настоящего издания.

Сергеев был страстный нумизмат-коллекционер и вырос на футуристах. Мы все уже хорошо понимали и потому не задавали глупых вопросов: а нумизматов и футуристов за что?

В доме Катилюсов главным человеком и воспитателем Ромаса и Адаса была старая Асите, няня братьев, помощница и свой человек в доме еще их бабушки и мамы, член этой семьи. Если у братьев в юности, особенно у красавца и гуляки Адаса, возникали проблемы, все рассказывали Асите и просили ее ничего не говорить родителям. Асите всегда отвечала: «Зачем в доме устраивать пожар?» Асите была глубоко верующей католичкой, добрым ангелом этого дома, на всех действовала умиротворяюще, всех привечала с улыбкой, всех кормила-пила, ее любили все.

Вот именно в такой гостеприимный удивительный дом с традициями, в европейский город дивной красоты мы и позвали Иосифа Бродского в конце августа 1966 года. Конечно, пригласили Иосифа в гости братья Катилюсы, Андрей только по телефону передал Иосифу приглашение. Мы знали, в это время у Иосифа опять был разлад с Мариной, Иосиф всегда воспринимал это как конец света и терял самообладание. Мы боялись за него и потому позвали его в Вильнюс. Тем более что мы давно уже хотели познакомить Иосифа с Томасом Венцловой, двух поэтов, «этих двух замечательных мужиков», как выражался Андрей Сергеев. А тут была еще возможность познакомить Иосифа с удивительным Ромасом и вообще с Литвой.

На следующий день Иосиф прилетел в Вильнюс и подъехал к дому на такси, где его у ворот встретили Ромас и Андрей. Иосиф тут же попал под обаяние братьев Катилюсов и атмосферы их дома. После вкусного обеда я предложила Иосифу почитать стихи. Он с радостью согласился. Все происходило в столовой, за большим круглым столом. Ромас и через 44 года в интервью Валентине

Полухиной все еще ясно помнил о первом своем впечатлении: «Впечатление было ошеломляющим. Во-первых — сила самих стихов: неожиданность, богатство, масштабность, мощь. Во-вторых — впечатление от манеры (скорее — способа) чтения: громкость, модуляции голоса, особая, можно сказать — музыкальная интонация». После чтения Асите сказала тихо своим мальчикам по-литовски, что Бог точно поцеловал этого нового гостя при рождении. И всегда относилась к Иосифу по-особенному. Вот такая была эта простая, мудрая и светозарная Асите! А потом все отправились на вокзал провожать нас в Москву. До сих пор вижу у нашего вагона улыбающегося, счастливого Иосифа, который благодарит нас за то, что мы подарили ему Катилиусов и Вильнюс.

Иосиф прожил в Вильнюсе неделю. Ему, как и нам, показывали прекрасный старинный город, посвящали в историю Литвы. Свозили в Тракай, где в замке без всяких декораций можно и сегодня ставить «Гамлета». Потом Иосифа повезли в Каунас. Когда перед Иосифом открылась великолепная панорама Каунаса с противоположного высокого берега Немана, он сказал: «Зачем нужна вся Европа, если здесь такое». Ромас позже вспоминал: «Иосиф обронил фразу, вознаградившую нас, его литовских друзей, за все старания». Еще Пранас Моркус свозил Иосифа, Ромаса, Элю и Томаса Венцлову в Судерве, село недалеко от Вильнюса. Там красивый ротондообразный костел с исключительной акустикой. Тут наедине с настоятелем костела поляком Адольфом Трусевичем Иосифу удалось поговорить о своих внутренних бедах, касающихся проблемы прощения. Об этом только через 30 лет мы узнали из разговора ксендза Трусевича с польским литератором Яцеком Подсядло, а перевел их разговор на русский язык Ромас Катилиус. Ромас прекрасно владел русским языком, говорил по-русски без акцента, хорошо

писал по-русски. А его литовский язык на слух звучал красивее, чем у других литовцев.

Через неделю пребывания в Вильнюсе Иосиф поехал в Панлангу. Эту поездку организовал наш друг Юозас Тумялис. В Панланге Иосифа встретил и поселил во дворце бывших графов Тышкевичей Пятрас Юодялис, отец моей подруги Ванды и тесть Тумялиса. Пятрас Юодялис — довоенный литовский интеллигент, литератор, искусствовед, блестяще образованный человек живого ума. Летом Пятрас Юодялис жил и работал во дворце Тышкевичей, где разместился Музей янтаря. Пятрас Юодялис провел девять лет в Воркутинском концлагере, алюминиевая кружка вывезена оттуда. Бродский написал замечательное стихотворение, которое в черновике марамзинского издания, а потом и в израильском журнале было напечатано с посвящением: «Пану Пятрасу Юодялису с нежностью и любовью». Вот начало стихотворения и еще три строфы:

Коньяк в графине — цвета янтаря,
что, в общем, для Литвы симптоматично.

.....

Конец сезона. Столики вверх дном.
Ликуют белки, шишками насытятся.
храпит в буфете русский агроном,
как свыкшийся с распутицею витязь.
Фонтан журчит, и где-то за окном
милуются Юрате и Каститис.

.....

Страна, эпоха — плюнь и разотри!
На волнах пляшет пограничный катер.
Когда часы показывают «три»,
слышны, хоть заплыви за дебаркадер,

колокола костела. А внутри
На муки Сына смотрит Богоматерь.

И если жить той жизнью, где пути
действительно расходятся, где фланги,
бесстыдно обнажаясь до кости,
заводят разговор о бумеранге,
то в мире места лучше не найти
осенней, всеми брошенной Паланги.

Пятрасу Юодялису Иосиф и его стихи понравились чрезвычайно, он часто повторял, улыбаясь: «Juozapas — это молодой Гете».

В своем письме нам в Москву Иосиф дает отчет о Вильнюсе и наших литовских друзьях:

В православной Вильне было прекрасно! Братья (конечно, Катилюсы. — Л. С.) — один другого лучше. Такие чудные характеры. Без идиотской этой русской истерики... В один из этих дней — кажется, сразу после Вашего отъезда мы напильсь на Антоколе, а потом лазали в Старом городе с паном архитектором (с Адасом Катилюсом. — Л. С.) по черепичным крышам. А его брат спокойно стоял где-то далеко внизу, неподвижно, с перекинутым через руку плащом и размышлял о единой теории поля (это очень точный портрет Ромаса Катилюса. — Л. С.). [...] Потом приехал Томас. Я рад и даже немножко горд этим знакомством. Чудный парень, чудная физиономия. Теперь мы вполне можем [sic!] устанавливать свою иерархию. Двоих было мало. Большое Вам за него «ачу» (спасибо. — Л. С.).

Иосиф еще несколько раз ездил в Литву. Так завязалась эта верная крепкая дружба на всю оставшуюся жизнь с Томасом Венцловой и Рамунасом Катилюсом, любовь Иосифа к Литве и прекрасные литовские стихи Бродского. Уже из Штатов Иосиф писал Ромасу 17 мая 1973 года: «Странное это дело, но тоскую по Литве так, как если бы прожил в ней годы, а не три месяца — в сумме».

Я хорошо понимаю чувства Иосифа. Я тоже полюбила Литву на всю жизнь, я езжу в Литву летом уже более пятидесяти лет. Эта страна стала для нас с дочкой Аней землей обетованной, а встреча с любимыми литовскими друзьями — необходимым счастьем. Этим летом я первый раз за 52 года не увижу в Вильнюсе и в Паланге моего лучшего собеседника — Ромаса. Пока я не могу себе это представить, но в Москве я с ним общаюсь часто — он до сих пор лучший советчик в моих затруднениях.

В 1966 году Ромаса Катилюса пригласили работать в Ленинградский Институт полупроводников Академии наук. Встал вопрос о прописке и жилплощади. Путем сложного междугородного обмена на Рождество 1966 года Ромас и Эля стали счастливыми обладателями 30-метровой комнаты в коммуналке на углу улицы Чайковского и проспекта Чернышевского. Комната в двух кварталах ходьбы от улицы Пестеля и дома Мурузи. А через месяц у Катилюсов родился первенец — Андриус. С Ромасом Катилюсом и с его женой Элей дружба для Иосифа стала естественной необходимостью. Виделись не просто часто, а ежедневно, а то по два раза в день. Как это происходило, хорошо описано у самого Ромуса.*

* См. с. 52–54 настоящего издания.

Вот с этого времени почти все свои черновики Иосиф обычно оставлял у Катилюсов, сюда же прибавлялись экспромты с рисунками автора. Перед отъездом из страны Иосиф оставил на хранение Ромасу и Эле много своих старых бумаг. Вскоре после отъезда друзья отдали Катилюсам один экземпляр машинописного марамзинского собрания сочинений Иосифа Бродского, правленный рукой Иосифа. А потом из Америки были письма Иосифа Катилюсам. Ромас, при его аккуратности и педантичности, все раскладывал по папкам и свято сохранял. Так собрался серьезный архив Иосифа Бродского у Катилюсов. Сейчас этот архив находится в Стэнфордском университете. И для научных исследований архивом можно пользоваться совершенно бесплатно.

Катилюсы тоже нередко приходили в гости к Бродскому, а 24 мая, в день рождения Иосифа, — непременно. Однажды Иосиф позвонил и срочно позвал Ромаса к себе. Оказалось, в Ленинград на один день приехала Надежда Яковлевна Мандельштам. Иосиф потом сказал о Надежде Яковлевне: «Люблю Надежду не за ее заслуги или ум, а за то, что она человек нашего с тобой поколения». Когда Иосиф представил Надежде Яковлевне Ромаса, она приветливо улыбнулась ему и сказала: «Да, мне в Москве говорили, что около Иосифа теперь имеется положительный литовец».

Этот положительный литовец Ромас всегда имел обо всем свое собственное суждение. Прекрасный американский славист Карл Проффер, основатель знаменитого издательства «Ардис», вспоминает, как они с женой Эллендеей и Ромасом были у Иосифа в гостях в канун нового, 1970 года. Эту запись Карла привела Эллендея Проффер в книге «Бродский среди нас». Ромас увидел на столе у Иосифа черновик письма

Брежневу. Это было ходатайство Иосифа об отмене смертного приговора Эдуарду Кузнецову и его сообщнику Дымшицу по «самолетному делу». Иосиф проводил в этом письме параллель между нацистами и Советами в их антисемитской политике. Ясно было, что, если Иосиф отправит это письмо, ему несдобровать. Все заспорили, начали убеждать Иосифа не делать этого. А Ромас спокойно указал Иосифу на грубую юридическую ошибку. Ромас сказал, что Иосиф неверно пишет, будто бы ни в одной стране намерение не приравнено к совершению преступления. Иосиф не поверил и достал Уголовный кодекс. Ромас начал его листать и нашел раздел, доказывающий, что намерение приравнивается к деянию. Иосифу пришлось признать свою ошибку. Но откуда Ромас это знает, он что, каждый день читает Уголовный кодекс? Ответ Ромаса демонстрировал его широкие познания во многих областях. Он сказал, что так обстоит дело во всех странах, унаследовавших кодекс Наполеона. Слава богу, Иосиф не послал свое письмо, да и отпала необходимость — смертную казнь участникам «самолетного дела» заменили на лагерь.

Когда у Катилюсов появилась в Ленинграде отдельная квартира на проспекте Энгельса, они оставляли Иосифу ключи от нее, уезжая на лето с детьми в Вильнюс. Так появился прелестный экспромт Бродского с его рисунками.

Сыновья Катилюсов, которых Иосиф любил фотографировать, росли на его стихах. Младший, Рамутис, говорил, что он знал наизусть «В деревне Бог живет не по углам» еще до того, как научился читать. С подростком старшим, Андрусом, Иосиф любил ходить на прогулки в Таврический сад. В архиве Йельского университета сохранилась открытка третьеклассника Андрусса, которую он послал «дяде Иосифу» в Америку.



ЗЕМЛЯ

Мои любезные друзья!

Я Вашим восхищен жилищем!
 Жаль, что к дверям его нельзя
 прибить: "ВОТ ТО, ЧЕГО МЫ ИЩЕМ!"
 Оно прекрасно, это - раз.
 А два-с, скажу Вам по секрету
 /чтоб мысль не развивали эту/:
 оно прекрасно и без Вас.
 Я кое-что здесь сочинил
 /не много; так, одно, другое/,
~~еще ничего~~ ^{еще поспит} ~~ничего~~ и,
 и ничего не починил.
 Придерживаясь честных правил,
~~нигде не бываю~~
 не портил девственниц я здесь.
 Ваш сахар уничтожив весь,
 я кофе Вам зато оставил.



Иосиф

THE POET AND HIS

Судьба ершла милога:
 Одесса 7 месечалея



~~Аму в Одессу, поди в Мисносу
 Вернуто, дулина 5-10 мес.~~

Факсимиле стихна «Мои любезные друзья»

Именно к Катилюсам пришел Иосиф почти в состоянии нервного срыва, когда они окончательно расстались с Мариной Басмановой.

В августе 1968 года советские войска вторглись в Чехословакию. Иосиф сразу принес Катилюсам черновик стихотворения: «За Саву, Драву и Мораву...»*

А потом Иосиф принес еще три строфы с вариантами и незаконченную четвертую:

За Саву, Драву и Мораву
за Лабу, за Дунай, за Влтаву.
За наш позор, за вашу славу
скрестим со сталью вороненой
хрусталь Богемии граненый.

Это наглое вторжение вызвало такую боль, такой гнев и такой стыд у Бродского, что он начал писать стихотворение на острую политическую тему, чего обычно никогда не делал. Пражская весна кончилась поражением, стихотворение Бродского так и осталось в архиве Ромаса Катилюса неоконченным.

В Ленинград часто приезжал Томас Венцлова, любимый собрат по перу Иосифа Бродского. И тогда эти трое интеллектуалов с отменным чувством юмора общались друг с другом и дома у Катилюсов, и на Пестеля, и на прогулках по Питеру и его окрестностям. Есть известная фотография улыбающихся Иосифа, Ромаса и Томаса на даче у Эткиндов, сделанная Машей Эткинд.

* См. с. 66 настоящего издания.

За Саву, Драву и Мораву,
за Лабу, за Дунай, за Влтаву,
за реки - символы свободы,
за то, что приамми эти воды
не вычерпать солдатской каской,
за то, что не впадают в Каспий
и вспять бежать им не по нраву

за Саву, Драву и Мораву
за Лабу, за Дунай, за Влтаву,
За то, что русскому удаву
не поддается чешский кролик,
за то, что в Праге крутят ролик
спять времен протектората,
за то, что Каин вспомнил брата
и в ночь сварганил перенраву

за то, что к чистому составу
дерьмо прииспичать не
мочу татар к славянской крови

За Саву, Драву и Мораву
за Лабу, за Дунай, за Влтаву
за то, что больше по составу
в славянских кровеносных руслах
мочи татар, чем крови русских.
за то, что как на святотатство
ни чех, ни чешка не польстят
на эту мутную отраву.

за Саву, Драву и Мораву
за Лабу за Дунай, за Влтаву
За наш позор, за вашу славу
скрестим со сталью вороненной
хрусталь богемии граненый

На глазах Ромаса создавался «Литовский дивертисмент» Бродского, посвященный Томасу Венцлове. Три машинописных варианта с пометками рукой Бродского тоже сохранились в архиве Катильюсов. Ромас написал: «Этот „триптих“ манускриптов особенно дорог мне. И потому, что это — литовская тема, и потому, что каждый манускрипт Иосиф приносит отдельно, с разрывом в 2–3 дня, так что мы с Элей могли себя чувствовать прямыми свидетелями процесса творчества».

И вот поступило приглашение в ОВИР, где Иосифу предложили покинуть страну по израильской визе. Машинописный текст своего разговора с полковником Пушкаревым в ОВИРе Иосиф сделал сразу и отдал текст Ромасу на хранение. Теперь благодаря Ромасу мы точно знаем, как обстояло дело в ОВИРе и почему Иосиф согласился уехать из страны.

Ромас был в аэропорту 4 июня 1972 года в числе многих провожающих, а Миша Мильчик сделал там свои знаменитые фотографии Иосифа, особенно на чемодане. Именно положительного Ромаса позвал Иосиф, чтобы присутствовать при таможенном досмотре. В чемодане Иосифа никаких незволенных к вывозу вещей не было. Потом Иосифа увели для личного досмотра. Все провожающие переместились к боковому выходу, откуда были видны пассажиры на Вену, которые садились в аэропортовский автобус уже к самолету. Бродского среди них не было. Вдруг Иосиф появился с таможенником и передал Ромасу большой нательный инкрустированный грузинский крест, который ему недавно подарили. Он недолго носил этот крест на груди. Оказалось, крест нельзя вывозить тоже. Ромас взял крест и в тот же день передал его маме Иосифа Марии Моисеевне.

О другом, католическом, кресте племянник Бродского Михаил Кельмович в своей книге «Иосиф Бродский и его семья»

пишет: «Потом она (Мария Моисеевна. — Л. С.) стала носить большой католический крест на груди, носить с вызовом. Его подарил кто-то из прибалтийских друзей Иосифа. Не помню — Ромас или Томас. Я часто слышал вместе два имени: Ромас и Томас [...]. Знал, что они из Прибалтики и друзья Иосифа. Их имена всегда произносили вместе с загадочной и важной интонацией».

После отъезда Иосифа Катилюсы с детьми регулярно навещали родителей Бродского, их сыновья заменяли Марии Моисеевне и Александру Ивановичу родного внука, которого им почему-то видеть было нельзя. А потом Катилюсы хоронили родителей Иосифа друг за другом, сначала Марию Моисеевну, потом Александра Ивановича.

Ромас Катилюс вернулся в свою родную Литву в 1988 году — полным ходом шла перестройка, заговорила гласность, в воздухе запахло свободой. Был создан в Литве внепартийный, народный «Саюдис», организован странами Балтии грандиозный Балтийский путь — от польской границы Литвы через Латвию до границы Эстонии с Советским Союзом несколько миллионов людей стояли плечом к плечу, взявшись за руки, со своими национальными флагами. Прибалтика требовала свободы. Литва первой объявила де-факто о своей независимости.

Я хорошо помню огромный митинг в Вильнюсе 23 августа, еще в Советском Союзе, в день подписания позорного пакта Молотова—Риббентропа, в результате которого прибалтийские страны и стали частью СССР — Гитлер со Сталиным разделили Европу. Я вместе со своими литовскими друзьями была тоже на этом митинге — у всех на груди приколот маленький литовский триколор в траурном обрамлении. А потом мы все вместе собрались у нашей подруги Ины Вапшинскайте в самом центре Вильнюса. Все радовались друг другу, были полны счастливых

надежд, не могли наговориться. Вспоминались справедливые слова диссидентки Наташи Содомской, сказанные ею еще в 1970-е годы: «Мы не сопьемся, мы стреплемся». Ромаса, как всегда, волновало главное. Литве еще только предстояло обрести независимость де-юре, нельзя ни за что тут наломать дров. Ромас первый заговорил о том, что независимость — дело ответственное, а потому она должна быть не на словах, а на деле. Никакой национальной узости, а тем более агрессии нельзя допустить: все, кто в данный момент фактически проживает в Литве, независимо от национальной и религиозной принадлежности должны стать ее полноправными гражданами. Ромас просил Юозаса Тумялиса, который в то время был одним из руководителей «Саюдиса», употребить все свое влияние на депутатов Сейма в этом вопросе. «Если понадобится, я подключу к этому всю Академию наук», — говорил Ромас. Так думали в Литве тогда не все.

И Литва единственная из стран Балтии приняла именно такой демократический закон о гражданстве. В Литве все граждане имеют единый литовский паспорт. Ромас этому очень радовался и до конца жизни работал на демократию своей Родины. Ромас мне однажды сказал: «Я всегда знал, что я вернусь в Литву». Ромас Катилюс занимался в Литве не только наукой, но и общественной деятельностью. Он был активным членом правления Фонда Сороса, который сделал для литовской демократии, науки и культуры очень много.

Смерть Иосифа для всех нас, его друзей, была огромной личной утратой — стало как-то пусто на земле.

Он умер в январе, в начале года.

Под фонарем стоял мороз у входа.

Не успевала показать природа
ему своих красот кордебалет.
От снега стекла становились уже.
Под фонарем стоял глашатай стужи.
На перекрестках замерзали лужи.
И дверь он запер на цепочку лет.

Так замечательно писал Иосиф Бродский в Норенской, в ссылке, на смерть Т. С. Элиота, а оказалось — на свою собственную. Ромаса, в числе немногих друзей, вдова Бродского Мария пригласила на торжественную траурную церемонию, которая состоялась в соборе Святого Иоанна Божественного в Нью-Йорке на сороковой день после смерти Иосифа. Ромас Катилюс с амвона прочитал стихотворение Бродского из «Литовского дивертисмента»:

DOMINIKONAI

Сверни с проезжей части в полу-
слепой проулок и, войдя
в костел, пустой об эту пору,
сядь на скамью и, погодя,
в ушную раковину Бога,
закрытую для шума дня,
шепни всего четыре слога:
«Прости меня».

По просьбе Марии Бродской Яков Гордин прочитал стихотворение Мандельштама «Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма...». Иосиф Бродский очень любил это стихотворение.

21 июня 1997 года Ромас и Эля Катилюсы присутствовали на церемонии перезахоронения Иосифа Бродского в Венеции на кладбище острова Сан-Микеле, недалеко от Дягилева и Стравинского.

С этого времени Рамунас Катилюс всю свою жизнь тратил больше, чем на физику, на увековечивание памяти Иосифа Бродского в Литве. Уже в марте 1997 года был вечер памяти Бродского в Доме открытой Литвы как отзвук молебна в соборе Нью-Йорка. В июле в Вильнюсе был другой мемориальный вечер, в котором приняли участие Чеслав Милош, Томас Венцлова и Евгений Рейн. Литовская пресса вынесла на первые полосы газет репортажи об этом событии. Все эти газеты Ромас тут же прислал мне в Москву. Огромными усилиями Пранаса Моркуса при финансовой поддержке Томаса и Ромаса, а также множества безымянных людей 2 октября 2000 года на фасаде дома 1 на улице Лейиклос была открыта мемориальная доска с факсимильным воспроизведением подписи по-литовски Иосифа Бродского к стихотворению «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стала для меня...») из архива Катилюсов.* А в 2014 году стараниями Пранаса Моркуса при финансовой поддержке Томаса Венцловы и Ромаса Катилюса мост в Паланге через реку Раже стал носить имя Бродского.

После присуждения Бродскому Нобелевской премии запрет на публикации его сочинений отпал. В Литве начали печатать стихи и эссе Бродского в переводе на литовский. В июне 1990 года в вильнюсской газете «Согласие», выходявшей на русском с эпиграфом «За вашу и нашу свободу», напечатан текст Ромаса Катилюса «Иосиф Бродский и Литва». Все выпуски

* См. с. 159 настоящего издания.

«Согласия» литовские друзья собирали для меня. Ромас принимал участие в вечере «Иосиф Александрович Бродский. Пятидесятая годовщина...» в зале Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина. Ромас организовал отдельно от петербургской конференции в музее Ахматовой еще и конференцию к 70-летию Бродского в Литве, в Вильнюсе, в конце мая 2010 года. Нина Ивановна Попова, Ирина Петровна Бородина и я были участниками той вильнюсской конференции. Приехали гости из Москвы, Петербурга, США, Великобритании, Швеции, Польши. Всем гостям были посланы приглашения из министерства иностранных дел для получения виз. Все это организовал Ромас Катилюс. Это был праздник для всей Литвы, для литовской интеллигенции в особенности. Открывал конференцию экс-президент Валдас Адамкус, модератором был Ромас. Министр иностранных дел Литвы устроил для гостей конференции прием с ужином в знаменитом кафе «Неринга», ему посвящено стихотворение Бродского в «Литовском дивертисменте».

В 2012–2013 годах Ромас был организатором и составителем прекрасной (полиграфически в том числе) книги на литовском языке «Связи Иосифа Бродского с Литвой», где помещено много фотоматериалов из архива Катилюсов.*

Ромас мне неоднократно говорил, что благодаря общению с Иосифом и с его стихами жизнь семьи Катилюсов стала необыкновенно содержательной и эмоционально насыщенной. Такой была жизнь Ромаса до самого конца.

Провожая в 1988 году Андрея Сергеева в Москву из Нью-Йорка, Иосиф Бродский в аэропорту Кеннеди сказал: «Ну что,

* Настоящее издание является ее расширенным воспроизведением.

Андрей Яковлевич, в этой жизни мы уже с вами встретились. Что же мы будем делать в следующей?» Я уверена, что и в следующей жизни Иосифу, Андрею и Ромасу по-прежнему интересно общаться друг с другом и слушать стихи Иосифа Бродского. А мы, друзья Иосифа, Андрея и Ромаса, по-прежнему любим их и часто вспоминаем. Слава богу, еще не настало время, когда «не с кем плакать, не с кем вспоминать». Надеюсь, и не настанет.



Томас Венцлова и Рамунас Катилиус. 2006 год
Фото Гедиминаса Землицкаса

ТОМАС ВЕНЦЛОВА

О составителе этой книги

Чем дольше и ближе ты знал человека, тем труднее о нем писать. С Рамунасом (в просторечии Ромасом) Катилеусом мы были знакомы примерно шестьдесят пять лет. Это огромный срок, длиннее иной человеческой жизни. При этом слова «знакомство» и даже «дружба» тут не слишком подходят. Рамунас был для меня кем-то вроде старшего брата и формировал меня больше, чем кто бы то ни было другой. Пожалуй, это мог бы сказать не только я.

Трудно еще одно. Кто-то заметил, что к Рамунасу не подобрать никакого негативного эпитета. Сейчас я пробую вспомнить — и правда, какие у него были отрицательные свойства? Склонность к дидактизму? Может быть. Самоуверенность? Случалась. Излишняя влюбчивость? Да, была, во всяком случае в молодости. Неуживчивость в семье? Говорят, иногда проявлялась, но только семья может об этом судить. Во всем остальном он был этическим эталоном, как платиновый метр или килограмм в подземельях Парижской палаты мер и весов. Миротворительный, но всегда готовый обоснованно защищать свою точку зрения,

которая в конце концов оказывалась умнее других. Неколебимо порядочный в эпоху, когда порядочность была редким и высоко ценимым свойством. Серьезный ученый, человек разума, отдававший себе отчет, что есть предметы, разуму неподвластные. Верный в дружбе, тактичный, быть может, не очень склонный к юмору, но прекрасно его понимавший.

С Иосифом Бродским, который звал его Ромкой, они знали друг друга тридцать лет — виделись, правда, только шесть, потом Иосиф эмигрировал. Помню, как он сказал мне за день до отъезда: «Я привык жить без сына, без Марины, без родителей, но мне будет трудно без пяти людей». К числу этих людей отнес Виктора Гольшева, Андрея Сергеева, Гарика Гинзбурга-Воскова и Ромку Катилюса. Не забывали они друг друга никогда, хотя встретились только после смерти Иосифа, на вечере в его честь в Нью Йорке и на похоронах в Венеции. Смею сказать, что и для Иосифа Рамунас был авторитетом, почти что старшим братом. Поэтом он не был, но был знающим и просвещенным ценителем поэзии. Кстати, внешне, по-моему, был чуть-чуть похож на Одена, которого Иосиф любил.

Мы с Рамунасом (или Ромасом) познакомились где-то в 1950 году, в седьмом классе, когда ему было лет пятнадцать, а мне и того меньше. Об этом стоит немного рассказать. Классы у нас были параллельные — седьмой «b» и седьмой «c». В классе «b» я плохо уживался с ребятами, но мой приятель из класса «c» Виргилиус Норейка — потом известный оперный певец — уговорил перейти к ним: там люди были поумнее, и можно было ожидать, что они примут меня со всеми мало-приятными чертами моего характера. Я не был ни физически сильным, ни особенно драчливым, но в первый же день в новом классе сбил Ромаса с ног — он ударился головой об пол

и несколько дней не приходил в школу. Родители послали меня к нему извиняться и мириться. Оказалось, что в раннем детстве он болел полиомиелитом и с тех пор не очень твердо стоял на ногах. Извинение как-то немедленно перешло в дружбу, и с тех пор я ходил к Ромасу домой раза два-три в неделю — до конца школы, потом и в университете. Приходил и он ко мне, но реже: моя семья была, увы, номенклатурной, и дом казался не слишком доступным, хотя таким на самом деле не был.

Родители Ромаса были, что называется, обломками старой интеллигенции. Эта интеллигенция довоенной независимой Литвы, сформировавшаяся в университетах западного толка, при советской власти оказалась либо в Америке, либо в сибирской ссылке и лагерях. Впрочем, кто-то уцелел, а потом кто-то вернулся из ссылки, как это было и в России. Катилиус-старший был профессором математики в пединституте, а жена его, лицензиат Сорбонны, преподавала в том же пединституте французский. Квартира на улице Лейиклос у них была немаленькая, в ней отличная библиотека на разных языках, включая довоенные книги, на которые власти смотрели косо — некоторые были и вовсе запретными, они лежали в тайном месте. Ромас, как и я, интересовался практически всем на свете — на этом мы и сошлись. Обсуждали историю, литературу, живопись, театр, кино, физику, химию, астрономию, биологию, потом и философию, даже богословие. Делились любой новой информацией, которой после смерти Сталина стало много больше (я тогда выучил польский язык, с головой погрузился в польские журналы и книги — а они в Вильнюсе были относительно доступны — и часами пересказывал Ромасу то, что в них нашёл). В точных науках превосходство Ромаса было явным — я часто списывал у него решения математических задач, правда, больше по лени,

чем по непониманию. Одной из наших важных тем была архитектура Вильнюса: тут подключался младший брат Ромаса Аудронис, или Адас, который потом стал архитектором, — сейчас он работает хранителем и реставратором вильнюсских замков, а это в Литве нешуточное дело.

Адас был спортсменом и гулякой, чего о Ромасе не скажешь. С полиомиелитом он как-то справился, даже не хромотал, только что бегать не мог. Увы, постполио-синдром иногда проявляется через десятки лет, ведет к параличу и смерти: это с Ромасом в конце концов и случилось. Вдобавок в детстве он перенес тяжелую желтуху. Справился и с ней, но не пил ни грамма алкоголя, а это в наши времена и в нашей среде было не просто. «В компаниях я пьянею вместе с друзьями», — говорил он и действительно обладал этим счастливым свойством. Чего в нем не было — это малейших признаков инвалидности, особенно психологии инвалида. Был он человеком вполне жизнерадостным, свое детство и юность считал счастливыми. В одном интервью сказал: «Школьные годы — годы внутренней и внешней гармонии. В классе я чувствовал себя прекрасно».

Это звучит очень странно — времена-то были сталинскими и ранними послесталинскими, то есть тяжелыми во всех отношениях. Помогали атмосфера родительского дома, наверное, и атмосфера Вильнюса, которую многие справедливо называют магической. Школа у нас тоже была особенная, большинство учителей успели сформироваться до советской эры, то есть сохранили навыки порядочности, честности, уважения к знанию. Классная руководительница Броне Катинене, одна из добрейших женщин, каких я знал, не скрывала свой литовский патриотизм, но отнюдь не была националисткой. Да и почти все другие от нее в этом смысле не отличались. Русскую литературу преподавал

Михаил Шнейдер, или Шнейдерис, талантливый человек, который читал нам в основном Маяковского — а от Маяковского шли нитки и к Блоку, и к Есенину, и даже к Пастернаку с Хлебниковым (Мандельштама и другие совсем уж запретные имена мы узнали потом, но не слишком поздно). Темным пятном были уроки дарвинизма, то есть лысенковщины — к ней Ромас проникся столь живой ненавистью, что в отместку Лысенко позднее освоил генетику на вполне профессиональном уровне. Класс подобрался тоже замечательный — без ябед, бездельников и уж наверняка без стукачей. Ромас был его бесспорным лидером — прирожденным воспитателем и арбитром. Практически всех нас загнали в комсомол, но это было формальностью и даже иной раз приносило пользу в решении реальных школьных дел. Никто из нас не пошел по карьерной дорожке: едва ли не большинство стало геологами, а это была профессия настолько далекая от партийных дел, насколько это вообще возможно.

Я-то поначалу верил, что коммунизм есть светлое будущее человечества, да и Ромас соглашался, что в марксизме можно усмотреть нечто дельное, но он был куда бóльшим скептиком, и к концу школы мы воспитали друг в друге явное свободомыслие. Руководил, конечно, Ромас, но тут существовала и обратная связь (в университете я даже стал своего рода экстремистом — темпераменту Ромаса такое было чуждо). Осторожные родители это не всегда одобряли, но Ромас как-то сказал: «С определенного возраста родителей надо воспитывать». Немалое впечатление на нас обоих произвел «Литовский архив» — запретная и поэтому опасная книга, сборник документов о советской поре 1940–1941 годов, опубликованный при немцах. Там, увы, хватало антисемитизма, но факсимиле приказов о депортации казались (увы, и были) подлинными. Кстати, хватать

и ссылать предписывалось прежде всего троцкистов, потом социал-демократов, потом других левых, лишь после этого правых и, наконец, всех, кто поддерживал отношения с заграницей, включая собирателей марок.

Мы оба кончили школу с медалью (всего медалистов в нашем классе было целых семь) и по тогдашним правилам могли поступить на какой угодно факультет без вступительных экзаменов. Ромас имел несомненные способности к филологии, но отлично понимал, с какими моральными проблемами это связано в Советском Союзе. «Я побеждал на математических олимпиадах, — говорит он в интервью, которое уже цитировалось, — но ощущал, что математика для меня слишком абстрактна, что для нее нужен совершенно специфический талант. Осталась физика — теоретическая физика. В других условиях я, возможно, пошел бы по иному пути — скажем, изучал бы право. Но о своем выборе не жалею — он обеспечил мне в жизни достаточно независимое положение». Адвокатом или судьей Ромас был бы первоклассным, но для этого требовалось нормальное общество. Я, к слову сказать, тоже подумывал о чем-то за пределами гуманитарных наук, но Ромас меня переубедил: «Как это ни грустно, ты годишься только для филологии».

В физике Ромас стал заметной фигурой — доктором наук, одним из основателей дисциплины, которую называют кинетической теорией флюктуаций. У него был свой стиль работы, соответствующий его уравновешенному, основательному характеру. Коллега и соавтор Ромаса Арвидас Матуленис как-то заметил: «Мы обычно пытаемся воздействовать на объект, получить его ответ и на этом основании строить теорию. Рамунас Катилиус утверждал, что объект надо оставить в покое — он сам заговорит». Много лет Ромас работал в питерском

Физико-техническом институте имени А. Ф. Иоффе, позднее вернулся в Вильнюс, но, по сути дела, всегда оставался гражданином обоих городов — и Петербурга и литовской столицы. Великолепно владел русским, к твердолобому литовскому национализму относился не без аллергии; впрочем, жену, узбечку Элю Сабирову, тоже физика и прелестную женщину, почти превратил в литовку.

Под конец жизни ему повезло — обретя известность далеко за пределами Литвы и России, он часто ездил на международные конференции, особенно в Италию, о которой всегда мечтал и в искусстве которой разбирался (Вильнюс ведь почти итальянский город). Я посылал ему письма то из Принстона, с описанием кабинета Эйнштейна, то из Лос-Аламоса — мест, куда Ромасу не случилось добраться. Однажды, просматривая его статью, состоящую в основном из непонятных формул, я сказал: «Что ж, ты научился очень трудному языку — это примерно то же, что научиться водить сверхзвуковой самолет». — «Довольно точное сравнение», — откликнулся Ромас.

Но все это было много позднее. В университетские годы мы продолжали почти одинаково интересоваться всем на свете. Ромас не забывал литературу. Как-то мы с ним съездили на Кавказ: при нас был довоенный том Пастернака — «Поверх барьеров», «Сестра моя жизнь», «Темы и вариации» и многое другое, который мы прочли от корки до корки, на месте постигая, что значит «сиренью моет подоконник продрогший абрис ледника» или «зоркий, как глазной хрусталик, незастекленный небосклон». Помнится, мир Пастернака мы прозвали «корпускулярным», а мир Цветаевой, которая тогда стала проникать в наш обиход, в самиздатских списках (увы, со множеством ошибок) — «квантовым». Ромас как раз изучал квантовую механику и читал мне о ней целые лекции.

Понемногу в университете образовалась компания единомышленников — Пранас Моркус, Юозас Тумялис, мы с Ромасом, где-то поблизости еще Зенонас Буткявичюс и Юдита Вайчюнайте; позднее присоединился Виргилиус Чепайтис со своей тогдашней женой, москвичкой Наташей Трауберг. Люди были в большинстве эксцентричные, Ромас, как и в школе, выделялся положительностью и спокойствием. Кто читал Честертона, кто Рильке, кто Гомбровича, а кто и Фому Аквинского, но на любви к Пастернаку сходились все. Когда Пастернак был выдвинут на Нобелевскую премию, мы послали ему короткое письмо с пожеланиями здоровья и новых книг. Примерно тогда же в Вильнюс приехал Алик Гинзбург, издававший нечто труднообразимое — первый со времен революции и Гражданской войны неподцензурный поэтический журнал «Синтаксис». Он хотел изготовить его литовский номер, мы пробовали ему помогать, но дело кончилось ничем, ибо Гинзбурга, как нетрудно догадаться, посадили. Был еще кружок по изучению литературных и культурных новинок (или того, что нам казалось новинками), от Джойса до Ионеско. Туда ходило человек двенадцать, в том числе приятель Ромаса и Адаса Кама Гинкас, будущий известный режиссер, который в кружке, кажется, впервые узнал о Мейерхольде. Опять же нетрудно догадаться, что все это привело к серьезным неприятностям. Впрочем, вся наша вильнюсская компания уцелела, хотя судьбы у некоторых были покалечены.

Так что у нас уже были связи с русской неофициальной культурой, и, когда мы — кажется, в 1963 году — познакомились с Андреем Сергеевым, переводчиком Фроста и Элиота, собеседником Ахматовой и другом Бродского, оказалось, что наши художественные вкусы, равно как отношение к власти предрержащей, в общем совпадают. Тогда это узнавалось по именам,

которые считались тайными или запретными, по нескольким прочитанным строкам любимых поэтов. Андрей распознал во мне «своего» вот по какому признаку: услышав, что он занимается нумизматикой, я сказал: «Ну, как Розанов». И он и жена его Люда сразу подружились с братьями Катилюсами, которые показали им Вильнюс и многое объяснили о Литве, особенно послевоенной. У Андрея был давний друг, поэт, бывший политзек и великий знаток «серебряного века» Леонид (или Леня) Чертков, который как-то проехал по трем прибалтийским республикам и вынес оттуда следующие впечатления: «В Эстонии и Латвии попадаетея русская интеллигенция. В Литве ее нет, но литовцы выделяют нечто вроде русской интеллигенции из своей собственной среды». Классическим примером этого был именно Ромас. Речь шла не о русификации — Ромас был несомненным литовским патриотом, — но о принятии того кодекса чести и той верности принципам, которые с давней русской интеллигенцией обычно связывают.

В конце августа 1966 года, почти сразу после ссылки, в Литву приехал Бродский. Прислал его именно Андрей Сергеев, который знал о его тогдашних личных и не только личных проблемах и надеялся, что Литва и Вильнюс помогут ему прийти в себя. Об этом много написано, в том числе и мною самим, — собственно, этому посвящена целая книга, лежащая перед читателем. Не буду повторяться, скажу только, что дни, проведенные в квартире Катилюсов (сейчас на стене дома установлена мемориальная доска), неподалеку от «двуглавой Катарини» и Доминиканского собора, были, может быть, самыми счастливыми в доэмигрантской жизни Бродского, как бы предвкушением Венеции и Рима. В Литве Иосиф нашел целый круг людей того же этоса, что и он, — по его же словам, в Москве и Питере их не

хватало. Улица Лейиклос навсегда вошла в русскую литературу. Замечу, что в польскую тоже — за тридцать лет до Бродского и нас, грешных, по ней ходил Милош и описал ее в своих воспоминаниях, хотя тогда мы этого не знали, да и о самом Милоше имели очень приблизительное представление.

Вскоре после этого Ромас переехал в Ленинград, то есть в Петербург, и поселился там с женой Элей на улице Чайковского, то бишь Сергиевской, неподалеку от метро «Чернышевская». Литейный был практически рядом. Еще ближе был Спасо-Преображенский собор, на который выходил балкон квартиры Бродского. Как известно, названия «Лейиклос» и «Литейный» имеют тот же смысл, но тут оказалось еще одно знаменательное совпадение: собор строил тот же архитектор-классицист Василий Стасов, что и дворец в Вильнюсе, у которого улица Лейиклос заканчивается (Бродский с Адасом Катилюсом лазал по крыше его кордегардии — сейчас это уже не удалось бы, ибо во дворце устроена Президентура). Так что топографии Вильнюса и Петербурга — совершенно разных, явно контрастных городов — превосходно наложились друг на друга, даже срослись. Было это символично или эмблематично, ибо так же связались вильнюсские и питерские биографии. Именно тогда Ромас стал, быть может, самым близким из друзей Иосифа. У Катилюсов едва ли не ежедневно читались стихи и обсуждались события — а событий тогда было много, хотя бы Шестидневная война, вторжение в Чехословакию, первые демонстрации диссидентов, начало эмиграции из СССР. Черновики Иосифа накапливались у многих, но, может быть, больше всего их оказывалось у Ромаса. Я, кстати, тогда тоже часто ездил в Питер и ухаживал у Ромаса за Таней Никитиной, своей будущей женой. В питерский круг друзей тогда вошел и Ленья Чертков, который, как сотрудник «Литературной энциклопедии»,

получил постоянный пропуск в спецхран Публички и сочинил по этому поводу стихи: «Целитель всех на свете ран — коммунистический спецхран». Он приносил оттуда и всем нам читал множество выписок из запретной печати.

Мы понимали друг друга с полуслова, и наш ежедневный обиход состоял из шуток, острот, на ходу возникавших едких афоризмов, импровизированных текстов — рифмованных и не только. Помню шутку Иосифа: «Ромас книг не читает, но любит о них поговорить», которая адресату очень понравилась — он ее часто повторял. Однажды обсуждали знаменитый, не слишком доступный в те времена фильм Тарковского о Рублеве: славянофильская это вещь или славянофобская? Ромас сказал: «Славянофильство и славянофобия — две стороны одной медали. А мне не нравится сама медаль». Он имел в виду подчеркнутое, эмфатическое отношение к нации — будь то русские, литовцы, да хоть французы или арабы. О другом прославленном фильме «Никто не хотел умирать», изображающем литовское послевоенное сопротивление по принципу «и нашим и вашим», Ромас выразился с великолепным презрением: «Эта публика продаст отца и мать родную, если им позволят снимать в необычном ракурсе».

Пристанище Ромаса и Эли на Чайковского было частью коммунальной квартиры. Через какое-то время они получили отдельную квартиру на проспекте Энгельса, то бишь Выборгском тракте. Почти там же Ромас когда-то жил в аспирантском общежитии. Квартира была попросторнее (к тому времени у Ромаса с Элей появилось двое детей), но, как говорится, у черта на куличках, автобус туда занимал не менее часа — машин, разумеется, ни у кого из нас не было. Помню самое начало 1971 года: новогоднюю ночь мы проводили у Иосифа, а следующую, с первого

января на второе, как раз на Энгельса. Были там Чертков с женой Таней Никольской, Эра Коробова, американские издатели Бродского Карл и Эллендея Профферы, красавица итальянка по имени Бьянка. Иосифа я сначала не узнал — он был в парике, длинные светлые волосы падали до земли. «Ты похож на леди Годиву», — сказал я, шутка ему понравилась. День был особый — Брежнев помиловал участников «самолетного дела». Полузабытая сейчас история сводилась к тому, что несколько человек намеревались похитить в Карелии маленький самолетик и перелететь в Швецию, а оттуда добраться до Израиля, но их арестовали еще до посадки на борт. Двое были приговорены к смертной казни, хотя никакого преступления не успели совершить. Иосиф, который сам когда-то думал о подобном деле (и тоже ничего не совершил), написал Брежневу письмо, солидаризуясь с приговоренными. К счастью, Запад реагировал на всю историю довольно решительно, к тому же генерал Франко помиловал в Испании каких-то революционеров, а быть более кровожадным, чем он, Брежневу показалось неудобно, и смертный приговор был заменен на лагеря. Это мы и праздновали, радуясь, что Иосиф свое письмо не успел отправить. Разговор дошел до высшей в те времена проблемы — «лучше быть красным или мертвым». Иосиф заявил, что в гробу предпочтительно лежать мертвому, а не живому, но Ромас его переубедил — даже под властью красных возможны разные варианты, а вот у мертвеца вариантов нет.

Надо сказать, Ромас был одним из немногих, кто мог и умел Иосифа переубедить. Если он говорил, что в новом стихотворении что-то непонятно или неудачно, Иосиф сперва возмущался, но дня через два-три приносил исправленный вариант. Самый известный случай, когда мнение Ромаса сыграло в жизни Бродского едва ли не основополагающую роль, — история

со стихотворением «Народ». С него должна была начинаться первая публикация Бродского после ссылки, потом обещали и книгу все с тем же стихотворением как «локомотивом». Ромас четко сказал, что этого делать не надо.* Стихи были хорошие, Ахматова была от них в восторге, но все же они могли быть восприняты как жест примирения с властями, и сами власти, несомненно, нашли бы способ это подчеркнуть. Иосиф с Ромасом согласился, стихотворение снял, и книга в СССР не вышла — а если бы вышла, вся его судьба могла бы повернуться в другую сторону. Лев Лосев считает, что Ромас был неправ. Я так не считаю: в противостоянии с государством-Левиафаном — тогда это касалось многих писателей — единственным спасением была непреклонность, все другое портило дело и вело к проигрышу. Бродский, к счастью для себя и для литературы, остался непреклонным; таким же остался Солженицын, человек совершенно других взглядов и характера.

Когда Бродский уезжал в эмиграцию, Ромас был в числе семнадцати человек, которые его провожали в аэропорту. Таможня, разумеется, не пропустила рукописи Иосифа; именно Ромас, едва ли не самый собранный и толковый из провожавших, взял их и отвез родителям Бродского на Литейный. Потом были только письма, из которых мы узнавали о первых впечатлениях нового эмигранта и первых его шагах в Вене, Лондоне, Энн-Арборе. Писал сам Бродский, писали Профферы и Диана Абаева, наша давнишняя питерская знакомая, вышедшая замуж за англичанина (она умерла совсем недавно, и весть о ее кончине совпала с началом смертельной болезни Ромаса). Я по-прежнему курсировал между Вильнюсом и Питером: Ромас, который

* См. об этом эпизоде у самого Катилюса, с. 77–79.

сохранил связи с родителями Иосифа, с его окружением и вообще с питерским неофициальным миром, очень многое мне сообщал.

В 1975 году решение эмигрировать созрело и у меня. Это было сложным предприятием хотя бы потому, что тогда выпускали только «по израильской визе», а я евреем не был. Так что решил написать письмо в литовский ЦК, без обиняков изложив в нем свое мнение о советском строе, потребовать разрешения уехать на основании Декларации о правах человека и ждать результатов (которые могли оказаться вполне неприятными). Ромас был человеком, которому я более всего на свете доверял, поэтому, перед тем как отправить письмо адресату и пустить его в самиздат, я заглянул к нему и после обычных домашних разговоров безмолвно положил текст на стол. Он прочел, еще о чем-то домашнем поговорил и предложил прогуляться. Мы беседовали на пустой улице, где было трудно заподозрить подслушивание. «Дело серьезное, — сказал Ромас. — Не исключено, что тебе удастся, — в среднем такие истории сейчас занимают года два. Но ты должен совершенно твердо осознать, что после отправки письма пути назад не будет, поэтому надо быть готовым к любому развитию событий». Все продолжалось полтора года, как-то я был почти готов капитулировать. Тут Ромас мне опять помог. Сказал: «Ты попросту не имеешь права колебаться. Это слишком серьезное решение, причем не только для тебя. А если сдашься и покаешься, они тебе все равно никогда не простят».

Я уехал в январе семьдесят седьмого («Полтора года, результат несколько лучше среднего», — резонно заметил Ромас). С тех пор одиннадцать лет мы только переписывались. В 1988 году, в горбачевские времена, я побывал в Москве и Питере — что тогда еще казалось чудом, — а впоследствии стал часто заглядывать и туда, и особенно в Вильнюс, вновь ставший столицей независимой

страны. Разумеется, каждый раз видел Ромаса и Элю. Казалось, в этом нет ничего экстраординарного: мы продолжили наши беседы с того места, где они оборвались. Ромас не стремился занять видное место в литовской политике — такое место занял наш общий друг Юозас Тумялис, одно время и Виргилиус Чепайтис. Однако он пробовал воздействовать на состояние умов — и, думаю, не без некоторого успеха. Вместе с Иреней Вейсайте и другими десять лет работал в Фонде открытой Литвы (Фонде Сороса), который помог издать на литовском сотни важнейших книг, преодолеть изолированность прежних времен и привить «к советскому дичку» хотя бы начатки гражданского мышления. Продолжал заниматься и физикой. Но едва ли не важнейшей для него стала забота о памяти Бродского — здесь он сделал, возможно, больше всех после своего старого друга Михаила Мильчика, основателя музея Бродского в Петербурге.

Помню, как Ромас читал стихотворение из «Литовского дивертисмента» на службе в память Иосифа в нью-йоркском соборе Святого Иоанна Богослова (это была его единственная поездка в Америку и первое прощание с близким другом). Помню его приезд в Венецию на похороны Бродского в Сан-Микеле. Помню, как три нобелевских лауреата — Чеслав Милош, Вислава Шимборска и Гюнтер Грасс — в присутствии президента Литвы Валдаса Адамкуса открыли мемориальную доску под окнами старой квартиры на Лейиклос; Ромас при этом был, без него эта доска бы не появилась. Не буду перечислять литературные вечера, конференции, статьи — их было много. Было и необыкновенное совпадение: соседка и друг Бродского в Гринвич-Виллидже Маша Воробьева оказалась дочерью Николая Воробьева. Ромас связался с Машей и препроводил в Вильнюс воробьевский архив. Но главным делом его жизни оказалась книга «Связи Иосифа Бродского с Литвой», замечательное

собрание воспоминаний (включая его собственные), полезное для каждого, кто интересуется русской поэзией XX века. После ее выхода мы сказали: «Хотя ты когда-то отказался от филологии, вторую докторскую степень — по филологии — этой книгой заслужил». Ромас не дожид до русского издания, которое сейчас лежит перед читателем.

Уже скоро год, как Рамунаса Катилюса нет с нами. Хотя и странно, я этого не чувствую: приезжая в Вильнюс, знаю, что на первый или второй день обязательно зайду в его дом и там он, как всегда, будет сидеть в кресле, делясь литовскими новостями, внятно и уравновешенно разговаривая о литературе, истории, современных событиях, не менее трудных, чем в годы нашей юности. Да так оно и есть — он не ушел.

Вот отрывок из моих стихов двадцатилетней давности, посвященных Ромасу, да и всему нашему поколению.

Что оставалось нам? Ирония, терпенье
и редко — смелость. Чаще сумрачное чувство,
что меньше сделал, чем предполагалось свыше...

Лишь это и смогли мы выбрать. Но умели
принять как дар глоток из чаши горьких истин.
Не восхваляли смерть. Над сталью и бетоном
узрели ангелов. Любили. Возжигали
свечу в библиотеке. Как-то различали
по имени добро и зло. Уже с избытком
довольно для того, чтоб унести во мрак.*

2015. VII

* Перевод стихотворения с литовского Виктора Куллэ.

об авторах

Диана Абаева-Майерс [Diana Abaeva-Myers] (1937, Тбилиси — 2013, Лондон) — окончила филологический факультет Московского университета, затем в Ленинграде аспирантуру (древнеперсидский язык). Выйдя замуж, в 1967 г. уехала в Англию, работала в Школе славянских и восточноевропейских исследований (School of Slavonic and East European Studies). Защитила диссертацию по творчеству Осипа Мандельштама. Ее близкая дружба с Бродским, начавшаяся в 1966 г., продолжалась до самой его смерти.

Денис Ахапкин (р. 1969, Ленинград) — окончил филологический факультет Ленинградского университета, в 2002 г. защитил диссертацию «Филологическая метафора в поэзии Иосифа Бродского». Доцент факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского университета, автор множества научных публикаций, организатор научных конференций, в т. ч. посвященных Бродскому. Неоднократно посещал Литву, делал доклад на Международной конференции памяти Бродского в Вильнюсе в 2010 г.

Ина Она Вапшинскайте [Ina Ona Vapšinskaitė] (р. 1938, Каунас) — специалист по физической химии, живет в Вильнюсе с 1940 г. Окончила химический факультет Вильнюсского университета, в 1978 г. в Москве защитила кандидатскую диссертацию. Работала в Вильнюсском университете, затем в НИИ электрографии, с 1991 г. была помощником министра материальных ресурсов, затем руководителем отдела персонала Банка Литвы. В 1994–2001 гг. работала в Союзе врачей Литвы. Приятельница Бродского с 1966 г., давала о нем интервью.

Томас Венцлова [Tomas Venclova] (р. 1937, Клайпеда) — литовский поэт, переводчик, эссеист, литературовед, литературный критик, публицист. В 1960 г. окончил филологический факультет Вильнюсского университета. Организовал неофициальный кружок самообразования, из-за чего его вызывали объясняться в КГБ. В 1975 г. стал членом Литовской Хельсинкской группы. В 1977 г. за активную правозащитную и диссидентскую деятельность лишен советского гражданства, получил политическое убежище в США. В 1985 г. в Йельском университете защитил докторскую диссертацию, с 1993 г. профессор славистики того же университета. Автор многих поэтических сборников, книг, эссе и статей. Его стихи и проза переведены на английский, немецкий, польский, русский и множество других языков (всего более 20). Доктор honoris causa нескольких университетов в Польше и Литве, лауреат Национальной премии Литвы в области культуры и искусства (2000) и ряда других премий, в т. ч. Санкт-Петербургской международной премии за развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского региона «Балтийская звезда» (2008). Лауреат международной поэтической премии Петрарки (Германия, 2014). Почетный гражданин Вильнюса, удостоен ряда высоких наград Литовской Республики и Республики Польша. Близкий друг Бродского с 1966 г., переводил на литовский язык его стихи. Автор статей и докладов о Бродском и его творчестве, в т. ч. в 2010 г. принимал участие в Международной конференции памяти Иосифа Бродского в Вильнюсе.

Фейт Вигзелл [Faith Wigzell] (р. 1941, Уэртинг, Англия) — английский филолог-русист. Профессор Лондонского университета, работала в Школе славянских и восточноевропейских исследований (School of Slavonic and East European Studies) и Университетском колледже Лондона (University College London). Исследователь русской литературы и ее связей с фольклором, русской народной культуры (верований, гаданий и пр.). Автор многих научных публикаций, монографий о древнерусском книжнике Епифании Премудром, об истории гадальных книг и сонников (рус. изд.: Читая фортуну: гадательные книги в России. М., 2007). Начавшись в 1968 г., ее дружба с Бродским длилась до самой смерти поэта. В 2010 г. принимала участие в Международной конференции памяти Иосифа Бродского в Вильнюсе.

Наталия Ворошильска [Natalija Woroszylska] (р. 1957, Варшава) — польский филолог, переводчик русской литературы на польский язык, радиожурналист. В 1993–1997 гг. была заместителем директора Польского института в Москве. С 1998 г. руководит русской редакцией «Польского радио» для заграницы. Дочь Виктора Ворошильского. В 2010 г. принимала участие в Международной конференции памяти Иосифа Бродского в Вильнюсе.

Виктор Ворошильский [Wiktór Woroszyłski] (1927, Гродно — 1996, Варшава) — польский поэт, прозаик, эссеист, автор книг для детей и юношества, переводчик

и исследователь русской литературы. Автор более десяти поэтических сборников, биографий выдающихся русских поэтов и пр. В 1952–1956 гг. учился в аспирантуре в Литературном институте им. М. Горького. В 1956 г., будучи в Будапеште в качестве журналиста, стал свидетелем подавления венгерского восстания. В 1976–1980 гг. — редактор подпольного журнала «Запись» («Zapis»). Переводил на польский язык русскую поэзию XIX–XX вв., посмертно издана его антология русской поэзии «Moi moskale» (65 поэтов, 210 стихотворений, Biuro Literackie, 2007). Был приятелем Бродского с 1971 г., переводил его стихи на польский язык.

Кама Гинкас [Kama Ginkas] (р. 1941, Каунас) — театральный режиссер. В 1943 г. тайно вынесен из Вильямпольского гетто, его прятала семья литовского поэта Казиса Бинкиса (Kazys Binkis). Окончила среднюю школу в Вильнюсе, в 1959–1962 гг. училась в Литовской государственной консерватории. Был участником неофициального кружка самообразования, созданного Томасом Венцловой. В 1967 г. закончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Народный артист Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии РФ и многих других престижных премий. Работает в Москве и за рубежом. Со своими спектаклями принимал участие во множестве фестивалей в России, Европе, США и Южной Америке, удостоивался наивысших оценок. Преподавал в ГИТИСе и Школе-студии МХАТ, а также в театральных школах Великобритании, США, Норвегии, Финляндии. В 2010 г. принимал участие в Международной конференции памяти Иосифа Бродского в Вильнюсе. Был приятелем Иосифа Бродского.

Генриетта (Гета) Яновская [Genrietta (Geta) Janovskaja] (р. 1940, Ленинград) — театральный режиссер. В 1967 г. окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Ставила спектакли в разных театрах страны, с 1986 г. является главным режиссером Московского театра юного зрителя. Заслуженный деятель искусств, народный артист Российской Федерации, лауреат многих театральных премий, в т. ч. международной театральной премии им. К. С. Станиславского (2006). Спектакли Яновской удостоены высочайших оценок множества международных театральных фестивалей по всему миру. Проводила мастер-классы в ряде европейских стран. Познакомилась с Бродским в ранней юности.

Аудронис (Адас) Натилюс [Audronis (Adas) Katilius] (р. 1940, Каунас) — архитектор-реставратор, специалист по охране памятников. В 1964 г. закончил архитектурный факультет Вильнюсского художественного института. В 1964–1972 гг. работал архитектором в вильнюсском институте «Компроект», с 1972 г. руководитель архитектурной группы и руководитель проектов в Институте проектирования

и реставрации памятников. Преподавал в Художественной школе им. Чюрлёниса, Каунасском технологическом университете и Вильнюсском техническом университете им. Гедиминаса. Член Литовского союза архитекторов. Один из основателей и член правления Союза реставраторов Литовской Республики, член Литовского национального комитета ICOMOS. Принимал участие и руководил исследованиями, проектированием и реставрацией многих комплексов зданий, в т. ч. в Вильнюсе — базилианский монастырь, костел лютеран-евангелистов, сев. и зап. корпусов старого Арсенала, реконструкция Кафедральной площади, воссоздание Дворца великих князей литовских и др. Приятель Бродского с 1966 г.

Рамунас (Ромас) Катилиус [Ramūnas (Romās) Katilius] (1935, Каунас — 2014, Вильнюс) — физик-теоретик. Закончил в Вильнюсе среднюю школу и в 1959 г. Вильнюсский университет, поступил в аспирантуру. В 1961 г. для продолжения аспирантуры уехал в Ленинград, в Институт полупроводников АН. По завершении аспирантуры остался жить и работать в Ленинграде, в 1969 г. защитил кандидатскую, а в 1986 г. докторскую диссертации. В 1988 г. вернулся в Вильнюс, работал в Институте физики полупроводников (институт в наст. время входит в состав Физико-технологического научного центра). Преподавал в университете Витаутаса Великого в Каунасе (Vytauto Didžiojo universitetas), профессор. Автор монографий, более 100 научных публикаций, методических пособий. Вместе с коллегами лауреат Национальной премии в области науки (1995). С 1990 по 2000 г. был членом правления Фонда открытой Литвы (литовского Фонда Сороса). Близкий друг Бродского с 1966 г., автор лекций и статей о нем на литовском и русском языках. В 2010 г. организовал в Вильнюсе Международную конференцию памяти Бродского.

Яков Клоц (р. 1980, Пермь) — специалист по русской литературе, переводчик. В 2002 г. закончил гуманитарный факультет Пермского университета, продолжил обучение в США в Бостонском колледже, затем в Йельском университете. Там же под руководством Томаса Венцловы защитил докторскую диссертацию по творчеству Иосифа Бродского. Работал в Уильямс-колледже (США) и Центре восточно-европейских исследований Бременского университета (Германия). Автор многих публикаций о Иосифе Бродском, Марине Цветаевой, Владимире Набокове, Лье Лосеве и др., автор-составитель книги «Иосиф Бродский в Литве» (СПб., 2010). Переводил на английский язык произведения С. Довлатова, совместно с Россом Ефбергом перевел воспоминания Тамары Петкевич («Memoir of a Gulag Actress», 2010). В 2010 г. принимал участие в Международной конференции памяти Иосифа Бродского в Вильнюсе.

Михаил Мильчик (р. 1934, Ленинград) — историк искусства и реставратор. В 1968 г. окончил аспирантуру в Институте им. Репина Академии художеств, с тех пор ра-

ботал в сфере реставрации и сохранения культурного наследия. В 1975 г. защитил кандидатскую диссертацию. Является ведущим научным сотрудником Научно-исследовательского института теории архитектуры и градостроительства, был заместителем генерального директора НИИ «Спецпроектреставрация». Преподавал историю архитектуры в петербургских вузах, читал лекции в ряде зарубежных университетов. Заместитель председателя Совета по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга, председатель правления Санкт-петербургского Фонда создания музея Иосифа Бродского. Лауреат премии им. академика Д. С. Лихачёва «За сохранение культурного наследия России» (2008). Автор более чем 300 публикаций, в т. ч. 18 книг. Близкий друг Бродского с начала 1960-х гг. Автор ряда публикаций о нем, в том числе автор-составитель книг «Венеция Иосифа Бродского» (СПб., 2010) и «Иосиф Бродский в ссылке» (СПб., 2013). В 2010 г. принимал участие в Международной конференции памяти Иосифа Бродского в Вильнюсе.

Пранас Моркус [Pranas Morkus] (р. 1938, Клайпеда) — киносценарист, эссеист, радиожурналист. В 1955–1957 гг. учился на филологическом факультете Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, в 1957–1960 гг. на историко-филологическом факультете Вильнюсского государственного университета. В 1962–1964 гг. был слушателем Высших сценарных курсов в Москве, в 1960–1962 гг. — главным редактором радиотеатра Телерадиокомитета Литовской ССР, в 1968–1970 гг. — главным редактором творческого объединения «Lietuvos telefilmas». С 1971 по 1977 г. — член сценарной коллегии Литовской киностудии, в 1980–1982 гг. — заведующий литературной частью Московского Камерного еврейского музыкального театра. В 1990–1991 гг. работал директором программ Литовского радио и телевидения. В 1994–2000 гг. — редактор отдела еженедельника «Шяурес Атенай» («Šiaurės Atėnai»), в 2000–2002 гг. — главный редактор культурных программ Литовского национального радио и телевидения, сотрудник передачи католической радиопрограммы «Мажойи студия» («Mažoji studija»). С 2013 г. член Литовского киноцентра. Автор более 15 сценариев для игровых, анимационных и документальных фильмов, многих пьес для радиотеатра. Приятель Бродского с 1966 г., автор публикаций о нем. В 2010 г. принимал участие в Международной конференции памяти Иосифа Бродского в Вильнюсе.

Михаил Петров (р. 1935, Ленинград) — физик и публицист, д. ф.-м. н., лауреат Государственных премий, профессор, директор Отделения физики плазмы, атомной физики и астрофизики Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе. Специалист мирового уровня в области термоядерного синтеза, в 1990–1998 гг. работал в лучших университетах США и Великобритании, автор многочисленных научных публикаций. Близкий друг Бродского с 1960 г., автор публикаций

о нем. В 2010 г. принимал участие в Международной конференции памяти Иосифа Бродского в Вильнюсе.

Сэмюел Реймер [Samuel Ramer] (р. 1942, Балтимор, США) — американский историк, исследователь российской политической и социальной истории и истории культуры, профессор Университета Тулейн в Новом Орлеане (США). В 1971 г. в Колумбийском университете в Нью-Йорке защитил диссертацию по исследованию истории русской политической мысли XIX в. Собирая материал для диссертации, в 1968–1969 гг. проживал в Ленинграде, приезжал в Ленинград на стажировки и в последующие годы. Приятель Бродского с 1968 г.

Элизабет Робсон [Elisabeth Robson] (р. 1944, Дарлингтон, Англия) — английский журналист и филолог. Изучала русскую и французскую филологию в Оксфордском университете, там же защитила докторскую диссертацию. Во время докторантуры в 1967–1969 гг. проживала в Ленинграде. Многолетний сотрудник и руководитель Русской службы Би-би-си, создатель и первый руководитель Украинской службы Би-би-си, редактор издательства Лондонского университета. Лектор, эксперт, консультант. Познакомившись с Бродским в начале 1968 г., дружила с ним до самой смерти поэта.

Людмила Сергеева (р. 1935, Москва) — филолог. Окончила филологический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, 22 года проработала редактором в издательстве «Советский писатель». Последние 12 лет работала в журнале о новых книгах «БИБЛИО-ГЛОБУС. Книжный дайджест». Была замужем за Андреем Сергеевым. Автор ряда докладов и публикаций, в т. ч. воспоминаний об И. Бродском, Н. Я. Мандельштам и А. А. Ахматовой. В 2010 г. принимала участие в Международной конференции памяти Иосифа Бродского в Вильнюсе. С Иосифом Бродским Сергеевы познакомились в 1964 г. и стали близкими друзьями.

Владимир Тарасов [Vladimiras Tarasovas] (р. 1947, Архангельск) — джазовый музыкант (ударные), автор инсталляций, режиссер-постановщик; лауреат премии «Триумф» (2009). В 1966 г. поступил в Ленинградскую консерваторию, но был исключен за пропаганду джазовой музыки. С 1968 г. живет в Вильнюсе. Вместе с Вячеславом Ганелиным и фотографом Григорием Таласом (контрабас) играл джаз в культовом вильнюсском кафе «Неринга». Перкуссионист известного джазового трио Ганелин—Тарасов—Чекасин (ГТЧ), существовавшего с 1971 по 1986 г., впоследствии играл один. Написал о ГТЧ книгу «Трио» (лит. «Trio», Baltos lankos, 1988; рус. «Трио», М., 2004). С 1999 по 2003 г. был художественным руководителем Русского драматического театра Литвы. С Бродским общался со времен кафе «Неринга».

именной указатель

- Аарон Джонатан** (Aaron; p. 1941) — 108, 126, 142
- Абаева-Майерс Диана (Ляля)** (Abajeva-Myers; p. 1937) — 51, 53, 136, 146, 147,
(373–397, статья), 461
- Абрикосов Алексей Алексеевич** (p. 1928) — 221
- Авербах Илья Александрович** (1934–1986) — 175
- Адамнус Валдас** (Adamkus; p. 1926) — 160, 165, 178, 371, 372, 446, 463
- Ажубалис Аудронюс** (Ažubalis; p. 1958) — 166
- Азадовский Константин Маркович** (p. 1941) — 59, 104, 134, 401
- Алешновский Юз**, наст. имя Иосиф Ефимович (p. 1929) — 109, 139, 413
- Алиханян Артемий Исаакович** (1908–1978) — 90, 92, 96
- Алиханян Марина Алексеевна** (p. 1938) — 92, 95, 96
- Аллой (Блюмштейн) Рада Григорьевна** (p. 1940) — 149, 311, 320–322
- Альварес Аль** (Alvarez; p. 1929) — 383
- Андропов Юрий Владимирович** (1914–1984) — 381
- Анненский Иннокентий Федорович** (1855–1909) — 361, 368
- Антанайтис Альгирдас Титус** (Antanaitis; 1927–2003) — 123, 125, 126, 372
- Антониони Микеланджело** (Antonioni; 1912–2007) — 348
- Аншютц Кэрол** (Anschuetz) — 43, 325, 330
- Ардов Михаил Викторович** (p. 1937) — 187
- Архилох из Пароса** (до 680 — ок. 640 до н. э.) — 331
- Архимед** (ок. 287 — 212 до н. э.) — 344
- Асите** — см. Гягужене
- Асовская Алла** (p. 1959) — 158
- Аста Паоло** (Asta) — 148

Аста Донателла (Asta) — 148, 150
Ахапкин Денис Николаевич (р. 1969) — 33, 34, 164, 167, (350–358, *статья*)
Ахматова Анна Андреевна (1889–1966) — 24, 50, 77, 78, 88, 90, 95, 109, 134, 143, 152, 163, 166, 168, 184, 185, 187, 190, 194, 212, 213, 231, 237, 245–247, 315, 326, 337, 361, 367, 370, 372, 375, 377, 430, 446, 456, 461

Бабель Исаак Эммануилович (1894–1940) — 299
Байрон Джордж Гордон (Byron; 1788–1824) — 29, 322
Бараньчак Станислав (Barańczak; 1946–2004) — 285, 293
Баратынский (Боратынский) Евгений Абрамович (1800–1844) — 189, 314, 328
Баррет — см. Браунинг.
Бар-Селла Зеев, наст. имя Владимир Петрович Назаров (р. 1947) — 156
Барышников Михаил Николаевич (р. 1948) — 108, 139, 141, 142, 150, 207, 413, 405
Басманов Андрей Осипович (р. 1967) — 55–57, 190, 195, 450
Басманова Марина Павловна (р. 1938) — 55, 56, 188, 190, 193–196, 256, 348, 432, 439, 450
Бах Иоганн Себастьян (Bach; 1685–1750) — 38, 116
Беломлинская (Платова) Виктория Израилевна (1937–2008) — 59
Беломлинский Михаил Самуилович (р. 1934) — 59, 320
Белый Андрей, наст. имя Борис Николаевич Бугаев (1880–1934) — 329, 331
Бергман Ингмар (Bergman; 1918–2007) — 372
Берлин Исайя (Berlin; 1909–1997) — 384, 387, 388
Бетаки Василий Павлович (1930–2013) — 329
Бетеа Дэвид (Betha; р. 1948) — 109
Бетховен Людвиг, ван (Beethoven; 1770–1827) — 343
Биен Брендан (Behan; 1923–1964) — 403
Битов Андрей Георгиевич (р. 1937) — 342
Блекайтене Гражина (Blekaitienė) — 124, 125
Блекайтис Юргис (Blekaitis; 1917–2007) — 123–126, 151, 372, 426
Блок Александр Александрович (1880–1921) — 283, 337, 453
Блейн Эндрю (Blane) — 130, 272, 280
Блюмштейн Эдуард Исаевич (р. 1937) — 59, 320, 399, 400
Бобышев Дмитрий Васильевич (р. 1936) — 190, 330
Бона Сфорца (Bona Sforza; 1494–1557) — 424
Боровкова Татьяна Александровна (1941–1968) — 311–313, 327, 328
Бородина Ирина Петровна (р. 1954) — 166, 446
Борхес Хорхе Луис (Borges; 1899–1986) — 360
Боттичелли Сандро (Botticelli; 1447–1510) — 348
Браудо Анастасия Исаевна (р. 1942) — 38, 39, 43, 44, 67, 78, 182
Браудо Исайя Александрович (1896–1970) — 67, 68, 78

- Браунинг Роберт** (Browning; 1812–1889) — 187, 368
- Браунинг (Баррет) Элизабет** (Browning; 1806–1861) — 362, 368
- Брежнев Леонид Ильич** (1906–1982) — 22, 207, 230, 322, 436, 460
- Брейгель Питер** (Bruegel; 1525–1569) — 112
- Брендель Альфред** (Brendel; p. 1931) — 239, 396
- Бретон Андре** (Breton; 1896–1966) — 330
- Брио Валентина** — 167
- Бродович Ольга Игоревна** (p. 1939) — 59
- Бродская-Соццани Анна Александра Мария** (p. 1993) — 136, 138–141, 145, 414, 415
- Бродский Александр Иванович** (1903–1984) — 19–22, 101, 104, 105, 195, 250, 259, 260, 261, 266, 267, 273, 334, 335, 337, 341, 376, 400, 401, 442
- Бродские** — 31, 52, 240, 334, 348, 384, 450
- Брук-Роуз Кристина** (Brooke-Rose; 1923–2012) — 362, 369
- Брусов Валерий Яковлевич** (1873–1924) — 283
- Буковский Владимир Константинович** (p. 1942) — 386, 388, 390
- Булгаков Михаил Афанасьевич** (1891–1940) — 331
- Бунин Иван Алексеевич** (1870–1953) — 222
- Буткявичюс Зенонас** (Butkevičius; 1936–2012) — 456
- Буттафава Джованни (Джанни)** (Buttafava; 1939–1990) — 384
- Бух Ханс Христиан** (Buch) — 290
- Бухарин Николай Иванович** (1888–1938) — 261
- Бьянка, итальянская знакомая Катилиусов** — 460
-
- Вайль Пётр Львович** (1949–2009) — 109, 148, 149
- Вайчюнайте Юдита** (Vaičiūnaitė; 1937–2001) — 456
- Валентинавичюс Виргис** (Valentinavičius; p. 1955) — 170
- Вапшинскайте Ина** (Vapšinskaitė; p. 1938) — 9, 31, 32, 42, 43, 200, (208–215, *статья*), 356, 419, 442
- Вейсайте Ирена** (Veisaitė; p. 1928) — 463
- Вентцель Александр Дмитриевич** (p. 1937) — 284
- Венцлова Андриус** (Venclova; p. 1968) — 341, 369
- Венцлова Антанас** (Venclova; 1906–1971) — 203
- Венцлова Татьяна Львовна, Миловидова-Венцлова, Никитина** (p. 1946) — 223, 458
- Венцлова Томас** (Venclova; p. 1937) — 9–11, 27 29, 31, 32, 35, 39, 43–45, 47–50, 69, 74, 75, 81, 82, 99, 108, 110, 111, 122–124, 126–129, 133, 139–143, 151–157, 159, 161, 164–167, 177, 186, 198, 199, 201–206, 215, 223, 289, 293–294, 297–299, 301–304, (324–349, *из дневника*), 352, 353, 355, 356, 359–372, 398, 399, 406, 409, (416–427, *статья*), 429, 430, 432, 433, 435, 439, 441–443, 445, 448, (449–464, *статья*)
- Венцловайте-Чафи Мария** (Venclovaitė-Chafee; p. 1973) — 369

Верн Жюль (Verne; 1828–1905) — 377
Верхейл Кейс (Verheul; p. 1940) — 60
Вигдорова Фрида Абрамовна (1915–1965) — 187, 241
Вигзелл Фейт (Wigzell; p. 1941) — 43, 60, 164, 168, (224–228, *статья*), 308, 312, 381, 397
Винтер Лиз (Winter) — 60
Виньковецкий Яков Аронович (1938–1984) — 59, 322, 343
Витовт Великий (Vytautas Didysis; ок. 1350 — 1430) — 9, 34, 372
Вознесенский Андрей Андреевич (1933–2010) — 237
Волков Соломон Моисеевич (p. 1944) — 186, 189, 381
Волкова Марианна Матвеевна (p. 1946) — 145
Волконский Андрей Михайлович (1933–2008) — 343
Воллар Амбруаз (Vollard; 1866–1939) — 173
Вольперт Борис Моисеевич — 55
Вольперт Мария Моисеевна (1905–1983) — 22, 26, 56, 100, 101, 104, 106, 110, 259, 260, 262–264, 266–268, 270–273, 346, 376, 377, 400, 401, 416, 441, 442
Воробьев Николай (Vorobjovas; 1903–1954) — 120, 128–130, 132, 133, 422, 461
Воробьева Мария Николаевна (1934–2001) — 58, 120, 128–133, 139, 140, 146, 152, 272, 371, 422, 463
Ворошильска Наталья (Woroszylska; p. 1957) — 166, (285–295, *статья*), 296, 297, 302
Ворошильска Янина (Woroszylska; 1925–2002) — 291, 294, 296, 300–302
Ворошильский Виктор (Woroszylski; 1927–1996) — 41, 43, 81, 82, 87, 153, 164, 285, 287–290, 294, 295 (296–305, *статья*), 362, 369, 421, 426
Восков Гарик — см. Гинзбург-Восков
Высоцкий Владимир Семенович (1938–1980) — 222, 270, 271

Габо Наум, наст. имя Неемия Беркович Певзнер (1890–1977) — 384
Габричевский Александр Георгиевич (1891–1968) — 187
Гайдн Франц Йозеф (Haydn; 1732–1809) — 141, 142
Галич (Гинзбург) Александр Арнадьевич (1918–1977) — 94
Галчинский Константы Ильдефонс (Gałczyński; 1905–1953) — 288, 300, 319, 419, 412
Гальперин Юрий Моисеевич (p. 1944) — 55
Ганди Индира (Gandhi; 1917–1984) — 179
Ганцевич Сергей Владимирович (p. 1937) — 55
Гарасымович Ежи (Harasymowicz; 1933–1999) — 319
Гарди Томас (Hardy; 1840–1928) — 255, 414
Геда Сигитас (Geda; 1943–2008) — 154
Генис Александр Александрович (p. 1953) — 109
Генрих VIII (1491–1547) — 391
Герасимов Владимир Васильевич (1935–2015) — 59

- Германавичюте Регина** (Germanavičiūtė; p. 1953) — 158
- Герцль Теодор** (Herzl; 1860–1904) — 178
- Гете Иоганн Вольфганг** (Goethe; 1749–1832) — 434
- Гинзберг Аллен** (Ginsberg; 1926–1997) — 207
- Гинзбург Александр Ильич** (1936–2002) — 456
- Гинзбург-Восков Георгий (Гарик)** (?–2012) — 55, 59, 139, 380, 381, 450
- Гинк (Гинкас) Даниил** (p. 1969) — 404, 408
- Гинкас Кама Миронович** (p. 1941) — 32, 158, 208, 215, (398–409, беседа), 419, 456
- Гиппиус Зинаида Николаевна** (1869–1945) — 376
- Гира Людас** (Gira; 1884–1946) — 314, 329
- Гиренас Стасис** (Girėnas) (1893–1933) — 9
- Гитлер (Шикльгрубер) Адольф** (Hitler; 1889–1945) — 326, 442
- Глинтерщик Роза Владимировна** (p. 1928) — 144, 158, 398, 419
- Гоголь Николай Васильевич** (1809–1852) — 329, 331
- Голсуорси Джон** (Golsworthy; 1867–1933) — 390
- Гольшев Виктор (Мика) Петрович** (p. 1937) — 58, 60, 142, 143, 193, 206, 343, 450
- Гольшева Наталия** — см. Сухаревич Наталия
- Гольдони Карло** (Goldoni; 1707–1793) — 363, 370
- Гомбрович Витольд** (Gombrowicz; 1904–1969) — 456
- Гомер** (VIII в. до н. э.) — 316, 324, 356, 360, 365
- Горбаневская Наталья Евгеньевна** (1936–2013) — 108, 109, 114, 337
- Гордин Яков Арнадьевич** (p. 1935) — 25, 41, 58, 65, 89, 97, 134, 142, 143, 145, 168, 169, 348, 351, 444
- Горький М.**, наст. имя Алексей Максимович Пешков (1868–1936) — 263
- Грасс Гюнтер** (Grass; 1927–2015) — 160, 161, 463
- Граций Ортуин** (Gratius; 1491–1542) — 332
- Грибоедов Александр Сергеевич** (1795–1829) — 372
- Гроховяк Станислав** (Grochowiak; 1934–1976) — 339
- Гумилев Лев Николаевич** (1912–1992) — 213
- Гумилев Николай Степанович** (1886–1921) — 213, 375
- Гуревич Вадим Львович** (p. 1934) — 55
- Гуревич Галина Моисеевна** (1933–2006) — 55
- Гуцявичюс Лауринас** (Gucevičius; 1753–1798) — 181
- Гягужене Асите Йоанна** (Gegužienė; конец 1890-х — середина 1970-х) — 29, 196, 431, 432
- Д’Аламбер Жан Лерон** (d’Alembert; 1717–1783) — 361, 367
- Данте Алигьери** (Dante Alighieri; 1265–1321) — 316, 354
- Дарий** (522–486 до н. э., правление) — 339
- Дарюс Стяпонас** (Darius; 1896–1933) — 9

- Дворжак Антонин** (Dvořák; 1841–1904) — 336
- Державин Гавриил Романович** (1743–1816) — 244, 245
- Джером К. Джером** (Jerome; 1859–1927) — 333
- Джойс Джеймс** (Joyce; 1882–1941) — 32, 233, 456
- Диггес Чарльз** (Digges) — 151
- Дидро Дени** (Diderot; 1713–1784) — 361, 367
- Дикинсон Эмили** (Dickinson; 1830–1886) — 361, 368
- Диккенс Чарльз** (Dickens; 1812–1870) — 40
- Довлатов Сергей Донатович** (1941–1990) — 65
- Донн Джон** (John Donne; 1572–1631) — 39, 174, 175, 200, 234, 329, 376, 379
- Достоевский Федор Михайлович** (1821–1881) — 214, 316, 331, 383
- Дравич Анджей** (Drawicz; 1932–1997) — 206, 207, 285, 291–293
- Дравич Вера** (Drawicz) — 291
- Дубровин Александр Иванович** (1855–1921) — 261
- Дымшиц Марк Юльевич** (1927–2015) — 437
- Дьяконов Андрей Михайлович** (р. 1932) — 55
- Дьяконов Игорь Михайлович** (1915–1999) — 339
- Дьяконов Михаил Игоревич** (р. 1940) — 55
- Евтушенко Евгений Александрович** (р. 1932) — 98, 237, 332, 333, 380–382, 399
- Елагина Елена Васильевна** (р. 1947) — 169
- Елизавета I** (1533–1603) — 391
- Ельцин Борис Николаевич** (1931–2007) — 138
- Еремин Михаил Федорович** (р. 1936) — 59, 342
- Есенин Сергей Александрович** (1895–1925) — 362, 369, 453
- Ефимов Игорь Маркович** (р. 1937) — 59
- Ефимова (Рачко) Марина Михайловна** (р. 1937) — 58
- Жарри Альфред** (Jarry; 1873–1907) — 361, 363, 368, 370
- Жигайте Эгле Виктория** (Žygaitė; р. 1952) — 123, 124
- Жирмунский Виктор Максимович** (1891–1971) — 213
- Жуков Георгий Константинович** (1896–1983) — 245
- Захаров Владимир Евгеньевич** (р. 1939) — 55
- Зелинский Корнелий Люцианович** (1896–1970) — 292
- Землицкас Гедиминас** (Zemlickas; р. 1944) — 157, 448
- Земцов Михаил Григорьевич** (1688–1743) — 353
- Зенкевич Михаил Александрович** (1886–1973) — 186
- Зенон Элейский** (ок. 490 — 430 до н. э.) — 179
- Зингер Тамара Израилевна** — 56

Зингерис Марк (Zingeris) (р. 1947) — 152, 153, 164
Зонтаг Сьюзен (Sontag; 1933–2004) — 413
Зоценко Михаил Михайлович (1895–1958) — 95, 331
Зубок Владислав — 328

Иваск Ивар (Ivask; 1927–1992) — 124
Иллг Иржи (Illg; р. 1950) — 108
Ильф Илья Арнольдович (1897–1994) — 369
Ионеско Эжен (Ionesco; 1909–1994) — 339, 417, 456
Йейтс Уильям Батлер (Yeats; 1865–1939) — 189
Иоссель Михаил Иосифович (р. 1955) — 162

Кавафис Константинос (1863–1933) — 325, 347, 394, 421
Каволис Витаутас (Kavolis; 1930–1996) — 126, 372
Каланта Ромас (Kalanta; 1953–1972) — 342
Камю Альбер (Camus; 1913–1960) — 394
Кантемир Антиох Дмитриевич (1708–1744) — 328, 420
Канчяускас Владимирас (Kančiauskas; р. 1945) — 161
Каплан Роман Аркадьевич (р. 1937) — 412, 413
Капур Радж (Kapoor; 1924–1988) — 179
Каракорский Виталий — 158

Каррикер Александра (Karriker) — 367
Карсавин Лев Платонович (1882–1952) — 130

Катилене Эльмира (Эля, Ханум) Рахимовна (Katilienė; р. 1937) — 26, 27, 29–31, 35, 39, 42–44, 48, 51–58, 60, 67, 76–79, 82, 83, 86, 104, 112, 115, 117, 126, 133–135, 138, 146, 150, 155, 166, 196, 201, 205, 208–211, 220, 225–227, 230, 232, 233, 236, 242, 243, 247, 249, 265, 266, 308, 365, 367, 373, 374, 384, 402, 419, 429, 433, 436, 445, 457–459, 463

Катилиус Андриус Рамунасович (Katilius; р. 1967) — 42, 52–55, 105, 212, 215, 221, 242, 265, 308, 430, 435, 437, 440

Катилиус Аудронис (Адас) (Katilius; р. 1940) — 9, 28, 31–33, 40, 42, 43, 128, 196–200, 208–212, (216–221, *статья*), 374, 390, 417, 431, 434, 452, 456, 458

Катилиус Рамунас (Рамутис) Рамунасович (Katilus; р. 1971) — 53, 57, 123, 124, 234, 265, 437, 440

Катилиус Рамунас (Ромас) (Katilius; 1935–2014) — 9, (17–169, *статья*), 196–199, 201, 204, 205, 206, 208, 209–211, 219–221, 225–227, 230, 232, 236, 242, 243, 247, 249, 265, 266, 285, 308, 322, 325, 329, 338–340, 342, 343, 348, 349, 356, 360, 365, 366, 367, 373, 374, 384, 394, 402, 408, 417, 419, 428–437, 439 441–464

Катилиусы (Katiliai) — 9, 53, 54, 62, 76, 90, 95, 178, 196, 209, 210, 215, 230, 232, 373, 374, 417, 418, 419, 430, 436, 440, 446, 449, 451, 455, 457

Катинене Броне, классная руководительница — 452

Кафка Франц (Kafka; 1883–1924) — 32, 233, 398
Кашкин Иван Александрович (1899–1963) — 186
Кашлев Юрий Борисович (1934–2006) — 293
Кедрова Марина Михайловна (р. 1935) — 203
Кельмович Михаил Яковлевич (р. 1956) — 441
Кенез Петер (Kenez; p. 1937) — 271
Кеннеди Джон Фицджеральд (Kennedy; 1917–1963) — 186
Кестлер Артур (Koestler; 1905–1983) — 369
Ким, квартет — 141
Кистяковский Андрей Андреевич (1936–1987) — 362, 369
Клайн Джордж (Kline; p. 1921) — 108, 126, 127, 246, 253, 413
Клинтон Билл (Clinton; p. 1946) — 385
Клоц Янов Леонидович (р. 1980) — 50, 164, 167, 201, 305, 356, (359–372, публикация)
Клюев Николай Алексеевич (1884–1937) — 337, 343, 344, 375
Козуб Вениамин Иванович (р. 1948) — 51
Козырев Николай Александрович (1908–1983) — 332
Колаковсна Тамара (Kołakowska) — 292
Колаковский Лешек (Kołakowski; 1927–2009) — 292
Колеров Илья Андреевич (р. 1966) — 412, 413
Комарова Ирина Бенедиктовна (р. 1933) — 228, 240
Кон-Бендит Даниэль (Cohn-Bendit; p. 1945) — 339
Конрад Джозеф (Conrad; 1857–1924) — 336
Константинов Олег Владиславович — 55
Коробов Иван Кузьмич (1700–1747) — 353
Коробова Эра Борисовна (р. 1930) — 99, 299, 302, 325, 332, 337, 340–344, 348, 349, 399, 460
Косинова Татьяна — 34
Косыгин Алексей Николаевич (1904–1980) — 335
Кочергин Эдуард Степанович (р. 1937) — 55
Крейнгольд Ида (Kreingold; 1934–1999) — 43, 367
Кривулин Виктор Борисович (1944–2001) — 407
Крылов Иван Андреевич (1769–1844) — 341
Кубилиус Андриус (Kubilius; p. 1956) — 166
Кубилиус Витаутас (Kubilius; 1926–2004) — 153, 166
Кудзис Альгирдас (Kudzys; p. 1956) — 160
Кузмин Михаил Алексеевич (1872–1936) — 375
Кузнецов Эдуард Самойлович (р. 1939) — 437
Куллэ Виктор Альфредович (р. 1962) — 10, 40, 41, 155, 368, 409, 464
Куртна Александр (Kurtna; 1914–1983) — 298
Кушнер Александр Семенович (р. 1936) — 138, 344, 412, 413

- Лайхтман Борис Давидович (р. 1940) — 55
Ланкаускас Ромуалдас (Lankauskas; р. 1932) — 175
Лаучавичус Эдмундас (Laucevičius; 1906–1973) — 205
Ле Корбюзье (Le Corbusier; 1887–1965) — 32, 398, 423
Леандер Цара (Leander; 1907–1981) — 271
Левинтон Георгий Ахиллович (р. 1948) — 59
Лелевель Иоахим (Lelevelis; 1786 — 1861) — 301, 303
Лемпертене Лариса (Lempertienė) — 154
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870–1924) — 185, 263, 326
Леонская Елизавета Ильинична (р. 1945) — 141
Лепский Юрий Михайлович (р. 1950) — 149
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841) — 344, 416
Лернер Александр Яковлевич (1913–2004) — 370
Либеров Роман Александрович (р. 1980) — 168
Липпи Фра Филиппо (Lippi; ок. 1406 — 1469) — 368
Литвинова Татьяна Максимовна (р. 1918) — 393
Лободовский Юзеф (Lobodowski; 1909–1988) — 286
Лозинский Владислав (Łoziński; 1843–1913) — 297
Лосев (Лифшиц) Лев Владимирович (1937–2009) — 19, 56, 59, 87, 89, 109, 130, 131,
139, 140, 143, 144, 147, 165, 234, 413, 414, 461
Лосева (Мохова) Нина Павловна (р. 1935) — 59, 147
Лотман Юрий Михайлович (1922–1993) — 315, 316, 318, 338, 418, 419
Лоуэлл Роберт (Lowell; 1917–1977) — 113, 290
Лысенко Трофим Денисович (1898–1976) — 453
- Майерс Алан (Myers; 1933–2010) — 269, 379, 391, 392, 394
Майронис (Мачюлис) Ионас (Maironis; 1862–1932) — 34, 125, 126, 204
Максимов Дмитрий Евгеньевич (1904–1987) — 184
МакФейден Дэвид (MacFadyen; р. 1964) — 352
Малдун Пол (Muldoon; р. 1951) — 413, 415
Маллинен Юкка (Mallinen; р. 1950) — 407, 408
Мальковати Фаусто (Malcovati; р. 1940) — 150
Мандельштам Надежда Яковлевна (1899–1980) — 61, 266, 347, 430, 436
Мандельштам Осип Эмильевич (1891–1938) — 50, 61, 143, 168, 192, 237, 266, 343,
354, 358, 366, 375, 378, 380, 398, 416, 419, 423, 444, 453
Марамзин Владимир Рафаилович (р. 1934) — 42, 65, 69, 104, 105, 320–323, 325,
344, 346, 348
Марвелл Эндрю (Marvel; 1621–1678) — 340

Маррей (Лес) Лесли (Murray; p. 1938) — 109
Мартиросов Ромен Мушегович (p. 1939) — 94, 96
Мартиросов Сергей (Серж) Мушегович (p. 1937) — 51, 89–97
Мартиросов Сергей Сергеевич — 89
Мартиросова Зара — 89, 97
Мартиросова Нелли — 89–97
Мартиросовы — 89, 95, 96
Марциал Марк Валерий (Martialis; ок. 40 — 102 н. э.) — 327
Маршак Самуил Яковлевич (1887–1964) — 58
Матуленис Арвидас (Matulionis; p. 1940) — 454
Мацкевич Нина (p. 1954) — 158
Мацкус Альгимантас (Mackus; 1932–1964) — 121
Маяковский Владимир Владимирович (1893–1930) — 304, 398, 453
Меир Голда (1898–1978) — 336
Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874–1940) — 32, 398, 456
Мейлах Михаил Борисович (p. 1944) — 59, 104, 105, 134, 320
Мелвилл Герман (Melville; 1819–1891) — 331
Мериме Проспер (Mérimée; 1803–1870) — 183
Микутис Юстинас (Mikutis; 1922–1988) — 205
Милашюс (Милош) Оскарас (Milašius; 1877–1939) — 326, 360, 366
Милош Чеслав (Miłosz; 1911–2004) — 10, 46, 108–111, 124, 141, 142, 159, 160, 177, 180, 266, 293, 326, 353, 360, 364, 366, 367, 371, 413, 426, 445, 458, 463
Мильчик Михаил Исаевич (p. 1934) — 59, 101–103, 105, 109, 164, 167, 175, 266 267, (306–323, статья), 327, 441, 463
Мирс Бернард (Meares) — 382, 385
Мисиюнас Ромас (Misiūnas; p. 1945) — 126, 127
Мисиюнене Аудроне (Аудра) (Misiūnienė; p. 1942) — 126
Митайте Доната (Mitaitė; p. 1960) — 160, 167, 367, 368
Михник Адам (Michnik; p. 1946) — 108, 166, 285
Мицкевич Адам (Mickiewicz; 1798–1855) — 426
Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890–1986) — 442
Монк Телониус (Monk; 1920–1982) — 222
Моркус Пранас (Morkus; p. 1938) — 9, 31, 34, 35, 162, 168, (173–183, статья), 198, 200, 204, 362, 367, 369, 370, 417, 432, 445, 446, 456
Моррисон Блейк (Morrison; p. 1950) — 108
Моцарт Вольфганг Амадей (Mozart; 1756–1791) — 51, 141, 143, 162, 257, 309, 315, 355
Моцкунас Лютас (Mockūnas; 1934–2007) — 123, 124, 126, 152, 163, 364, 372
Мозм Уильям Сомерсет (Maugham; 1874–1965) — 390
Муравьев Владимир Сергеевич (1939–2001) — 187, 192
Муравьева Галина Даниловна — 284

Муратов Павел Павлович (1881–1950) — 422

Мюррей Лес (Murray; p. 1938) — 108

Набоков Владимир Владимирович (1899–1977) — 238, 331, 333, 336

Навицкас Вилюс (Navickas; p. 1959) — 166

Найман Анатолий Генрихович (p. 1936) — 24, 58, 59, 134, 142, 143, 175, 184, 186,
330, 346, 374, 399

Наливайкене Ядвига (Nalivaikienė; 1897–1969) — 204

Наполеон I Бонапарт (Napoleone Buonaparte; 1769–1821) — 418, 438

Настопка Кястутис (Nastopka; p. 1940) — 167

Некрасов Николай Алексеевич (1821–1878) — 344

Нестеров Антон Викторович (p. 1966) — 164, 167

Никитина Татьяна — см. Венцлова Татьяна

Никольская Нина Семеновна (p. 1932) — 59, 266–268, 308, 309, 310, 315, 319

Никольская Татьяна Львовна (p. 1945) — 56, 57, 59, 167, 247, 348, 460

Никсон Ричард (Nixon; 1913–1994) — 249, 335, 337, 339

Норвид Циприан (Norwid; 1821–1883) — 335

Норейка Виргилиус Кястусис (Noreika; p. 1935) — 450

Норман Наталия — 383

Норман Питер — 383

Ньютон Исаак (Newton; 1612–1727) — 391

Овидий (43 до н. э. — 18 н. э.) — 178

Огай-Реймер Наталья (Ogaj-Ramer; p. 1944) — 363

Оден Уистен Хью (Auden; 1907–1973) — 106, 112, 113, 143, 189, 330, 348, 360, 362, 365,
367, 383, 385, 389, 391, 450,

О'Коннор Фрэнк (O'Konnor; 1903–1966) — 369

Окуджава Булат Шалвович (1924–1997) — 94

Охалкин Олег Александрович (1944–2008) — 342, 348

Павлетко Беата (Pawletko; p. 1974) — 167, 170

Павлов Иван Петрович (1849–1936) — 261

Панн Лидия (Лиля) Романовна (p. 1945) — 45

Параджанов Сергей Иосифович (1924–1990) — 385

Паркер Чарли (Parker; 1920–1955) — 222

Парульскис Сигитас (Parulskis; p. 1965) — 165

Пастернак Борис Леонидович (1890–1960) — 31, 50, 77, 83, 168, 223, 237, 324, 380,
398, 399, 416, 419, 455, 456

Патацкас Гинтарас (Patackas; p. 1951) — 153, 197, 199

Паунд Эзра (Pound; 1885–1972) — 337, 362, 369

Пек Грегори (Peck; 1916–2003) — 414
Перель Владимир Иделевич (1928–2007) — 55
Перлов Фаддей Моисеевич (р. 1946) — 167
Перлова Лина Ефимовна (р. 1948) — 167
Перс Сен-Жон (Perse; 1887–1975) — 32, 337, 398
Пёрселл Генри (Purcell; 1659–1695) — 141, 143
Петр I (1672–1725) — 325
Петров (Катаев) Евгений Петрович (1903–1942) — 369
Петров Михаил Петрович (р. 1935) — 59, 144 164, 166, 180, (410–415, *статья*)
Петрова (Самсонова) Майя Львовна (р. 1940) — 414
Петрушанская Елена Михайловна (р. 1949) — 46, 47
Пиаф Эдит (Piaf; 1915–1963) — 336
Пикен Марго (Picken) — 130, 139
Пикус Григорий Езекиелевич (р. 1923) — 55
Плат Сильвия (Plath; 1932–1963) — 331, 337
Платонов Андрей Платонович (1899–1951) — 331, 376, 392
Плуцик Хаим (Plutzyk; 1911–1962) — 337
Подсядло Яцек (Podsiadło; р. 1964) — 35, 38, 432
Поженян Григорий Михайлович (1922–2005) — 292
Полляк Северин (Pollak; 1907–1987) — 206, 285, 360, 366
Полухина Валентина Платоновна (р. 1936) — 108, 122, 123, 145, 148, 152, 153, 164, 165, 171, 356, 407, 409, 431, 432,
Поляков Лев Евгеньевич — 267, 346, 348
Померанцев Игорь Яковлевич (р. 1948) — 108
Попова Нина Ивановна (р. 1941) — 166, 446
Прокофьев Александр Андреевич (1900–1971) — 86, 87
Прокофьев Олег Сергеевич (1928–1998) — 369
Проффер Карл (Proffer; 1938–1984) — 48, 60–62, 106, 114, 250, 251, 333, 334, 367, 402, 436, 460, 461
Проффер Эллендея (Proffer; р. 1944) — 48, 60–62, 108, 250, 333, 334, 367, 402, 436, 460, 461
Пруст Марсель (Proust; 1871–1922) — 307
Пукис Повилас (Pukys; 1882–1964) — 206
Пушкарев, начальник ленинградского ОВИРа в 1972 г. — 98, 441
Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) — 10, 52, 331, 338, 343, 350, 378, 416, 426
Пятигорский Александр Моисеевич (1929–2009) — 192, 397

Радзивилл Анна Мария (Radziwiłł; 1939–2009) — 303
Райт Фрэнк Ллойд (Wright; 1867–1959) — 398
Раппапорт Александр Гербертович (р. 1941) — 307, 412

- Раскина Александра Александровна** (р. 1942) — 284
- Рахманова Наталия Леонидовна** (р. 1930) — 284
- Реймер Дикси** (Ramer) — 275, 276
- Реймер Сэмюел** (Ramer; р. 1942) — 60, 144, 195, (241–284, *статья*)
- Рейн Евгений Борисович** (р. 1935) — 23, 24, 58, 59, 98, 138, 142, 143, 147, 153, 158, 159, 188, 320, 330, 332, 333, 341–343, 412, 413, 417, 445
- Рейн Надежда Викторовна** — 147, 333, 412
- Риббентроп Ульрих, фон** (Ribbentrop; 1893–1946) — 442
- Ривин Александр (Алик) Иосифович** (1914–1941) — 330
- Ривкинд Софья (Соня) Викторовна** (р. 1966) — 105
- Рильке Райнер Мария** (Rilke; 1875–1926) — 253, 254, 456
- Рицос Яннис** (Ricos; 1909–1990) — 400
- Робинсон Эдвин Арлингтон** (Robinson; 1869–1935) — 307
- Робсон Элизабет** (Robson; р. 1944) — 60, (229–240, *статья*), 242, 308, 393
- Рождественский Роберт Иванович** (1932–1994) — 399
- Розанов Василий Васильевич** (1856–1919) — 457
- Розанова Мария Васильевна** (р. 1929) — 192
- Розенцвейг Борис Исаакович** (1901–?) — 186
- Романо Карлин** (Romano) — 144
- Ростропович Мстислав Леопольдович** (1927–2007) — 108
- Рублев Андрей** (ок. 1360 — 1428) — 459
- Ручирк Кристина** — 404
- Рымкевич (Шульц) Ярослав Марек** (Rymkiewicz; р. 1935) — 319
- Сааринен Ээро** (Saarinen; 1910–1961) — 259
- Сабинова Эля** — см. Катилене Эльмира
- Сад Донасьен Альфонс Франсуа, де** (de Sade; 1740–1814) — 417
- Самойлов (Кауфман) Давид Самуилович** (1920–1990) — 330
- Сарториус Йоахим** (Sartorius; р. 1946) — 229
- Северцова-Габричевская Наталия Алексеевна** (1901–1970) — 187, 192
- Сезанн Поль** (Cézanne; 1839–1906) — 173
- Сейфер Морли** (Safer; р. 1931) — 257
- Семашкевич Эугения** (Siemaszkiewicz; р. 1932) — 285
- Семененко Светлан Андреевич** (1938–2007) — 343
- Сергеев Андрей Яковлевич** (1933–1998) — 26–29, 44, 58, 59, 79, 138, 153, 164, 169, 184–207, 209, 217, 269, 307, 337, 362, 368, 369, 409, 417, 428–432, 446, 447, 450, 456, 457
- Сергеева Анна Андреевна** (р. 1969) — 203, 435
- Сергеева Людмила Георгиевна** (р. 1935) — 10, 26–29, 59, 164, 168, (184–207, *статья*), 209, 217, 333, (428–447, *статья*), 457
- Сергеева Людмила Кирилловна** (1931–2000) — 190

- Сика Витторио, де** (de Sica; 1901–1974) — 384
- Сильвия**, королева Швеции (Silvia; p. 1943) — 274
- Синявский Андрей Донатович** (1925–1997) — 192
- Славинский Ефим Михайлович** (p. 1937) — 59, 158
- Слоним (Чалидзе) Вера Ильинична** (p. 1948) — 393
- Слоним Илья Львович** (1906–1973) — 393
- Слоним (Филлимор) Мария Ильинична** (p. 1945) — 393
- Слуцкайте-Юрашене Аушра Мария** (Sluckaitė-Jurašienė; p. 1936) — 364, 372
- Сметона Антанас** (Smetona; 1874–1944) — 35, 74
- Собчак Анатолий Александрович** (1937–2000) — 411
- Содомская Наталья** (1927–2013) — 443
- Солженицын Александр Исаевич** (1918–2008) — 174, 237, 383, 461
- Сондецкисы** (Sondeckiai), семья литовских музыкантов — 219
- Соня**, тетя Гинкаса — см. Шабадене
- Сорос (Шварц) Джордж** (Soros; p. 1930) — 141, 154, 443, 463
- Соццани-Бродская Мария** (Sozzani Brodsky; p. 1969) — 138, 140–142, 145, 146, 387, 388, 414, 415, 444
- Спендер Стефан** (Spender; 1909–1995) — 108, 139, 383
- Спонд Жан, де** (de Sponde; 1557–1595) — 339
- Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович** (1879–1953) — 21, 185, 191, 227, 234, 261, 411, 418, 442, 451
- Стасов Василий Петрович** (1769–1848) — 458
- Стафф Леопольд** (Staff; 1878–1957) — 319
- Степанова Лариса Георгиевна** (1941–2009) — 59, 341
- Стивенс Уоллес** (Stevens) (1879–1955) — 421
- Струве Ада** (Stroeve) — 139
- Струве Глеб Петрович** (1898–1985) — 307
- Стрэнд Марк** (Strand; 1934–2014) — 108, 142, 413, 414
- Стюарт Мария** (Stiuart; 1542–1587) — 257, 391
- Сумеркин Александр Евгеньевич** (1943–2006) — 414, 408
- Суперфин Габриэль Гаврилович** (p. 1943) — 88
- Сурков Алексей Александрович** (1899–1983) — 292
- Сухаревич Наталия Васильевна** (p. 1936) — 58, 60
- Тагор Рабиндранат** (1861–1941) — 332
- Тарасов Владимир Петрович** (p. 1947) — (222– 223, *статья*)
- Тарковский Андрей Арсеньевич** (1932–1986) — 194, 459
- Тарковский Арсений Александрович** (1907–1989) — 194
- Таурагене Виолета** (Tauragiėnė; p. 1944) — 165
- Твардовский Александр Трифонович** (1910–1971) — 88, 94

- Темирканов Юрий Хатуевич** (p. 1938) — 386
Тернер Уильям (Turner; 1775–1851) — 112
Тимирязев Климент Аркадьевич (1843–1920) — 85
Товстоногов Георгий Александрович (1915–1989) — 400
Тодоров Цветан (Todorov; p. 1939) — 108
Толкиен Джон (Tolkien; 1892–1973) — 369
Толстой Алексей Константинович (1817–1875) — 421
Толстой Лев Николаевич (1828–1910) — 331, 367
Томас Дилан (Thomas; 1914–1953) — 337
Томас Эдвард (Thomas; 1878–1917) — 414
Томашевские — 379
Трауберг Наталья Леонидовна (1928–2009) — 39, 43, 200, 332, 365, 366, 374, 417–419, 456
Трусевич Адольф (Trusewicz; 1919–2001) — 35–39, 44, 181, 182, 432
Тумялене Ванда (Tumelienė) — 199, 433
Тумялис Юозас (Tumelis; p. 1938) — 9, 31, 41, 42, 125, 130, 168, 200, 204, 205, 417, 433, 443, 456, 463
Тынянов Юрий Николаевич (1894–1943) — 316, 338
Тэлботт Строуб (Talbot; p. 1946) — 385
Тэтчер Маргарет (Thatcher; 1925–2013) — 238, 393
Тышкевичи — 42, 200, 433
Тютчев Федор Иванович (1803–1873) — 317, 318

Уилбер Ричард (Wilbur; p. 1921) — 142, 331
Уолкотт Дерек (Wolkott; p. 1930) — 108, 142, 282
Уоррен Роберт Пенн (Warren; 1905–1989) — 297
Уоррен Розанна (Warren; p. 1953) — 108, 142
Урбшис Юозас (Urbšys; 1896–1991) — 204, 205
Уфлянд Владимир Иосифович (1937–2007) — 57–59, 65, 142, 143, 320, 336

Фаст Петр (Fast; p. 1951) — 287, 293
Федотов Георгий Петрович (1886–1951) — 10
Феокрит (кон. IV — пер. пол. III до н. э.) — 347
Филиппов (Филистинский) Борис Андреевич (1905–1991) — 307
Флоровский Георгий Васильевич (1893–1979) — 130
Фолкнер Уильям (Faulkner; 1897–1962) — 331, 369
Фома Аквинский (Thomas Aquinas; ок. 1225 — 1274) — 456
Фома Кемпийский (Thomas Kempensis; ок. 1380 — 1471) — 362, 369
Франко Баамонде Франсиско (Franco; 1892–1975) — 304, 460
Фридлендер Георгий Михайлович (1915–1995) — 316
Фрост Роберт (Frost; 1874–1963) — 26, 142, 186, 187, 198, 255, 297, 363, 370, 456

- Хайдеггер Мартин** (Heidegger; 1889–1976) — 422
- Ханум** — см. Катилене Эльмира
- Хармс Даниил**, наст. имя Ювачёв Даниил Иванович (1905–1942) — 417
- Хейфец Михаил Рувимович** (р. 1934) — 104, 105, 109
- Хект Энтони** (Hecht; 1923–2004) — 108, 142
- Херберт Збигнев** (Herbert; 1924–1998) — 326
- Хиндемит Пауль** (Hindemith; 1895–1963) — 32
- Хини Шеймас** (Heaney; p. 1939) — 19, 108, 142, 407, 408
- Хлебников Велимир**, наст. имя Виктор Владимирович (1885–1922) — 314, 317, 453
- Ходасевич Владислав Фелицианович** (1886–1939) — 339
- Холодковский Николай Александрович** (1858–1921) — 193
- Хофманн Михаэль** (Hofmann; p. 1957) — 142
- Хрущев Никита Сергеевич** (1894–1971) — 38, 58, 174
- Цава Дали** (1948–2003) — 59
- Цветаева Марина Ивановна** (1892–1941) — 50, 152, 168, 317, 328, 347, 354, 375, 398, 399, 455
- Цехновицеры** — 325
- Чакмакчан Арто** (р. 1933) — 93, 94
- Чепайте Зита** (Čepaitė; p. 1957) — 158
- Чепайтис Виргилиус** (Čepaitis; p. 1937) — 31, 34, 39, 42, 43, 69, 179, 183, 200, 212, 214, 291, 302, 303, 373, 417–421, 456, 463
- Чернова Агнесса (Ася) Филипповна** (р. 1942) — 341, 369
- Черномырдин Виктор Степанович** (1938–2010) — 404
- Чертков Леонид Натанович** (1933–2000) — 59, 204, 247, 248, 325, 330, 331, 337, 341, 342, 348, 429, 457, 458
- Черчилль Уинстон** (Churchill; 1874–1965) — 421
- Честертон Гилберт Кит** (Chesterton; 1874–1936) — 39, 414, 419, 456
- Чиладзе Отар** (1933–2009) — 380
- Чуковский Корней Иванович** (1882–1969) — 58
- Чюрлёнис Микалоюс Константинас** (Čiurlionis; 1875–1911) — 34, 226
- Шабадене Софья Абрамовна** (Šabadienė; 1910 — нач. 1990-х) — 32, 398
- Швейцер Виктория Александровна** — 142, 192
- Шейбокас Юстинас** (Šeibokas; p. 1929) — 219
- Шеллберг Энн** (Kjellberg) — 139, 144, 146
- Шелли Перси Биши** (Shelley; 1792–1822) — 29, 344
- Шерис Витаутас** (Šerys; p. 1931) — 219
- Шилбайорис Римвидас** (Šilbajoris; 1926–2005) — 114, 133, 134

Шильц Вероника (Schiltz; p. 1942) — 108, 137, 139, 270, 311, 328, 390, 392, 393

Шимборска Вислава (Szymborska; 1923–2012) — 160, 161, 463

Шлифке Барбара (Schliffke) — 259

Шмаков Геннадий Григорьевич (1940–1988) — 325

Шнейдерис Михаил, преподаватель — 453

Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906–1975) — 58, 95

Штерн Людмила Яковлевна (p. 1935) — 59, 405

Эйнштейн Альберт (Einstein; 1879–1955) — 455

Эйхенбаум Борис Михайлович (1886–1959) — 338

Элиаде Мирча (Eliade; 1907–1986) — 329

Элиот Томас Стернз (Eliot; 1888–1965) — 45, 188, 192, 314, 328, 329, 332, 366, 420,
444, 456

Эля — см. Катилене Эльмира

Эпельбуэн Анни (Epelboin) — 350, 351

Эткинд Ефим Григорьевич (1918–1999) — 58, 99, 100, 105, 233, 234, 338, 340

Эткинд-Шафрир Мария Ефимовна — 49, 100, 144, 233, 340, 342, 439

Юодялене Дануге (Juodelienė; 1921–1994) — 199, 205

Юодялис Пятрас (Juodelis; 1909–1975) — 41, 42, 199, 200, 205, 433, 434

Юрашас Йонас (Jurašas; p. 1936) — 371, 372

Юрашене Аушра — см. Слудкайте-Юрашене

Юрский Сергей Юрьевич (p. 1935) — 378

Ядзе — 140

Янгфельдт Бент (Jangfeldt; p. 1948) — 108, 164, 167, 168

Янгфельдт-Якубович Елена Самуиловна (p. 1948) — 168

Яновская Генриетта (Гета) Наумовна (p. 1940) — 158, 215, (398–409, беседа), 419

Яцовските Александра (Jacovskytė; p. 1945) — 157

И 75 Иосиф Бродский и Литва. — СПб.: ООО «Журнал «Звезда»,
2015. — 488 с.

ISBN 978-5-7439-0232-3

Эта книга — дань уважения, любви и памяти. В ней собраны воспоминания доверительно близких Иосифу Бродскому людей его поколения. Он познакомился с ними в 1966 году в Литве и с первого дня общения все оставшиеся ему с той поры тридцать лет не ослаблял мгновенно возникших личных и творческих связей. Куда бы ни бросала поэта и его литовских друзей судьба, между Неманом и Невой ими было создано особое культурное пространство. На нем «провинция справляла торжество» освобождения от «обутых в кирзу» имперских догм и господствовала живая, не подверженная тлению человеческая речь. Она запечатлена на страницах этой книги, включающей в себя помимо мемуарных свидетельств статьи новых исследователей литовских реалий и символов в творениях самого поэта. Отныне они надолго вплетены в культурную историю Литвы. Книга иллюстрирована уникальными документами из архива Эльмиры и Рамунаса Катилосов.

ББК 84.Р7

ИОСИФ БРОДСКИЙ и ЛИТВА

Редактор А. Ю. Арьев

Компьютерная верстка В. М. Бердника

Корректор Н. В. Нестерова

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Журнал «Звезда».

191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, 20.

Отдел реализации: (812) 273-37-24; mail@zvezdaspb.ru

Подписано к печати 10.09.2015. Формат 60×90^{1/16}.

Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Уч. изд. л. 18,8. Усл. печ. л. 30,5.

Тираж 1000 экз. Заказ № 85.

Отпечатано с готовых диапозитивов в «ИПК „Бионт“»

199026, Санкт-Петербург, В. О. Средний пр., 86. тел. (812) 320-52-85



Рис. Иосифа Бродского

Эта книга — дань уважения, любви и памяти. В ней собраны воспоминания доверительно близких Иосифу Бродскому людей его поколения. Он познакомился с ними в 1966 году в Литве и с первого дня общения все оставшиеся ему с той поры тридцать лет не ослаблял мгновенно возникших личных и творческих связей. Куда бы ни бросала поэта и его литовских друзей судьба, между Неманом и Невой ими было создано особое культурное пространство. На нем, перефразируя Бродского, провинция справляла торжество освобождения от «обутых в кирзу» имперских догм и господствовала живая, не подверженная тлению человеческая речь. Она запечатлена на страницах этой книги, включающей в себя помимо мемуарных свидетельств статьи новых исследователей литовских реалий и символов в творениях самого поэта. Отныне они надолго вплетены в культурную историю Литвы. Книга иллюстрирована уникальными документами из архива Эльмиры и Рамунаса Катилюсов.